

● **ОСТОРОЖНО: РУСОФОБИЯ** –
сенсационный антисемитский манифест
акад. И. Шафаревича

● **ДИББУК 70-х ГОДОВ** –
новая израильская пьеса Нины Воронель

● **АВАНГАРД = РЕВОЛЮЦИЯ = ТОТАЛИТАРИЗМ?** –
заочный спор между художником и поэтом

● **“ТИХИЙ ДОН” ПРОТИВ ШОЛОХОВА** –
продолжение текстологического расследования
З. Бар-Селла

● **ТАЙНЫЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ ТИБЕТА** –
рассказ о загадочной Шамбале и знаменитых шамбалитах

63

22

МИЛЛИАРДАМИ
И
АВАНГАРД
И
ТАИНЫ ТИБЕТА

М

№ 63

ДВАДЦАТЬ ДВА

*Общественно-политический и литературный журнал
еврейской интеллигенции из СССР в Израиле
Издание общественно-культурного фонда
"МОСКВА—ИЕРУСАЛИМ"
под покровительством комитета ученых
при общественном совете солидарности с евреями СССР*

63

январь-февраль 1989

СО Д Е Р Ж А Н И Е

Л И Т Е Р А Т У Р А

- 3 *НИНА ВОРОНЕЛЬ*. Любит – не любит. (Диббук 70-х годов).
(пьеса)
44 *МИХАИЛ ГЕНДЕЛЕВ*. Стихи
47 *АЛЕКСАНДР ЖОЛКОВСКИЙ*. Нрзб (рассказ)
58 *НОРА ФАЙНБЕРГ*. Возвращение Персефоны (из цикла рассказов
"Возвращение")

И Е Р У С А Л И М С К И Е Р А З М Ы Ш Л Е Н И Я

- 79 *РАФАИЛ ШАПИРО*. Меньшее из зол

Р У С С К И Й В О П Р О С

- 98 *ИГОРЬ ШАФАРЕВИЧ*. Русофобия

К У Л Ь Т У Р А И С О В Р Е М Е Н Н О С Т Ъ

- 134 *МИХАИЛ ГРОБМАН*. Несколько слов о русском авангарде
140 *ЮРИЙ КОЛКЕР*. Гарвардский синдром в эстетике

Р А З М Ы Ш Л Е Н И Я Н А Д Т Е К С Т О М

- 152 *ЗЕЕВ БАР-СЕЛЛА*. "Тихий Дон" против Шолохова (текстология
преступления) (продолж., начало см. "22" № 60)

С У Д Ь Б Ы И Д Е Й

- 170 *ВЛАДИМИР ГУСМАН*. Шамбала и шамбалиты

Л Ю Д И И К Н И Г И

- 196 *МИХАИЛ ХЕЙФЕЦ*. Уроки прошлого
209 *А. ПТАШКИН*. Заметки читателя

П О П О В О Д У ...

- 212 ... очерки М. Вартбурга "Века в хаосе, миры в столкновении"
("22" №№ 59–62). (И. Деген, М. Вартбург, Р. Нудельман)

М Е М О Р И А Л

- 218 *ЦВИ ПРЕЙГЕРЗОН*. Бухгалтер (к 20-летию смерти писателя)
223 Памяти Юлия Даниэля.

На последней странице обложки: Владимир Яковлев. "Женский портрет", 1961 г.

ЛИТЕРАТУРА

Нина Воронель

ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ... (Диббук 70-х годов)

(пьеса в двух действиях)

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Леа	— вдова Ханаана, лет 24—25
Давид	— ученик Ханаана, лет 26
1-Шош (грешная)	— врач-психиатр, одно лицо
2-Шош (праведная)	в двух ипостасях
Иешуа	— репатриант из России, лет 35
Дина	— стареющая красotka
Ирит	— молодая девушка

Место действия — Израиль после войны Судного дня.

ПЕРВОЕ ДЕЙСТВИЕ

Картина первая

Больничная палата — белые стены, койка, тумбочка, стол, над тумбочкой зеркало. На койке в неестественной позе, угловато поджав ноги, лежит Давид. Входит Леа, ставит на стол вазу с цветами и корзинку клубники.

Л е а : Привет, Давид. Смотри, уже появилась клубника.

Давид не шевелится и не отвечает.

Л е а : Давид, ау!

Леа поднимает руку Давида, рука не сгибается — когда Леа отпускает ее, она падает, деревянно ударяясь о тумбочку.

Л е а : Ну, вскрикни — разве тебе не больно?

Пьеса принята к концертному исполнению в театре "Габима" и к постановке на театральном фестивале в Акко.

Садится на койку, несколько мгновений сидит, положив руку на голову Давида, он не шевелится.

Л е а : Так и будем в молчанку играть?

Леа целует Давида в лоб, поднимается и идет к двери.

Л е а : Ну, мне пора. Ты не попрощаешься со мной?

Давид не шевелится и не отвечает. Леа выходит.

Картина вторая

Леа идет по больничному коридору. Навстречу ей из соседней двери выходит 1-Шош и прощается с Иешуа, который стоит на пороге.

Л е а (к 1-Шош) : Доктор, столько времени прошло, а он все такой же! Неужели ничего не поможет? (Плачет.)

1 - Ш о ш : Еще немного терпения и он пойдет на поправку.

Увидев что Леа плачет, Иешуа подбегает к ней и подставляет ладонь, так что туда капает слеза.

И е ш у а (протягивает 1-Шош ладонь со слезой и говорит с русским акцентом) : Видишь, — женская слеза? Отпусти меня отсюда: я должен изменить этот мир, чтобы женщины перестали плакать.

1 - Ш о ш : Ты уйдешь отсюда, как только выздоровеешь.

И е ш у а (к Лее) : Они считают, что я болен. И все из-за этих дурацких загоронок на улицах Бней-Брака, которые отделяют людей друг от друга. Это они больны, а не я, раз они не позволяют мне открывать улицы в шабат. Ведь людей нельзя разделять, нельзя разлучать. (Взволнованно.) Разлука — это очень страшно.

Л е а (почти беззвучно) : Разлука — это очень страшно... (Уходит.)

И е ш у а (вслед Лее) : Я возьму с собой твою слезу. (Идет к себе.)

2 - Ш о ш (отделяясь от стены, обнимает Иешуа за плечи и говорит нежным голосом искусительницы) : Ты не думай, что я не жалею тебя, Иешуа: душу мою надрывает сострадание...

1 - Ш о ш (свистящим шепотом) : Пошла вон!

1-Шош отталкивает 2-Шош от Иешуа, та исчезает.

И е ш у а (потрясенно хватает 1-Шош за руки) : Доктор, это ты! Я так и знал, что ты добрая!

1 - Ш о ш (холодно, освобождаясь от него) : О чем ты?

И е ш у а : Но ты только что сказала... (Касается своего плеча.) Вот тут лежала твоя рука, я еще чувствую ее тепло...

1 - Ш о ш (подталкивает его к дверям его палаты) : Иди к себе, ты устал, у тебя опять бред...

И е ш у а : Нет, нет, это не бред, — я только сейчас узнал, какая ты на самом деле... (Уходит к себе.)

2 - Ш о ш (отделяясь от стены) : Ты, бессердечная стерва, всегда умудряешься покорять сердца за мой счет — теперь и этот будет думать, что ты добрая.

1 - Ш о ш (заталкивая ее обратно в стену) : Должна же мне от тебя быть хоть какая-то польза!

Картина третья

Палата Давида. Он лежит на койке в той же неловкой позе. Входит 1-Шош со шприцем, делает Давиду укол, затем спускает жалюзи; в палате становится темно. Сестра вкатывает в палату кинопроектор и выходит. 1-Шош включает кинопроектор: на белой стене напротив кровати появляется изображение идущих в атаку танков. Комната заполняется грохотом танкового боя. Давид вдруг вскакивает и в ужасе смотрит на экран — танки идут прямо на него. С отчаянным нечленораздельным криком Давид затыкает уши и пытается бежать, ноги его подкашиваются и он падает на пол без сознания. 1-Шош наклоняется над Давидом и щупает его пульс.

1 - Ш о ш : Наконец-то!

Откуда-то из-за ее спины доносится сдвоенное рыдание.

1 - Ш о ш (не оборачиваясь) : Опять ты здесь. Сколько раз я просила не трогать меня во время работы.

2 - Ш о ш (из рамы зеркала) : Ну да! Чтобы ты могла вволю мучать своих больных!

1 - Ш о ш : Я не мучаю их, я пытаюсь им помочь.

2 - Ш о ш : Ты жесткая, циничная, — кому ты можешь помочь? Я могла бы помочь, моя душа полна сострадания, самоотречения, сочувствия, я понимаю чужую боль...

1 - Ш о ш : Ты — развратная давалка, знаю я, куда ты гнешь...

2 - Ш о ш : Да, да! Я приласкала бы этого несчастного солдата, я бы помогла ему забыть прошлое, а ты хочешь снова и снова прогнать его через тот ад, который свел его с ума...

1 - Ш о ш : Я хочу вернуть его к жизни.

2 - Ш о ш : А зачем?

Картина четвертая

Палата Давида. Работает кондиционер — уже лето. На койке сидит Леа в открытом летнем платье, по комнате мечется Давид — он нелепо размахивает руками и говорит не смолкая, он очень худ, глаза лихорадочно блещут, волосы встрепаны.

Д а в и д : ..нам сперва показалось, что их не так уж много, — пять, ну десять от силы, но потом мы увидели, что их без числа. Они ползли и ползли и стреляли без остановки, — ну и грохот стоял, голова раскалывалась! И снаряды рвались все ближе и ближе... Их было в двадцать раз больше, чем нас, и снаряды у нас подходили к концу. Я спросил Ханаана, что будет, когда снаряды кончатся, а он засмеялся и сказал, что мы до этого не доживем. И тут снаряд накрыл танк Моше, — мы как раз утром поспорили, с ним и с Одедом, не помню о чем... Их танк рвануло, будто небо лопнуло, и ничего от них не осталось, только запах горелого мяса. (Трет лоб.) Из-за чего же мы тогда поспорили?

Л е а (поспешно врывается в паузу) : Жалко, что ты не смог поехать в Париж на вернисаж. Было полно народу, и из посольства, и из газет. Писали, что последние работы Ханаана несут печать исключительной индивидуальности...

Д а в и д : Их было в двадцать раз больше, чем нас, и снаряды у нас подходили к концу. Я спросил Ханаана, что будет, когда снаряды кончатся, а он засмеялся и сказал, что мы до этого не доживем. И тут снаряд накрыл танк Моше, — мы как раз утром поспорили, с ним и с Одедом, не помню о чем... Их танк рвануло, будто небо лопнуло, и ничего от них не осталось, только запах горелого мяса. (Трет лоб.) Из-за чего же мы тогда поспорили?

Л е а : Успех был потрясающий, фотографии двух работ напечатали в "Пари Суар" и в первый же день чуть не все раскупили...

Д а в и д (повышая голос) : ...их танки все ползли и ползли, а передние вдруг остановились. Радио у нас испортилось от взры-

ва и Ханаан послал меня пойти к ним узнать, что случилось. Я пошел и меня бросило взрывной волной прямо поперек колеи, а те, впереди, как раз тронулись...

Л е а (умоляюще) : Хватит, Давид, я уже слышала это тысячу раз. Ты лучше послушай, что написали про барельефы с твоей мозаикой...

Д а в и д : и наш танк за ними, а я никак не мог встать, руки ноги стали как ватные. Я знал, что он не может остановиться — задние напирают и уклон крутой. И тут он начал сворачивать, а там мины сидят густо, но он не хотел наезжать на меня и тут танк рвануло. Не знаю, мина это была или снаряд, из танка полыхнуло огнем и все кончилось...

Л е а (пытаясь выйти) : Ну не надо, не надо больше об этом.

Д а в и д (не пускает ее) : ...если б он не стал сворачивать, он бы остался жив. Там остановиться невозможно, задние напирают и свернуть некуда. И нечем дышать — из-за грохота и дыма... и от запаха жженных костей...

Л е а (затыкает уши) : Хватит! Замолчи! Я больше не могу!

Д а в и д (отдирает ее руки от ушей и продолжает, держа ее за локти и захлебываясь словами) : Ты будешь слушать! Ханаан был твой муж, он спал с тобой, и от него ничего не осталось, кроме этого тошнотворного запаха...

Л е а (пытается вырваться) : Пусти меня! Пусти!

Д а в и д (тихо, почти шепотом) : ...все расплавилось, все — и кости, и мясо, и волосы, ничего не осталось, кроме запаха гари... (Отпускает Лею и тяжело опускается на пол, его рвет.)

Л е а (глядит его по голове) : Не надо больше об этом, не надо... Вот лекарство, выпей... (Подает лекарство.)

Д а в и д : Господи, отпусти меня, я больше не могу... Я хочу умереть. Отпусти меня, я больше не могу...

Картина пятая

Коридор. Леа стоит, прижавшись спиной к двери палаты Давида, чтобы пропустить Ирит, которая бредет безучастно, волоча за собой треногу с капельницей. Запястья Ирит перевязаны. Иешуа выходит из своей палаты и всматривается в Лею — ее глаза на этот раз сухи и пусты, словно она выплакала все слезы. Леа его не замечает.

И е ш у а : Плачь, плачь! Лучше смотреть на мир сквозь слезы, чем так, как ты сейчас, или как она. (Показывает на Ирит.)

Л е а (с трудом приходя в себя, замечает Ирит) : Что с ней?

И е ш у а : Устала плакать.

Л е а : И что?

И е ш у а : Знаешь, как это делают? Лучше всего бритвой — я пробовал, видишь — шрамы...

Л е а (заметив перевязанные запястья Ирит) : Самоубийца? Такая молодая! Почему?

И е ш у а : Потому что всюду перегородки — между мной и тобой, между ней и нами, между евреями и арабами, между Бней-Браком и другими евреями. Я должен убрать эти перегородки, — я буду их ломать, взрывать, выкапывать, только бы мне выйти отсюда!

Л е а (завороженная, глядит вслед Ирит) : Самоубийца!

Картина шестая

Палата Давида. Давид лежит на койке, 1-Шош сидит у стола.

Д а в и д : ...дорога спускается круто вниз, танк идет быстро, сзади стреляют, я за рулем, а впереди, поперек колеи, лежит человек. Дорога проложена через минное поле, так что свернуть нельзя, взорвешься к чертям. И вдруг я вижу, что это Ханаан, он смотрит прямо на меня, я нажимаю на тормоз, но тормоз проваливается и я мчусь все быстрее и быстрее прямо на него. Уклон ужасно крутой и я не могу затормозить, и вот он уже под гусеницами, — я чувствую, как танк вздрагивает, и кости хрустят, и вдруг стало тихо-тихо, и ничего больше, ни грохота, ни стрельбы... Только запах горелого мяса... (У него рвотный спазм.)

1 - Ш о ш : А теперь ты — Ханаан. Расскажи этот сон снова, от имени Ханаана.

Д а в и д : Я лежу в колее, я не могу встать, я не могу шевельнуть ни рукой, ни ногой, на меня идет танк, а за рулем Давид, и он меня узнал, он видит меня, но не останавливается и ведет танк прямо на меня. Почему ты наехал на меня, Давид? (Вскакивает и кричит.) Я не всегда наезжаю, я иногда успеваю проснуться!

1 - Ш о ш : Садись, Давид. (Придвигает второй стул, а сама встает.) Что ты можешь сказать Ханаану? Этот стул — ты, этот — он.

Д а в и д : Я не хотел этого, Ханаан. Я хотел затормозить, но не смог.

1 - Ш о ш : Что он отвечает?

Д а в и д : Он не отвечает, он умер. Я не хотел, чтобы он умер! Он сам послал меня узнать, почему те, впереди, остановились!

1 - Ш о ш : Ему это скажи, а не мне.

Д а в и д : Ты ведь сам послал меня, Ханаан, ты приказал и я пошел — как ты велел, по минному полю. Потом рвануло совсем близко и меня бросило взрывной волной прямо поперек колеи перед тобой, а те, впереди, как раз тронулись и твой танк за ними, а я никак не мог встать, руки-ноги стали как ватные, я лежал в колее и смотрел, как твой танк ползет прямо на меня. Я знал, что ты не можешь остановиться — задние напирают и уклон крутой, я не видел тебя, но знал, что ты смотришь в прорезь и видишь, как я лежу и не могу встать. И тут ты начал сворачивать, а там сворачивать нельзя, там мины сидят густо, но ты не хотел наезжать на меня и тут твой танк рвануло. Не знаю, мина это была или снаряд, из танка полыхнуло огнем и все кончилось, а если бы ты не стал сворачивать, ты бы остался жив.

1 - Ш о ш : Теперь живо — на стул Ханаана и отвечай!

Д а в и д (пересаживаясь): Я подобрал тебя совсем глупым щенком и сделал из тебя человека, я тебя любил, почему же ты не затормозил, когда узнал меня? (Пересаживаясь.) Я не смог затормозить, тормоза не сработали. (Пересаживаясь.) Но ты мог свернуть, как я, когда увидел тебя. А ты струсил, да? (Пересаживаясь.) Да, я струсил, струсил, ведь свернешь — и взлетишь на воздух! (Пересаживаясь.) Ты сам лежал в такой колее и знаешь, как это страшно, но ты не свернул, ты наехал на меня и слушал, как хрустят мои кости. (Стонет.) Я больше не могу!

2 - Ш о ш (в зеркале): Хватит! Пусть он замолчит! Прекрати эту пытку!

1 - Ш о ш (ей): Заткнись! (Давиду.) Продолжай, Давид, ты еще не кончил.

2 - Ш о ш : Молчи, Давид! Ты сейчас скажешь такое, о чем потом пожалеешь!

Д а в и д : Может, хватит на сегодня? Я устал, отложим на завтра.

1 - Ш о ш : Именно потому что ты устал, надо продолжать. Ты уже близко, сейчас ты скажешь то, что томит тебя, что жжет твое сердце.

2 - Ш о ш : Ты, жирная, жестокая стерва, оставь его в покое!

1 - Ш о ш (подходит к зеркалу) : У тебя истерика? Опять, небось, сидишь на диете? И напрасно! Ни умней, ни счастливей ты от этого не станешь!

2 - Ш о ш : Ну, хорошо, пусть у меня истерика, он-то не виноват! Отдай его мне, раз все равно кому-то надо его терзать.

1 - Ш о ш : Что, хочешь и этого затащить к себе в постель?

2 - Ш о ш : А что плохого, если даже хочу?

1 - Ш о ш : А что хорошего? Будешь потом две недели есть овсянку в шелухе и ставить себе клизмы, чтобы очистить тело и душу.

2 - Ш о ш : Какая разница, что будет потом! (Умоляюще.) Ты сейчас отдай его мне, ведь только я могу ему помочь!

1 - Ш о ш : Ну валяй, пробуй на нем свою силу!

2-Шош выходит из зеркала и садится к столу, тогда как 1-Шош входит в раму зеркала, как в дверь, но не уходит, а слушает, что происходит в комнате.

2 - Ш о ш : Ты ведь был обижен на Ханаана, правда, Давид?

Д а в и д : Ничего подобного, мне не за что было на него обижаться!

2 - Ш о ш : А все-таки, что-то было?

1 - Ш о ш (из рамы) : Зачем ты об этом? Мы же договаривались самого больного не касаться!

2 - Ш о ш : Мы договаривались, чтобы ты этого не касалась, у тебя руки слишком грубые. А теперь уходи, не мешай. (Давиду.) Ты не со мной, ты с Ханааном об этом поговори.

Д а в и д (стул Ханаана) : Ты ведь был обижен на меня, да? (Пересаживаясь.) Нет, это уже давно прошло. (Пересаживаясь.) Из-за Леи, да?. За то, что я на ней женился? (Пересаживаясь.) Нет, нет, только сначала, когда ты совсем перестал меня замечать, бросил работу и уехал с ней в Италию. С ней, а не со мной, как мы планировали раньше. (Пересаживаясь.) Я уехал с ней всего на три недели, а потом мы опять стали работать вместе. (Пересаживаясь.) Какая к чертям работа, когда она весь день торчала в мастерской и ты обращался только к ней, будто меня там не было. А она ни черта не понимала, только хихикала как идиотка от восторга, что ты говоришь с ней, как со взрослой. (Пересаживаясь.) Но ведь так было недолго, скоро мы опять

стали работать как раньше и ходить по вечерам в кафе... (Пересаживаясь.) Да, да, я всегда старался, чтобы мы пошли без нее, ведь нам вдвоем было куда веселей. Все опять стало так хорошо, что мне даже жалко было ее иногда, когда она звонила в мастерскую и я говорил ей, что ты занят и не можешь подойти... Зачем, зачем ты выссал меня из танка? Я был бы с тобой и ничего бы не случилось!

Картина седьмая

Давид идет по коридору — на нем уже не больничная одежда, а джинсы и майка. В руке у него сумка с вещами. Дина в больничном халате стоит, прижавшись щекой к закрытой двери палаты Иешуа.

Дина (в дверь свистящим шепотом): Открой мне, Иешуа! Почему ты не хочешь меня впустить! Почему ты не хочешь поцеловать меня? (Увидев Давида, оборачивается к нему.) Ты уже уходишь домой, Давид? Уходишь, такой молодой и красивый, а меня оставляешь тут? (Бросается ему на шею.) Поцелуй меня на прощание!

Давид (неловко отстраняясь): Ты ведь хотела, чтобы тебя поцеловал Иешуа!

Дина: Ах, Боже мой, что Иешуа! Он заперся в своей комнате, он боится моей красоты. (Прижимается к Давиду все более страстно.) Не уходи, не оставляй меня здесь!

Из палаты Давида выходит Леа — в руках у нее ваза и другие мелкие вещи.

Леа: Давид, а где твой приемник? (Удивлена.) О, я мешаю? Я... я не знала... (Идет к выходу.)

Давид (отстраняя Дину, идет за Леей): ... Прощай, мне пора.

Дина (цепляясь за Давида): Зачем тебе эта девчонка? Девчонки ничего не понимают в любви. Тебе нужна опытная женщина вроде меня.

Давид (уходя): Ты права, ты должна заняться Иешуа — ему необходима опытная женщина.

Дина (опять прикикая к двери Иешуа): Открой, Иешуа! Все говорят, что я тебе нужна!

Картина восьмая

Мастерская скульптора — несколько незавершенных работ, накрытых мокрыми тряпками. На диване в той же угловатой позе, что и в начале пьесы, лежит Давид. Входит Леа, на ней осенний костюм. Увидев лежащего ничком Давида, она пугается, трогает его за плечо.

Л е а : Давид! Ты спишь?

Давид не шевелится и не отвечает. Леа садится на пол и осторожно касается лица Давида кончиками пальцев. Давид целует ее руку, она отдергивает руку.

Л е а : Как ты меня испугал! Мне показалось, что ты опять... (Обрывает себя.) Ты что-нибудь ел?

Д а в и д : Мне не хотелось.

Л е а : Опять работал день и ночь?

Д а в и д : Ты же знаешь, к пятнице надо все закончить. А у меня, как назло, застопорило... боюсь, не успею.

Л е а : Ты обязан успеть, — ведь во всех газетах объявлено!

Д а в и д : Знаешь, мне так тошно иногда. Ведь это был замысел Ханаана, при чем тут я?

Л е а : А что, было бы лучше, если бы его замысел пропал?

Д а в и д : Может, и лучше! Он был гений, а я кто? Удачливый подмастерье, который ловко воспользовался смертью мастера...

Л е а : Какой негодяй здесь был? Что он тебе сказал?

Д а в и д : Он сказал то, что весь город говорит.

Л е а : Какая разница, что говорят другие?

Д а в и д : Никакой, конечно, если я сам вижу, что все это — Ханаан! (Срывает тряпки со скульптур.) Все, все — Ханаан! А я фотографируюсь для газет, лезу на его место! А зачем мне его место, когда я там — подмастерье? На своем я бы был мастер!

Л е а : Это твое место.

Д а в и д : Скажи, ты бы хотела, чтобы я погиб, а он бы остался жив?

Л е а : Ты уже сто раз спрашивал...

Д а в и д (с настойчивостью безумца) : Но ты бы хотела? Хотела бы, да?

Л е а : Хватит, Давид. Сколько можно?

Д а в и д : Ты только один раз скажи мне правду: хотела бы, да?

Л е а (страстно) : Да, хотела бы, хотела, тысячу раз хотела!

Давид отшатывается от нее, но она настойчиво притягивает его к себе, заглядывая ему в глаза.

Л е а : Ну, теперь ты доволен? Ведь ты давно мечтал это услышать, правда?

Д а в и д (тихо) : Прости.

Л е а (буднично) : Ладно, пошутили и хватит. Кофе сварить?

Д а в и д : Так ты простила меня?

Леа молча насыпает кофе в кофемолку и включает ее.

Д а в и д : Нет, ты скажи, ты меня простила?

Леа молчит, Давид вырывает у нее кофемолку, которая падает на пол и разбивается. Давид опускается на колени и начинает подбирать осколки.

Д а в и д : Только не огорчайся, я соберу и склею.

Л е а : Я и не огорчаюсь. Говорят, это к деньгам. А пока денег нет, можно пить чай, — даже лучше, чашки мыть проще.

Д а в и д (все еще на коленях) : Знаешь, я ведь сначала тебя ужасно не любил. Просто терпеть не мог.

Л е а : Знаю.

Д а в и д : Он из-за тебя тогда совсем голову потерял. Никого вокруг не видел.

Л е а (садится на пол рядом с ним) : Это у него был творческий порыв, он сам говорил, что "ваял мою душу".

Д а в и д : Да, да, он со мной это тоже когда-то проделал.

Л е а : И, конечно, восхищался делом рук своих. Он всегда восхищался всем, что делал, пока ему не надоедало.

Д а в и д : Я давно хотел спросить... Про тот случай, когда мы ездили в Савийон к этому банкиру. Жуткий такой нахал и хвастун, помнишь?

Л е а : Я все помню.

Д а в и д : Мы хотели получить тот заказ на мозаики для фасадов его банка по всей стране. А потом он пригласил нас в ночной клуб в Яффо...

Л е а (поднимается и отходит к окну) : Зачем ворошить старье?

Д а в и д (охваченный воспоминаниями, не слушает) : Его же на поехала с нами, а ты с ним, и мы не договорились, в какой именно клуб. А Ханаан свернул не там, где надо, и мы вас потеряли. И жена банкира страшно нервничала, и все повторяла: "Не понимаю, куда они могли деться!"

Л е а (не оборачиваясь) : Ты тоже не понимаешь?

Д а в и д : Что я должен понимать?

Л е а : Что Ханаан очень хотел получить этот заказ.

Д а в и д (вскакивает и идет за Леей) : Что ты хочешь сказать?

Л е а : Что он его получил.

Д а в и д : Ну и что?

Л е а : И то. Ханаан родился здесь. Ты думаешь, он не знал дороги в Яффо?

Д а в и д : Нет, нет, это неправда!

Л е а : А что ты, собственно, подумал?

Д а в и д : Ничего я не подумал. (Молчание.) Знаешь, я бы, наверно, умер, если б не ты. Я ведь совсем не хотел жить, это ты меня заставила. Мне теперь кажется, что я всегда тебя любил, даже когда думал, что ненавижу. Ты меня тогда совсем не замечала, я был у вас третий лишний, но я наверно уже тогда тебя любил...

Л е а : Никого ты не любил, кроме него. Таскался с ним по кабакам и злорадствовал, что я ему надоела.

Д а в и д (притягивая ее к себе) : Но мне ты не надоела.

Л е а (пытаясь отстраниться) : Отпусти, не надо...

Д а в и д (не отпуская ее, касается губами ее волос) : Твои волосы благоухают, как апельсиновый сад.

Они стоят обнявшись.

Д а в и д (после паузы) : Я раньше не замечал: у тебя волосы рыжие...

Л е а (нежно) : Раньше ты вообще меня не замечал.

Д а в и д : Ты теперь всегда будешь со мной, Леа? (Хочет ее поцеловать.)

Л е а (вдруг вырывается и отталкивает его) : Нет, нет, не трогай меня!

Д а в и д : Что с тобой?

Л е а (дрожа, прижимается лбом к оконному стеклу) : Отойди, отойди!

Д а в и д (пытаясь повернуть ее лицом к себе) : Что там? Куда ты смотришь?

Л е а : Не трогай... Нам, нельзя, ...нельзя!

Д а в и д : Из-за Ханаана, да?

Л е а (отшатываясь от окна) : Ты тоже его видел?

Д а в и д : Просто меня вдруг кольнуло, — как упрек, будто я виноват...

Л е а : Значит ты тоже его видел!

Д а в и д : Кольнуло и отошло... Все отошло, кроме тебя! (Хочет ее обнять.)

Л е а (сопротивляясь): Нет, я не могу... не могу при нем...

Д а в и д : Его больше нет, он погиб, сгорел, его нет...

Л е а : Он был там, за окном, я его видела. Он смотрел на нас из темноты — лицо белое, светится, как луна, а вместо глаз черные дыры...

Д а в и д : Тебе показалось — это ветки, вот они, качаются за стеклом.

Л е а : Нет, это был он, мне показалось, он нас сейчас убьет, так он на нас смотрел.

Д а в и д : А когда ты поехала в Яффо с тем толстомордым из Савийона, он тоже так на тебя смотрел?

Л е а : При чем тут это? Тогда я его любила и делала все, как он хотел. А сейчас мне показалось на миг, что я люблю тебя, а не его.

Д а в и д : Тебе не показалось, — я знаю, ты любишь меня. (Хочет обнять ее.) Дай, я обниму тебя, и все будет хорошо.

Л е а (отступая): Не здесь, Давид, только не здесь! ...мне страшно!

Картина девятая

Вечер. Кафе на берегу моря, ветер доносит откуда-то обрывки музыки. За столиком Леа и Давид.

Л е а (слегка пьяна): Хорошо, когда есть деньги! Сами себе хозяева — захотели, поехали в Эйлат!

Д а в и д : Я говорил тебе, что заказал новую печь для обжига?

Л е а : Очень дорого?

Д а в и д : Очень. Но без печи я не смогу выполнить заказ вовремя.

Л е а : Видишь — такой был конкурс, а заказ получил ты!

Д а в и д : Раз ты мной гордишься, ты должна, наконец, принять мое предложение.

Л е а : Зачем тебе жена? Раньше ведь ты обходился?

Д а в и д : Раньше я был подмастерье, и мне оставалось только облизываться на жену мастера. А теперь я сам мастер и мне полагается жена.

Л е а : Но почему я?

Д а в и д : Для представительства. Ведь ты — профессиональная жена мастера. Так что же?

Л е а : Почти уговорил.

Д а в и д (тянет ее за руку) : Потанцуем?

Л е а : Одни?

Д а в и д (они уже танцуют) : А тебе нужны зрители?

Л е а (прижимаясь к нему) : Мне нужен только ты.

Д а в и д : Скажи это еще раз.

Л е а : Мне нужен только ты, только ты, только ты.

Давид хочет поцеловать ее, она, закрыв глаза, тянется к нему, но вдруг резко отшатывается с криком ужаса.

Л е а : Прости, Давид. Я так и знала, что ничего не выйдет.

Д а в и д : Ты весь вечер ждала, что он появится?

Л е а : Он все время был где-то рядом: стоял за спиной, подглядывал из-за кустов.

Д а в и д (в ярости) : Ты что, играешь со мной, чтобы снова увидеть его?

Л е а (плачет) : Не кричи, мне и так плохо.

Д а в и д (грубо хватая ее) : Тогда забудь о нем, обними меня,ними эту тряпку. (Хочет сорвать с нее платье.) Дай мне взять тебя в руки, ложись со мной...

Л е а : Прямо здесь, на песке?

Д а в и д : Почему бы нет, тут нет никого. Если бы ты один раз переступила через свой страх, все было бы хорошо!

Л е а (отчаянно вырываясь) : Не надо, не надо, я не могу!

Д а в и д (не помня себя) : Ничего, сможешь. Я заставлю тебя.

Давид страстно целует Лео, она перестает сопротивляться и стоит неподвижно, позволяя Давиду сдвинуть плечики ее платья. Когда он на миг отпускает ее, она без сознания, как подкошенная, падает на песок.

Д а в и д (опускаясь на колени) : Прости меня, я не хотел... прости!

Картина десятая

Кабинет врача. У стола сидит 2-Шош, перед столом два пустых стула, по кабинету как маятник — вправо, влево, — вышагивает Иешуа...

И е ш у а (повторяет на разные лады): Я! Я! Я! Я! Я! Я! Я!
(Останавливается, как вкопанный, охватив руками голову.)
Нет!

2 - Ш о ш : Кто же ты?

И е ш у а : Я — никто, меня нет.

2 - Ш о ш : Откуда ты это взял?

И е ш у а : Я сам себе это все время говорю.

2 - Ш о ш (указывая на стул) : Вот и скажи себе это.

И е ш у а (садясь на стул) : Ты — ничтожество, ты — ноль, ты — жалкий трус!

2 - Ш о ш (указывая на второй стул) : А что ты себе отвечаешь?

И е ш у а (пересаживаясь) : Ты прав, я — ничто, меня нет, я даже тела своего не чувствую — ни рук, ни ног, ни желудка, ни кишок. И все из-за тебя: ты не даешь мне жить, потому что воображаешь себя чуть ли не посланником Божиим.

2 - Ш о ш : Отвечай, быстро!

И е ш у а (пересаживаясь) : Так оно и есть: ты — ничтожество, а я — посланник Божий. (Пересаживаясь.) Неправда! Ты такой же трус, как и я, иначе бы ты спас эту собаку.

2 - Ш о ш : Какую собаку?

И е ш у а (в ужасе) : Не спрашивай, я не хочу про собаку!

2 - Ш о ш : Если не хочешь, не надо.

1 - Ш о ш (появляясь в окне) : Что значит, не надо? Именно то, что он не хочет, то как раз и надо!

2 - Ш о ш : Но я не могу про собаку, я чувствую, там будет ужас и кровь.

1 - Ш о ш : Не можешь, пусти меня. Я говорила тебе не таскаться на работу в хамсин.

2 - Ш о ш (поспешно встает и идет к окну) : Иди. А я пойду, приму душ и лягу — голова так и раскалывается.

2-Шош исчезает за окном, 1-Шош занимает ее место у стола.

1 - Ш о ш : Так что же собака?

И е ш у а : Сегодня мальчишки у нас во дворе убили собаку. Нет, не надо об этом, не спрашивай!

1 - Ш о ш : Нет, Иешуа, раз ты уже упомянул собаку, тебе придется о ней рассказать. Как они убили ее, палками?

И е ш у а : Нет, они сначала привязали к ее хвосту банку с гвоздями и гоняли ее по двору... (Замолкает.)

1 - Ш о ш : Ну, привязали банку, и что?

И е ш у а : ...банка грохотала и собака совсем помешалась от ужаса... она стала выть, кружиться на месте и ловить себя за хвост и тогда они начали бросать в нее камни, пока не убили... весь асфальт был в крови, и стена... она сперва выла, а потом затихла, наверно, уже сдохла, но они не могли остановиться, они все швыряли и швыряли в нее камни, а взрослые шмыгали мимо, будто ничего не замечали, и никто не вмешался... все боялись — они совсем обалдели от крови и были, как пьяные, они топтали собачий труп и разбрызгивали кровь по лицам и по одежде... и я тоже струсил, и я тоже...

1 - Ш о ш : Расскажи мне это от имени мальчишки, который бросает камни в собаку.

И е ш у а : Я? Нет, это я не могу — я собака, в которую бросают камни.

1 - Ш о ш : Хорошо, пускай ты — собака.

И е ш у а (лихорадочно бегаёт по комнате) : Что вам от меня надо? Что я вам сделал? (Закрывается руками, словно от ударов.) И никто не вступится, все идут мимо, будто не видят. И тогда тоже никто не вступился, когда они окружили меня на пустыре за школой. Они меня подстерегли там и я сразу понял, что будет (захлебываясь словами) и побежал, но они меня догнали, набросили на голову грязный мешок, повалили и начали пинать ногами, будто футбольный мяч. (Падает и катается по полу.) Бам! — по спине. Бам! — по голове. Бам! — по ногам. И орал и выли от восторга: "Жид! Жид! Жидюга! Отличник поганый!"

1 - Ш о ш : Попробуй все-таки за тех мальчишек.

И е ш у а (поднимается, пинает невидимое тело под ногами) : "Жид! Жидюга! Отличник поганый!" (Садится на пол у ног 1-Шош.) Нет, не могу, у меня не выйдет.

1 - Ш о ш : Хорошо, давай я расскажу тебе про мальчишек, а ты мне про себя. (Садится на один из стульев.) Он — чужой, он — еврей, его можно бить и пинать, и играть им в футбол, как футбольным мячом, и никто за него не вступится. И сам он не даст сдачи, потому что он — трус, ничтожество, нуль без палочки.

И е ш у а (вскакивает, дрожа) : Зачем ты так? Ведь я мог о томстить! Ах, как страшно я мог отомстить!

1 - Ш о ш : Ну, расскажи, расскажи — как?

И е ш у а : Нет, нет, я не хочу об этом. Я лучше уйду, а ты забудь о том, что я сейчас сказал! (Выбегает стремительно.)

1 - Ш о ш (спешит за ним) : Иешуа! Вернись! (Выглядывает в коридор.) Моше, задержи его! Задержи и верни сюда!

2 - Ш о ш (быстро входит) : Убежал? Вот и хорошо! Не надо догонять, не надо возвращать, ничего не надо. (Кричит в коридор.) Оставь его, Моше, пусть убегает!

1 - Ш о ш : Ты же ушла, что ж ты вернулась командовать? Пусти меня, я сама его догоню? (Хочет выбежать.)

В кабинет заглядывает Давид.

Д а в и д : Что-то случилось, Шош?

2-Шош исчезает.

1 - Ш о ш (возвращается к своему месту) : Просто голова болит, — сегодня ужасный хамсин. А ты зачем тут? Разве тебе сегодня назначено?

Д а в и д : Мне нужно срочно посоветоваться с тобой. Не о себе, о ней.

Картина одиннадцатая

Вечер. Улица перед домом Леи. Леа устало подходит к дверям. От стены в темноте отделяется фигура — это Давид.

Д а в и д : Леа!

Л е а (вздрагивая) : Ты?

Д а в и д : Ты не пошла к Шош? Где ты была?

Л е а : Бродила по улицам.

Д а в и д : Одна?

Л е а : С Ханааном... Мы стояли на набережной и смотрели на прибор... (Отпирает дверь.) Иди домой, Давид, я устала.

Д а в и д : Я тебе совсем не нужен?

Л е а : Не знаю...

Д а в и д : Но ведь ты... мне казалось, ты меня любишь...

Л е а : Наверно, в жизни бывает только одна настоящая любовь. У меня уже была и больше мне не полагается.

Д а в и д : А мне что полагается? Зачем ты вытащила меня из моей могилы? Мне было там хорошо и спокойно, я все забыл — кто я, зачем я, — мне было все равно. Это ты виновата, что мне опять не все равно!

Л е а : Что ты от меня хочешь?

Д а в и д : Чтобы ты начала лечиться у Шош.

Л е а : А она будет выспрашивать, как я в первый раз подсматривала за мамой и папой, когда они занимались любовью, как это было у меня с Ханааном и как я первый раз узнала, что он мне изменяет.

Д а в и д : Ну и что? Она спросит, а ты расскажешь.

Л е а : У меня нет на это денег.

Д а в и д : Я уже сказал, что плачу я.

Л е а : Я не могу принять такой дорогой подарок.

Д а в и д : Что, моя жизнь дешевле? Ее ты приняла в подарок!

Л е а : Если я пообещаю, что пойду туда, ты отпустишь меня сейчас?

Д а в и д : Ты так хочешь, чтобы я ушел?

Л е а : Я хочу спать, спать, спать...

Картина двенадцатая

Кабинет, 1-Шош у стола, Леа лежит на кушетке.

1 - Ш о ш : Закрой глаза, расслабься, сделай глубокий вдох...

Л е а : Не могу, у меня в горле будто осколок стекла застрял и душа онемела...

1 - Ш о ш : Что это значит?

Л е а : Как-то, когда я была маленькая, мальчишки заперли меня в подвале... без окон, без света. Я думала, раз никто не знает, что меня тут заперли, я останусь тут навсегда... Сначала я плакала и стучала в дверь, а потом мне стало все равно... у меня душа онемела... так и сейчас...

1 - Ш о ш : Но сны тебе снятся?

Л е а : Иногда.

1 - Ш о ш : Расскажи сон, который ты хорошо помнишь.

Л е а : ...Вроде я вхожу в какой-то дом, я совсем одна, дом не достроен, всюду кучи мусора, и очень тихо. Я иду вверх по длинной-длинной лестнице без перил... ей нет конца, она идет прямо в небо, мне очень страшно и голова кружится от высоты, но вернуться нельзя и не за что ухватиться, но я не падаю, а поднимаюсь все выше, хоть знаю, что она никуда не ведет...

1 - Ш о ш : Расскажи этот сон от имени дома.

Л е а : Я — дом, меня начали строить и бросили, я стою на пустыре, там темно, тихо, никого нет. У меня нет окон, нет полов и потолков, есть только лестница без перил, и кто-то карабкается по этой лестнице вверх...

1 - Ш о ш : Кто это — кто-то?

Л е а : Это я, Леа.

1 - Ш о ш (показывает на стулья) : Этот стул — дом, этот — Леа, предупреди Лею, что лестница никуда не ведет.

Л е а (садится на стул) : Куда ты, Леа? Эта лестница никуда не ведет. (Пересаживается.) Но мне никуда и не надо. (Пересаживается.) Ты упадешь и разобьешься. (Пересаживается.) Зачем ты пугаешь меня? (Пересаживается.) Потому что я не могу защитить тебя — у меня нет ни окон, ни дверей, ни потолков, а лестница качается от ветра. (Пересаживается.) Я не хочу тебя слушать, оставь меня в покое. (Пересаживается.) Остановись, еще немного — и ты полетишь вниз, вниз, вниз, пока не разлетишься на мелкие осколки. (Пересаживается.) Хватит, замолчи! Я все равно не могу вернуться назад! (Пересаживается.) Но я не разрешаю тебе идти дальше! (Пересаживается.) Оставь меня! Я сама хочу решать, куда мне идти!

1 - Ш о ш : Скажи это Ханаану.

Л е а (в ужасе) : Почему Ханаану?

1 - Ш о ш : Не спрашивай, а делай, то, что я сказала!

Л е а (неуверенно шепчет) : Оставь меня, Ханаан! Я сама хочу решать, куда мне идти!

1 - Ш о ш : Что с тобой? Что ты шепчешь?

Л е а : Я... я не могу сказать это Ханаану. Я боюсь...

1 - Ш о ш : Кого ты боишься?

Л е а : Я боюсь себя. Я боюсь тебя. Я боюсь что ты подойдешь слишком близко...

1 - Ш о ш : И что случится?

Л е а : Не знаю. Что-то страшное.

1 - Ш о ш : Но ты любишь Давида?

Л е а : Я люблю Ханаана.

1 - Ш о ш : Ханаана больше нет, его не вернуть. Ты собираешься жить дальше?

Л е а (уронив голову на руки) : Я не знаю. Я не уверена.

ВТОРОЕ ДЕЙСТВИЕ

Картина первая

Большая комната, в углу — пианино, рядом с ним сидит 2-Шош, возле нее два пустых стула. Лицом к 2-Шош на составленных полукругом стульях сидят Леа, Давид, Иешуа, Ирит. Один стул пустует, Дина стоит поодаль, прижимаясь лицом к стене.

2 - Ш о ш : Почему ты не садись, Дина?

Д и н а : Я опять поссорилась с мужем.

2 - Ш о ш : Расскажи. Этот стул — ты, этот — твой муж.

Д и н а (садится) : Он пришел вчера днем с криком, что спешит... Я стала греть суп...

2 - Ш о ш : Покажи это.

Д и н а (пересаживается) : Я опаздываю, а у тебя, как всегда, ни черта не готово. (Пересаживается.) Позвонил бы, я бы нагрела к твоему приходу. (Пересаживается.) Суп слишком горячий. (Делает вид, что звонит по телефону.) Так я иду, Иоси? Что, только до четырех? Лечу! (Пробует суп.) Нет, горячо, невозможно есть. (Швыряет ложку.) Лучше домой не приходите, все равно голодным уйдешь! Ты что, не слышишь — телефон звонит? Ответь скорей — если меня, скажи, что я уже ушел. (Пересаживается.) Алло, нет, его нет, будет вечером. Кто это — господин Аппель? Я передам. (Пересаживается.) Вот дура! Зачем ты сказала Аппелю, что меня нет? Я уже три дня не могу его поймать! (Пересаживается.) Но ты сам просил сказать... (Пересаживается.) Мало что я просил, сама соображать должна! (Пересаживается.) Зачем ты пришел? Чтобы меня оскорблять? (Пересаживается.) Дурак был, вот и пришел. Больше не придуй! (Пересаживается.) И не приходи, и не надо! Кому ты нужен! (Швыряет на пол мелкие вещи с пианино.)

2 - Ш о ш : Что ты разбила?

Д и н а : Обеденный сервиз. Он подарил его мне на годовщину свадьбы.

2 - Ш о ш : Кто-нибудь хочет помочь?

Все участники следующей сцены вскакивают со своих мест и говорят свои реплики, то стоя, чуть согнувшись, за стулом Дины или за стулом ее мужа, то садясь на свободный стул — по обстоятельствам.

Д а в и д (стул мужа) : Что ты делаешь? Мой любимый сервиз! Я, как осел, работаю день и ночь, чтобы ты ни в чем себе не отказывала, чтобы ты жила в свое удовольствие!

Д и н а (стул Дины) : Большое удовольствие — жить с таким хамом, как ты!

И р и т (стул мужа) : Будто я не знаю: ты воображаешь, что ты — умная, образованная, а я — торгаш, ты стыдишься меня перед своими друзьями, ты живешь со мной только из-за денег...

Д и н а (стул Дины) : Ты смеешь попрекать меня этими засраными деньгами? Можешь подавиться всем, что на них куплено! (Швыряет на пол все, что есть под рукой.) Вот тебе! Вот тебе!

И р и т (стул мужа) : Ты с ума сошла! Этим чашкам цены нет, моя мама получила их в приданое еще в Польше, здесь таких не найти.

Д и н а (стул мужа) : В чем ты будешь теперь подавать чай своим зазнайкам-друзьям, которые и знать меня не хотят, хоть каждую неделю едят и пьют в моем доме!

И р и т (стул Дины) : Знаешь, зачем они к нам ходят? Все пытаются понять, зачем я вышла за тебя замуж.

Д а в и д (стул мужа) : Все не можешь забыть, что была когда-то красотка? Да кто теперь это помнит? Кому ты нужна?

2 - Ш о ш (стул Дины) : Ты ведь не думаешь так? Ты сказал это нарочно, чтобы сделать мне больно, чтобы я заплакала и простила тебя.

Д и н а (стул Дины) : Но я не хочу тебя прощать, не хочу, чтобы ты успокоился. Раз мне плохо, пусть и тебе будет плохо!

Все застывают и на фоне их неподвижных фигур в комнату медленно, как лунатик, входит 1-Шош.

1 - Ш о ш : Ты помнишь, помнишь, как это было, до того, как мы с ним развелись?

2 - Ш о ш : Ты хочешь сказать — до того, как ты с ним развелась? Я всегда была против развода.

1 - Ш о ш : Ну да, если б не я, ты б до конца дней длила эту

взаимную муку: ссориться-мириться, ссориться-мириться, потискаться на койке и тут же подраться на кухне.

2 - Ш о ш : Что ж, зато это была настоящая жизнь! А теперь что — серые будни. Придешь с работы, брюхо набьешь, телевизор посмотришь и в постель — а там никого, кроме тебя.

1 - Ш о ш : Не жизнь это была, а театр на дому! Давай, подкинь этой несчастной дуре пару реплик из твоего прошлого репертуара!

2 - Ш о ш (стул Дины) : ...я сделаю что-нибудь ужасное, прыгну с крыши или повешусь, чтобы ты потом всю жизнь упрекал себя, чтобы мучался и места найти себе не мог...

Д и н а (стул мужа) : За что, Дина, за что?

2 - Ш о ш : За то, что ты испортил мою жизнь...

Д и н а : За все, за все! (В трансе.) За то, что я вышла за тебя и бросила папу, и папа умер в одиночестве, и я даже не знаю, как он умерал...

1 - Ш о ш (стул мужа) : При чем тут я? Ты сама с ним поссорилась.

2 - Ш о ш : Это он со мной поссорился. Конечно, он не мог меня простить,...

Д и н а (в трансе) : Он был в ужасе, что его красавица-дочь выбрала такое ничтожество. Ведь он знал, что я делаю это только для того, чтобы сбежать от его любви и от его упреков. Я больше не могла это терпеть и бросила его. Я ненавидела его и он умер, и я даже не могу попросить у него прощения...

1 - Ш о ш : Давид, садись сюда, это стул отца. Поговори со своей дочкой.

Д а в и д (стул отца) : За что ты бросила меня, старого и больного?

Д и н а : Всегда ты так — хочешь, чтобы я тебя пожалела. Чтоб жила по твоей указке и делала то, что ты велишь, дружила с теми, кого ты мне выбираешь.

Д а в и д : Я хочу, чтобы ты думала о добром имени нашей семье...

И р и т (за стулом отца) : ...а не таскалась по ночным клубам с кем попало...

Д и н а : ...а сидела в этом постылом доме с тобой одним и вязала тебе носки и шарфы.

Д а в и д : Не оставляй меня одного по вечерам, у меня слабое сердце, я боюсь — у меня будет приступ и я умру без тебя.

Д и н а : Но я не могу сделать тебя молодым и здоровым, я хочу жить, пока я молодая.

Давид по знаку 1-Шош поднимается со стула и уступает место Дине, которая садится на его место и продолжает

Д и н а : Вот она, награда за то, что я всю жизнь работал не покладая рук, чтобы ты ни в чем не знала нужды! (Пересаживается.) Ты делал это для себя, а не для меня! (Пересаживается.) Ты еще пожалеешь, неблагодарная, ты еще заплачешь обо мне! Я умру назло тебе, чтоб ты не могла простить себе, что бросила меня...

2 - Ш о ш (за стулом отца) : ...чтобы ты не могла любить никого, кроме меня, и тогда, наконец, ты станешь моей, и больше ничьей, как было раньше, до того, как ты выросла. Ты опять станешь маленькой девочкой с косичками, которую я так любил...

Д и н а (плачет) : Да, да, ты один любил меня, ты покупал мне шоколадки и шлепал меня по пальцам, чтобы я не грызла ногти. ...А теперь тебя нет и никто меня не любит...

1 - Ш о ш : Почему никто? У тебя есть муж — он упрекает тебя точно, как папа, и ты бросаешь его по вечерам, как ты бросала папу. Ведь ты ушла вчера вечером, как грозилась?

Д и н а : Ушла. И вернулась поздно, далеко за полночь.

1 - Ш о ш : И что было? Леа, садись на стул мужа.

2 - Ш о ш : Почему именно Леа на стул мужа? Чтобы сделать ей больно?

1 - Ш о ш : В принципе, именно для этого. Когда человеку больно, он теряет контроль над собой и может проговориться.

2 - Ш о ш : Тогда мне лучше уйти, я в попытках не участвую. (Уходит.)

1 - Ш о ш : Скатертью дорога. Ну, Леа, садись сюда, сколько раз тебя приглашать?

Леа неохотно садится на указанный стул.

1 - Ш о ш : Твоя жена всю ночь шлялась неизвестно где. Ты лежишь в постели, но не можешь заснуть. Ты ждешь ее.

Л е а : Кто сказал, что я в постели? Сейчас всего пол-второго. Я никогда не возвращаюсь так рано, если ухожу один.

Д и н а : Ушел один, без меня? Глупости, куда ты мог уйти?

Л е а : Куда угодно! Тем более ты сказала, чтобы я тебя не ждал.

1 - Ш о ш : Но представим все же, что ты дома и ждешь. И наконец ты слышишь, как она отпирает дверь и крадучись входит в спальню.

Дина встает и изображает, как она отпирает дверь ключом и входит на цыпочках. Леа сидит молча, глаза ее закрыты.

Д и н а (шепотом) : Ау, Ицек, ты спишь?

Леа не отвечает.

1 - Ш о ш (за стулом Дины) : Эй, Ицек, что же ты не спрашиваешь, где я была?

Л е а : Какая разница!

Д и н а : Разве тебе не интересно?

Л е а : Тебе было весело?

Д и н а (с вызовом) : Очень! Что ж ты не спросишь, с кем я была?

Л е а : Ты хорошо провела время, и я неплохо — что еще надо? (Зевает.) Спокойной ночи, умираю спать. (Отворачивается.)

Д и н а (постепенно включается в игру) : Ну уж нет, я не дам тебе заснуть, я хочу рассказать, с кем я была сегодня...

Л е а : Зачем превращать ночь в день? Мне завтра с утра работать...

Д и н а : Но ты — мой муж! Я хочу знать, с кем ты был так поздно!

Л е а : Мы поженились не для того, чтобы наш дом стал тюрьмой. Каждый из нас свободен...

Д и н а (швыряет стул на пол) : Хватит! Замолчи! Мой муж не мог бы так со мной говорить! Он волновался и ждал меня, а когда я пришла, он бросился мне навстречу и заплакал... он попросил у меня прощения и я простила его... и мы помирились...

Л е а : Зачем? Чтобы назавтра опять поссориться?

Д и н а : Нам всегда хорошо вместе после ссоры! Я так волнуюсь, когда отпираю дверь и вхожу на цыпочках, — а вдруг он меня убьет? Он так меня ревнует!

Л е а : Неужели ревнует? Но говорят, ревновать унизительно!

Д и н а : Глупости! Это прекрасно, когда тебя ревнуют! Я тихо раздеваюсь в темноте и ложусь рядом с ним, — я знаю, он не спит, он лежит в темноте и ждет меня, и сердце его стучит так громко, что стук этот заполняет всю спальню!

Л е а : Странный муж... лежит в темноте и ждет...

И е ш у а : Нет, это не странно — так и надо, чтобы сердце стучало на всю спальню.

1 - Ш о ш : Ты не согласен с Леей, Иешуа?

И е ш у а : Нет, я бы тоже ждал ее и волновался, но она не захотела за меня выйти.

1 - Ш о ш : Иди сюда. Расскажи нам о ней. Кто она?

И е ш у а : Ее звали Леа. Мы собирались на вечеринку, я зашел за ней, на ней была белая блузка... я хотел ее поцеловать, она отстранилась. На вечеринке рядом со мной не села и всю дорогу домой молчала, а когда дошли до ее подъезда, сказала: "Зайди на минутку". Обычно она по вечерам меня к себе не пускала, чтоб соседи чего не подумали, она ведь разведенная была, с маленькой дочкой... А тут вдруг говорит: "Зайди!"...

1 - Ш о ш : Покажи, как это было.

И е ш у а (пересаживается) : Ты больше ко мне не приходи, я не хочу с тобой встречаться. (Пересаживается.) Ты на меня за что-то сердисься? (Пересаживается.) Нет, просто надоело. Я — обыкновенная баба, я хочу обыкновенного земного счастья, а ты всегда в облаках, я там не удержусь, слишком я тяжелая. (Пересаживается.) Подожди еще немного, пока я исполню то, что мне назначено. Но она не захотела ждать.

1 - Ш о ш : Что она сказала?

И е ш у а : Я не помню, не хочу помнить. Она сказала что-то нехорошее, злое, непохожее на нее.

1 - Ш о ш : Напомни ему, Леа.

Л е а (садясь на стул рядом с Иешуа) : Ты всегда говоришь о себе, о своем призвании, о своих достижениях. А ты подумал хоть раз о том, что мне нужно? Ты будешь подниматься все выше и твои друзья будут шептать тебе за моей спиной: "Оставь ее! Она тебе не пара".

И е ш у а : Мои друзья никогда так не скажут!

Л е а (в трансе) : И ты очень быстро поверишь им, с удивлением посмотришь на меня и пожмешь плечами, — и впрямь, братцы, ошибся! И даже не заметишь, что делаешь мне больно.

И е ш у а : Нет, нет! Я никогда не сделаю тебе больно!

Л е а : Ты никогда обо мне не думал, ты всегда делал мне больно, даже в постели, а потом отворачивался и засыпал, будто меня не было рядом.

И е ш у а : Она не могла так сказать, — между нами ничего такого не было: у меня нельзя было из-за мамы, у нее из-за дочки, а в парке она боялась — вдруг кто-нибудь увидит... Может, она потому и прогнала меня?

Л е а : Она прогнала тебя, потому что ты всегда думал только о себе, о себе, о себе!

Д а в и д : Неправда! Ты не можешь так о нем думать!

Л е а (словно очнувшись после обморока) : О ком?

Картина вторая

Обстановка предыдущей картины, те же лица.

1 - Ш о ш : Сегодня вы — птицы, увлеченные любовной игрой. У вас есть крылья, но говорить вы не умеете. Начали.

Давид, подражая порхающей птице, кружит вокруг Леи, которая от него уклоняется. Ирит и Дина со щебетом порхают вокруг Иешуа, он некоторое время стоит неподвижно, затем резко поворачивается и хочет уйти.

1 - Ш о ш : Куда ты, Иешуа?

И е ш у а : Ты же знаешь, я не люблю птиц. Особенно кур.

И р и т : А что тебе сделали куры?

По знаку 1-Шош все возвращаются на свои места.

И е ш у а : Ты могла бы зарезать курицу, Ирит?

И р и т (брезгливо) : Ни за что!

И е ш у а : Знаете, как у нас на комбинате резали кур?

Д а в и д : В Москве?

И е ш у а : Вообще-то я из Москвы, но мы с мамой долго жили в Казахстане, нас туда сослали, когда отца расстреляли. А ссыльному было трудно найти работу, вот я и стал забойщиком кур. Для этого надо иметь очень точную руку, надо перекусить артерию у курицы в горле одним движением.

Д и н а : Бр-р-р! Ужас какой! Как ты мог это делать?

И е ш у а : Ну, это просто. Куры подъезжают на конвейере, ноги у них связаны.левой рукой надо схватить курицу за крылья, она, конечно, орет и бьется, а правой сунуть ей в глотку специальные ножницы с кривыми лезвиями.

1 - Ш о ш : Ты был хорошим забойщиком?

И е ш у а : Я был рекордсмен, я забивал до десяти кур в минуту. Если натренироваться, можно делать это очень быстро. Для этого лучше всего представлять себе кого-нибудь, кого ненавидишь, например одного из тех мальчишек, которые били меня тогда на пустыре. (Возбуждаясь.) Я вижу, как он орет, и сую ножницы прямо в его открытый рот; щелкаю — раз! — и конец. Это не больно, курица умирает мгновенно, это не то, что навалиться вдесятером на одного, накрыть мешком и топтать ногами.

И р и т : Выходит, ты был профессиональный убийца?

И е ш у а : Был, пока у меня опять не отнялась рука.

И р и т : Что значит — опять?

И е ш у а : Первый раз она отнялась после того, как они сломали ее в трех местах, когда топтали меня ногами. Я тогда два месяца провалялся в больнице — ребра у меня тоже были сломаны, и ключица, но меня хорошо починили и я вышел, как новенький.

1 - Ш о ш : А когда же рука отнялась снова?

И е ш у а : Это потом, потом, но я не хочу про это...

1 - Ш о ш : Когда ты хотел отомстить, да?

И е ш у а : Ты же обещала никогда об этом не спрашивать!

1 - Ш о ш : Когда я это обещала?

И е ш у а : Я тебя просил не спрашивать, и ты сказала: "Ладно, не буду".

За спиной 1-Шош появляется 2-Шош.

1 - Ш о ш (к 2-Шош) : Это ты, конечно, обещала?

2 - Ш о ш : У меня не было выхода, он пытался выскочить в окно. Я пообещала, чтобы его остановить.

1 - Ш о ш : Можно было вызвать санитаров и связать его, вместо того, чтобы обещать глупости.

2 - Ш о ш : Ты же знаешь, это против моих принципов.

1 - Ш о ш : Что ж, раз так, займись им сейчас. Прощай.

1-Шош исчезает, 2-Шош занимает ее место.

2 - Ш о ш (к Иешуа) : Я раньше пообещала, но сейчас мне показалось, ты сам хочешь про это поговорить. Иначе зачем ты вдруг вспомнил про кур, ведь про кур ты тоже не хотел...

И е ш у а : Да, да, кур я хочу забыть, но никак не могу. Наверно из-за запаха, — ведь я весь провонял куриной кровью: и руки, и волосы. Сколько раз я брил голову наголо, и ничего не помогает, волосы отрастают и снова пахнут кровью и куриным дерьмом, ведь каждая курица удельвается, когда ее режут. Из-за этого запаха они мне снятся каждую ночь...

Д а в и д : Живые?

И е ш у а : Иногда живые, иногда ошипанные, кожа сиреневая, пупырчатая.

Д а в и д : И что говорят?

И е ш у а : Откуда ты знаешь, что они говорят со мной?

2 - Ш о ш : Садись сюда, мы хотим услышать, что они говорят.

И е ш у а (пересаживается) : Ты весь пропах нашей кровью. За что ты нас? Мы тоже твари Божьи, мы тоже хотим жить. (Пересаживается.) Я не хочу убивать вас, просто это моя работа. Ведь людям надо есть. (Пересаживается.) Какое нам дело до людей, мы не хотим ради них умирать. (Пересаживается.) Думаете, людям лучше, чем вам? Они тоже не хотят умирать, но их тоже убивали ...такие, как я. (Пересаживается.) Ты жалеешь людей? А о ком ты думаешь, когда суешь ножницы нам в глотки? (Пересаживается.) Ну и что? Пусть я даже представляю, как сую ножницы в глотки тех мальчишек с пустыря, я ведь никого из них не убил!

2 - Ш о ш (за стулом Иешуа) : Я не ем больше мяса, я ушел с той работы и даже уехал из той страны, чего еще вы от меня хотите?

Д а в и д (стул кур) : Мы хотим, чтобы ты помнил нас,вечно, — в наказание за то, что ты натворил.

И е ш у а (вскакивает) : Но я ничего не сделал! Ничего! (Идет к двери.)

2 - Ш о ш : Леа, верни его.

Л е а : Как?

2 - Ш о ш : Ты — женщина. Придумай как.

Л е а (идет за Иешуа, зовет нерешительно) : Иешуа!

Рука Иешуа на ручке двери, он стоит не оборачиваясь, но не уходит. Леа кладет руку ему на плечо.

Л е а : Ты ведь не хочешь уходить, правда? Ты ведь хочешь остаться и все рассказать?

Иешуа молчит, но не делает попытки уйти или стряхнуть ее руку.

Л е а : Ты чего-то боишься, да?

И е ш у а (не оборачиваясь) : Откуда ты знаешь?

Л е а : Я тоже боюсь.

И е ш у а (прижимаясь щекой к ее руке) : Я знаю, ты все поймешь, ты не будешь надо мной смеяться. (Садится на пол возле двери и тянет ее за собой.) Тебе я все расскажу. Только не уходи, сядь здесь, рядом со мной... Знаешь, я ведь и вправду чуть не убил. Я много лет готовился, я узнал их адреса, и когда мама умерла, я решил и поехал туда, в тот городок, где мы жили в ссылке. Я приехал ночным поездом и пошел к дому Хари, — он был тогда у них паханом, его я убивал ножницами чаще всех. У меня был разработан план, как я вызову его на улицу, ножницы я спрятал в рукаве. Вокруг было пусто, я осторожно подкрался к окну и заглянул: на диване вполоборота ко мне сидел толстый лысый мужчина в голубой майке и ел арбуз. Руки у него были дряблые и пупырчатые, — такого ничего не стоило загнать в угол и прикончить, он выгрызал из ломтей арбуза красную мякоть, а зеленые корки бросал на стол, на желтую липкую клеенку, усеянную черными арбузными семечками. Он бросил на стол последнюю обгрызанную корку, взял из коробка спичку, надломил и начал ковырять в зубах — ковырнет и понюхает, опять ковырнет и опять понюхает. Я старался вспомнить, каким он был тогда, на пустыре, но у меня не получалось. И тут я увидел маму...

Л е а : Она смотрела на тебя из темноты...

И е ш у а : ...смотрела на меня из темноты...

Л е а : ...лицо белое, светится, как луна...

И е ш у а : светится, как луна, а вместо глаз черные дыры...

Д а в и д : Тебе показалось — это были тени от веток!

Л е а : Мне не показалось — это был он!

И е ш у а : Мне не показалось — это была мама! Она подняла руку, словно проклинала меня и вдруг у меня в груди что-то попнуло и пот залил глаза и я побежал. Я бежал сам не знаю куда и плакал, первый раз за много лет, я ведь после того случая на пустыре ни разу не плакал, даже когда мама умерла, а я очень маму любил...

И р и т : Мама знала про тех, на пустыре? Что ты о них думаешь, когда ты ... ну, когда ты ножницами в горло...

И е ш у а : Мама все знала, я ей не рассказывал, но она догадывалась... Особенно, когда у меня отнялась рука...

1 - Ш о ш : Это было уже после того, как ты ездил убивать Харю?

И е ш у а : После. Я тогда всю ночь бродил по степи, там вокруг мертвая степь, и ничего не растет, кроме перекасти-поля, а к утру мне стало легче, я пошел на станцию и вернулся на комбинат. Но только я взял первую курицу с конвейера, моя правая рука онемела и повисла, как плеть. Чего только мне ни делали, — солевые ванны, электрошок, и ничего не помогло, пока мама не занялась этим...

Д и н а : Постой, разве ты не сказал, что мама умерла?

И е ш у а : Ну да, мама умерла, но она и после смерти не оставила меня. Она пришлѐ ночью в психушку и села на мою кровать...

2 - Ш о ш : Иди сюда, расскажи — это ее стул.

И е ш у а (пересаживается) : Ты так страшно кричишь по ночам, Иешуа. Что тебе снится? (Пересаживается.) Мне снится, будто я левой рукой прижимаю Харю к стене, а в правой у меня ножницы, их я заносу над ним... (Пересаживается.) Но ты не втыкаешь их в горло Хари? (Пересаживается.) Нет, у меня рука немеет и повисает, как плеть. (Пересаживается.) И ты кричишь? (Пересаживается.) Да, я кричу, мне становится страшно, я не знаю, за что мне такое наказание. (Пересаживается.) Так-таки не знаешь? (Пересаживается.) За то, что я хотел убить? Но ведь я не убил! (Пересаживается.) Но ты хотел? Как же ты теперь сможешь сказать людям: "Не убий!" (Пересаживается.) А если я скажу им: "Не убий!", меня выпустят из психушки и рука начнет двигаться? Но она не ответила, я хотел заглянуть ей в глаза, я протянул к ней руки, обе руки, и правую тоже, будто она никогда не отнималась, но мои пальцы сжались в воздухе, там, где она только что сидела, было пусто.

Л е а : И больше ты ее не видел?

И е ш у а : Больше никогда.

2 - Ш о ш : Леа, садись на стул Иешуа и попроси маму, чтобы она опять пришла.

Л е а (пересаживается) : Мама, почему ты больше не приходишь ко мне? (Пересаживается.) Потому что ты не хочешь меня

видеть. (Пересаживается.) Неправда, я каждую ночь жду, что ты опять придешь.

1 - Ш о ш : А теперь скажи это Ханаану, Леа. Позови его.

Леа молчит. 1-Шош появляется за спиной 2-Шош.

2 - Ш о ш : Зачем тебе это надо?

1 - Ш о ш : Я хочу посмотреть, как она это делает. А ты не хочешь?

2 - Ш о ш : И хочу, и боюсь.

1 - Ш о ш : Так скажи ей, чтоб она позвала Ханаана.

2 - Ш о ш : Ну, что же ты, позови его, крикни ему, чтобы он пришел.

Леа (шепчет) : Ханаан, я не хочу, чтобы ты приходил.

Картина третья

Обстановка предыдущей картины, те же лица, кроме Ирит. 1-Шош шепчется с 2-Шош.

2 - Ш о ш . Так кто остается — ты или я?

1 - Ш о ш : Мне бы хотелось, чтобы сегодня мы работали вместе.

2 - Ш о ш : Какое великодушие — ты готова терпеть мою неосновательность. Беда только, что я не готова присутствовать при твоих садистских экспериментах.

1 - Ш о ш : Мне сегодня нужна твоя помощь. Так что хватит выпендриваться, давай начинать.

2 - Ш о ш : По крайней мере ты могла бы попросить, а не командовать.

1 - Ш о ш : О чем тут просить? Это твой долг!

2 - Ш о ш : Ты не меняешься — долг прежде всего!

1 - Ш о ш : А кто меняется? Уж не ты ли?

2 - Ш о ш : Конечно, не я: я, как была эгоисткой, так эгоисткой и осталась. Так что успехов в работе и будь здорова.

1 - Ш о ш : Никуда ты не уйдешь. Это нужно для дела, а дело у нас общее.

2 - Ш о ш : Дело у нас общее, тело у нас общее! Как же быть, если я тебя терпеть не могу?

1 - Ш о ш : Быть как все — терпеть то, что нестерпимо.

Отворяется дверь, Ирит вбегает запыхавшись.

И р и т : Простите, что опоздала: я записывалась на пластическую операцию.

1 - Ш о ш : Это еще зачем?

И р и т : Мне противно смотреть на себя в зеркало, я хочу сделать себе новый нос.

Д а в и д : Но у тебя вполне симпатичный нос!

1 - Ш о ш : Садись, объясни. Этот стул — ты, этот — твое отражение в зеркале.

И р и т : Ну и рожа! У других — носики ровные, глаза голубые, волосы гладкие, не то, что у тебя! (Пересаживается.) Что же во мне так плохо? (Пересаживается.) Все плохо, все не так!

2 - Ш о ш (за стулом отражения) : Ты думаешь, с новым носом и жизнь пойдет по новой?

И р и т : Новое лицо — как новое платье, наденешь — и будто это не ты, а кто-то другой!

1 - Ш о ш : Хорошо, у тебя уже новый нос и ты начинаешь жизнь сначала. Ты вышла на улицу первый раз после операции. Кого бы хотела сейчас встретить?

И р и т : Я б хотела встретить Ави, мы с ним не виделись почти два года.

1 - Ш о ш : Чудно. (Придвигает стул.) Вот Ави, он идет тебе навстречу.

И р и т : Ави, ты не узнаешь меня? (Пересаживается.) О, Ирит, ты так изменилась, стала такая красивая! (Пересаживается.) А раньше я была некрасивая? (Пересаживается.) Ты же знаешь, ты мне всегда нравилась. (Пересаживается.) Что же ты за два года ни разу мне не позвонил? (Пересаживается.) Я думал, ты не хочешь меня видеть. (Пересаживается.) Ты прекрасно знаешь, что я все время жду, когда ты позвонишь или зайдешь за мной на работу! (Пересаживается.) Зачем же ты сделала аборт? Думаешь, я не знаю? Твои подружки мне все рассказали — ты хотела навсегда порвать со мной! (Пересаживается.) Я не хотела порвать навсегда, я хотела показать тебе, что ты мне не хозяйин. Я ведь сказала тебе про тех негодяев — или они, или я, и ты выбрал их. Даже когда твоего брата убили на улице, ты не хотел верить, что это они. Да и сейчас, небось, ты день и ночь торчишь с ними в этом грязном кафе на улице Нарциссов!

1 - Ш о ш : Помоги, Давид!

Д а в и д (стул Ави) : Как я могу весь день там торчать, я ведь работаю!

И р и т : Неужто работаешь? Вот новость! Что же ты делаешь?
Д а в и д (стул Ави) : В мебельной мастерской, мебель ремонтирую.

И р и т : Дай мне номер телефона, я позвоню. (Пересаживается.) Там нет телефона. (Пересаживается.) Ах, нет телефона! Что это за мастерская такая без телефона? (Кричит.) Все ты врешь, нигде ты не работаешь, ты продолжаешь торговать наркотиками! И сам колешься! Думаешь, я не вижу, какой ты бледный, какие у тебя отеки под глазами!

2 - Ш о ш (за стулом Ирит) : И ты хотел, чтобы я родила тебе ребенка? А потом еще и еще? И чтобы наши дети росли в трущобах, как мы с тобой росли?

Д а в и д (за стулом Ирит) : А потом твои дружки убьют тебя, как они убили твоего брата, если только ты не угодишь в тюрьму раньше!

2 - Ш о ш (за стулом Ирит) : Нет уж, я насмотрелась на такую жизнь у мамы с папой — она не для меня!

Д и н а (за стулом Ирит) : У меня есть профессия и квартира с телефоном, я причесываюсь в парикмахерской, я делаю педикюр, маникюр и живу, как человек.

1 - Ш о ш (за стулом Ирит) : А когда я прихожу в гости к маме, я все время повторяю себе: лучше умереть, чем жить, как она!

И р и т (закрывает лицо руками и плачет) : Да, лучше умереть, но что делать, если я не могу его забыть!

1 - Ш о ш (за стулом Ирит) : Я к маме не чаще, чем раз в год, хожу и ни одна моя подруга не знает, что она живет в Шхунат Атиква, в квартале бедноты.

2 - Ш о ш : ...но мне этого мало. Я хочу сделать себе новый нос, чтобы никто из прежних моих друзей не мог узнать меня на улице.

Д и н а (за стулом Ирит) : И чтобы даже я сама не узнавала себя в зеркале.

2 - Ш о ш (за стулом Ирит) : Чтобы никто не мог вспомнить ту девочку, которая бегала по улицам Шхунат Атиква и клянчила деньги на мороженое.

Д и н а : А что, ты не могла взять у отца?

И р и т : У отца никогда не было денег. Из-за этого он всегда ссорился с мамой.

1 - Ш о ш : Покажи. Этот стул — он, этот — мама.

И р и т (стул отца): Ты у мамы попроси. У нее всегда есть деньги, не знаю, где она их берет. (Пересаживается.) Так-таки не знаешь? Глаза у тебя бельмом заросли, что ли, что ты не замечаешь, как я с утра до ночи полы по чужим домам драю, чтобы твои дети с голоду не сдохли? (Пересаживается.) Ну вот и дай девчонке на "Артик", если ты ради нее так стараешься. Иди, Ирит, попроси у мамы, мама добрая, она даст. (Пересаживается и кричит визгливо.) Что ты ее к маме посылаешь, подонок, ты ее прямо на панель посылай, чтобы она тебе на опиум денежек принесла! Вы слышите, какой у меня голос — точно, как у мамы! И отца я жалею, как она жалела — когда он приходил ко мне на работу попрошайничать и часами стоял под окном, как пес с перебитой лапой...

2 - Ш о ш : Ты и Ави жалеешь, Ави ведь так похож на отца.

И р и т : Ничуть он не похож! Он такой молодой, красивый, кудрявый...

1 - Ш о ш : А какой был отец, когда ты приходила к нему в кафе на улице Нарциссов просить грошик на "Артик"?

И р и т : Я не помню, я не хочу помнить! Я хочу всех их забыть!

1 - Ш о ш : Скажи это им.

И р и т : Папа, отпусти меня, я не хочу жить, как вы с мамой. И ты, Ави, оставь меня, я хочу забыть тебя, я не хочу любить тебя и рожать тебе детей, одного за другим, как мама рожала нас.

2 - Ш о ш : Я — Ави. (Стул Ави.) Поцелуй меня на прощание.

И р и т : Отойди, не трогай меня, я не могу — я поцелую тебя, у меня голова закружится, все начнется сначала. А я не хочу назад в трущобы, мне лучше умереть, чем туда вернуться. Я так хорошо живу: вчера я закончила вышивать вечернее платье и хозяйка выставила его в витрине, ты даже не представляешь, какое оно дорогое? Хозяйка говорит, что у меня художественный вкус... Я хожу в театр и слушаю музыку, я даже купила проигрыватель, он очень дорогой, но Яков помогает мне выплачивать и дарит пластинки.

2 - Ш о ш : О, значит есть еще и Яков? Кто это?

И р и т : Мой новый друг. Он у нас на фабрике дизайнер, и из всех наших девушек он выбрал меня — мы с ним вместе слушаем музыку, я уже могу отличить Моцарта от Бетховена...

1 - Ш о ш : Давид будет Ави. Расскажи ему про Якова.

Д а в и д (стул Ави): Ты что, спишь с этим Яковом? Интересно, что ты в нем нашла?

И р и т : А тебе что? Ты уже два года меня не видел.

Д а в и д (стул Ави) : Все равно, я хочу знать! Он что — красивой меня?

И р и т : При чем тут красота? Он такой вежливый, такой нежный, он дарит мне цветы, он столько знает, не то, что ты или папа — у вас только и мыслей, где бы добыть денег и как делать детей.

Д а в и д : И в этом деле он тоже лучше меня?

И р и т : Какая разница?

Д а в и д : Если нет разницы, чего ж ты все хочешь быть со мной?

И р и т : Я не хочу! Не хочу!

1 - Ш о ш (за стулом Ави) : А что, этот замечательный Яков познакомил тебя со своей мамой?

И р и т : Пока нет — она еще плохо говорит на иврите.

Д а в и д : А-а, вот в чем дело — она из Польши?

И р и т : Нет, из России.

Д а в и д : Иешуа, скажи, будет ли в восторге мама из России, когда ее образованный Яков приведет в дом кудрявую марокканочку?

И р и т : Ну и пусть не будет! Все равно он хочет на мне жениться!

Д а в и д : Если хочет, почему не женится?

И р и т : Потому что я хочу еще немножко подождать...

Д и н а : Чего ждать? Пока ты сделаешь себе новый нос?

И р и т : При чем тут нос? Дался вам этот нос!

2 - Ш о ш (за стулом Ирит) : Я просто боюсь... Боюсь себя...

Д и н а : Чего бояться, если этот Яков такой, как ты рассказываешь...

И р и т : Потому и боюсь, что он такой...

2 - Ш о ш (за стулом Ирит) : Вот все хорошо, я вышла за Якова, и даже с мамой его все уладилось, и вообще... и вдруг я на улице встречаю Ави...

И р и т : Да, я встречаю Ави, и он говорит: "Пойдем со мной!" Что мне тогда делать? Я ведь так по нем тоскую, так тоскую!

Д и н а : Ну и иди, чего бояться? Полежишь с Ави, получишь свое удовольствие и вернешься к Якову не хуже, чем была.

И р и т : А потом?

Д и н а : И потом тоже, если захочется. Ведь твой Ави, он мужик куда лучше Якова, ты сама призналась.

И р и т : Ну и пусть лучше, что с того? Зато Яков такой нежный, такой... ну, совсем другой. Что будет, если он узнает?

Д и н а : Вот еще! Зачем ему знать!

И р и т : Он сам догадается, он очень чуткий.

Д а в и д : Тебе кто нужен — Ави или Яков?

2 - Ш о ш : Мне с Яковом было бы так хорошо, если б не Ави!

Д и н а : Это правда?

И р и т (молча кивает) .

Д и н а : Тогда иди к Ави и забудь Якова.

И р и т : Но Яков меня любит!

Д и н а : А ты его?

И р и т : Он такой... он не похож ни на кого из моих знакомых, он столько читал, он так интересно рассказывает, хоть и с акцентом. Его иврит стал гораздо лучше, я учу его говорить правильно, если я его передразниваю, он нисколько не обижается, он смеется и говорит, что я — настоящая актриса...

Д и н а : Тогда выходи за него, раз он такой нежный.

1 - Ш о ш : А ты что скажешь, Леа? Кого бы ты выбрала, — Якова или Ави?

Л е а (резко) : Только не Якова!

1 - Ш о ш : Ты — Ирит, объясни Якову, почему ты не хочешь стать его женой. Давид, помоги. В вазе на столе цветы, которые ты принес Ирит, на проигрывателе — пластинка Моцарта.

Д а в и д : Ирит, я хочу, чтобы мы поженились и всегда были вместе.

Л е а (стул Ирит) : А что скажут твои друзья? Я ведь совсем на них не похожа.

И р и т (за стулом Давида) : Я за то и люблю тебя, что ты на них не похожа... Они ничего не знают, кроме того, что прочли в книгах, а ты — как жизнь, в тебе есть все.

Л е а (стул Ирит) : Я не верю тебе, ты слишком красиво говоришь. Интересно, что ты скажешь через год после свадьбы?

Д а в и д : Что может измениться за год?

Л е а (стул Ирит) : Все. Все будет иначе.

И р и т : Уже через год?

Л е а : Ну не через год, так через три.

И р и т : Ты так все знаешь? Ты что — ясновидящая?

Л е а : Увы! Я — очень ясно видела, что бывает через три года после свадьбы.

1 - Ш о ш : Хорошо, раз так, расскажи, что ты видишь.

Л е а (стул Ирит) : Это — наша с Яковом квартира. Мы завтракаем, я подаю кофе, Яков читает газету. Меня он вовсе не замечает, он смотрит сквозь меня, будто я прозрачная.

1 - Ш о ш : Покажи это.

Л е а (стул Якова, читает газету, отодвигает чашку, бросает газету на пол) : Я пошел. (Пересаживается.) Ты же кофе не допил. (Пересаживается.) Кофе совершенно холодный. (Пересаживается.) Когда я его подавала, он был горячий. (Пересаживается.) Тебе всегда нужно свалить на кого-то вину за то, что мясо сгорело или кофе остыл. (Пересаживается.) Когда ты вернешься? (Пересаживается.) Когда освобожусь. (Пересаживается.) Поздно? (Пересаживается.) Как получится. (Пересаживается.) Так мне тебя не ждать? (Пересаживается.) Жди, если у тебя нет дел поинтересней. Бам-с! Дверь хлопнула и прощай! Вот и вся любовь!

И р и т : Откуда ты это взяла? Ты никогда не видела Якова! Ты не знаешь, как он меня любит! Если б ты видела, какой подарок он мне подарил на день рождения!

Л е а : Ничего, через пять лет он про твой день рождения даже не вспомнит!

1 - Ш о ш : Итак, день рождения Ирит через пять лет. Давай, Леа.

Л е а (делая вид, что моет посуду) : Я мою посуду после ужина, а он уже надел свой бархатный пиджак и готов удрать. Куда ты так поздно? (Пересаживается.) Дела. Кое с кем надо встретиться. (Пересаживается.) А ты знаешь, какое сегодня число? (Пересаживается.) Какая разница? Что ты смотришь на меня трагическими глазами? Так и будем в молчанку играть? Господи, как я устал от этого вечного театра на дому. Есть что сказать — говори, нет — я пошел, я и так опоздал. (Пересаживается.) Подожди минутку. (Пересаживается.) Что еще? Хочешь спросить, какой сейчас год? (Пересаживается.) Ты, наверно, забыл — сегодня мой день рождения. (Пересаживается.) О черт! Нельзя было раньше напомнить? Теперь уже поздно отменять встречу. Только не плачь, ведь число — это условность, перенесем назавтра, нет, на послезавтра, завтра я тоже занят. (Пересаживается.) Ничего не надо переносить, можешь идти куда хочешь и завтра, и послезавтра. (Пересаживается.) О-о! Теперь у тебя есть повод разыграть настоящую трагедию! Может, ты собираешься покончить с собой с горя? (Пересаживается.) А ты бы этого хотел? Чтобы избавиться от меня, наконец? (Переса-

живается.) Я и так в любой момент могу от тебя избавиться, если захочу — выйду отсюда и не вернусь. (Пересаживается.) Что же ты тянешь? Иди и не возвращайся! (Пересаживается.) Я тебя жалею: меня не будет рядом, так ты к другому прилепишься и опять будешь страдать и устраивать сцены. (Пересаживается.) А может, другой будет любить меня? (Пересаживается.) Поначалу будет, пока ему не станет скучно. Ведь тебе тоже давно уже скучно со мной, для того ты и устраиваешь свои театральные номера, чтобы хоть немного рассеять эту скуку... Тебе ведь даже и в постели со мной не очень сладко, я для тебя слишком груб, я знаю...

И р и т : Тебе так плохо было с ним?

Л е а : При чем тут я? Я не о себе! Мне с ним никогда не было скучно. Никогда, слышишь, никогда!

2 - Ш о ш (за стулом Леи) : Но я была с ним очень несчастна.

Л е а : Ничего подобного! Ну, может иногда, когда он говорил со мной по-хамски...

Д и н а (за стулом Леи) : ...когда он уходил надолго, и я ждала его почти до утра и не могла уснуть...

И р и т (за стулом Леи) : ...когда он весело болтал с другими, а со мной часами молчал...

2 - Ш о ш (за стулом Леи) : ...когда он после короткой любви засыпал, не сказав мне ни одного ласкового слова...

Л е а : Ну и что! Все равно, я его любила и без него не могла жить!

2 - Ш о ш : Хоть последний год я стала сама себе чужая, будто сердце у меня ссохлось.

Л е а : Ссохлось и стало твердое и тяжелое, как камень, так что я никого не могу пожалеть... ни его, ни Давида, ни себя.

1 - Ш о ш : Скажи ему об этом.

Л е а : Зачем? Он умер и ничего уже нельзя изменить.

1 - Ш о ш : А ты все равно скажи. Не для него, для себя.

Лев молчит.

2 - Ш о ш : Пойми, пока ты молчишь, сердце твое останется тяжелым и мертвым. Выскажи ему все, что накопилось в твоей душе, заплачь, закричи, освободи себя.

Л е а : Не могу, у меня нет на это слов.

1 - Ш о ш : А ты попробуй без слов.

Леа нерешительно подходит к роялю, открывает крышку и беспомощно перебирает клавиши, словно подыскивая нужную мелодию. Затем ее удары по клавишам становятся все решительней и резче, и вот она начинает, рыдая, лупить по клавишам кулаками.

1 - Ш о ш (за стулом Леи) : Вот тебе, вот тебе, Ханаан! За то, что мучил меня! За то, что растоптал мою любовь! Вот тебе, получай! Вот тебе! За все, за все!

Д а в и д (вскакивает и хватается Лею за руки) : Ты ведь не это хотела сказать, правда?

Л е а (как в бреду, продолжая бить по клавишам кулаками) : Вот тебе! За все, за все, за все! (Рыдает.)

Д а в и д : Это неправда! Ты о нем так не думаешь!

2 - Ш о ш : Забери ее отсюда, Давид. Утешь, успокой!

Д а в и д (хватает Лею за руку) : Пойдем отсюда, скорей, пока не поздно! Ты не хотела это сказать, я знаю.

1 - Ш о ш (властно) : Никуда она не пойдет!

Д а в и д (отталкивая 1-Шош) : Не мешай, ты видишь, что с ней, я все равно уведу ее!

1 - Ш о ш (властно) : Отойди! Никуда ты ее не уведешь!

2 - Ш о ш : Уведи ее, пока все еще есть тайна, пока призрак ее любви охраняет ее от нее самой. Когда она дойдет до последней двери, откуда уже нет возврата, ей не останется ничего, кроме пустоты.

1 - Ш о ш : Чтобы продолжать жить, она должна дойти до той двери, откуда нет возврата, иначе ей остается только последний выход, — самый легкий, правда, Ирит?

И р и т : Да, да, если тебе очень плохо, это совсем не страшно! Надо наточить кухонный нож хорошенько и лечь в теплую ванну, ...это совсем не больно, голова становится легкая-легкая и сердце перестает сжиматься...

1 - Ш о ш : Ты этого хочешь, Давид?

Д а в и д : Не знаю. Выходит, она его не любила?

1 - Ш о ш : Но ты-то любишь? Садись и вспомни, что ты сказал ей тогда, в первый раз?

2 - Ш о ш (за стулом) : Как это я не замечал раньше, что у тебя волосы рыжие..?

Д а в и д (садится) : ...они благоухают, как апельсиновый сад...

2 - Ш о ш (за стулом Леи) : Ты раньше меня вообще не замечал.

К этому времени рыдания Леи стихли, она поднимает голову и прислушивается к разговору.

1 - Ш о ш (за стулом Давида) : Знаешь, я ведь сначала тебя ужасно не любил... Просто терпеть не мог...

2 - Ш о ш : Ты уверена, что надо это ворошить?

1 - Ш о ш (жестко) : Это — единственный путь! (Давиду.) За что ты не любил ее, Давид?

Д а в и д : Он из-за нее совсем тогда голову потерял, никого вокруг не видел...

1 - Ш о ш : И долго так было?

Д а в и д : Года полтора. А потом все стало, как раньше — мы снова начали работать вместе и по вечерам ходить вдвоем в кафе...

2 - Ш о ш : А она?

Д а в и д : Я всегда старался устроить так, чтобы мы пошли без нее.

1 - Ш о ш : И ты стал лучше к ней относиться?

Д а в и д : Да. Мне иногда даже жалко ее было, когда она звонила в мастерскую и я говорил ей, что он занят и не может подойти.

2 - Ш о ш : А потом он погиб и все кончилось... кто знает, что бы с тобой было, если бы не она. И ты решил, что ты ее любишь...

1 - Ш о ш : ...что ты всегда ее любил, даже тогда, когда думал, что ненавидишь.

Л е а : Никого ты не любил, кроме него. Только он был тебе нужен!

Д а в и д (хватает ее за плечи) : А ты? Кого ты любила, кого ты любишь, кто тебе нужен?

Л е а (вырываясь) : Мне никто не нужен! Со мной все в порядке: я больше никогда никого не люблю!

Д а в и д : Значит, ты его не любила?

Л е а : Любила... когда-то давно...

Д а в и д : Значит — не любила. Давно не любила! Потому он и погиб, что ты не любила его, не сходила с ума от страха за него! Погиб из-за тебя! (Выбегает.)

2 - Ш о ш (тихо) : Ты хочешь, чтобы я вернула его, Леа?

Л е а : Нет, пусть идет. Так будет лучше.

1 - Ш о ш (остальным) : Вы все можете идти.

Все, кроме Леи, встают и, подавленные, выходят из комнаты.

1 - Ш о ш : Теперь тебе станет легче.

2 - Ш о ш : Или труднее, — это как повезет.

Л е а : Ничего, я постараюсь справиться.

1 - Ш о ш : Если что понадобится, позвони, — ты знаешь, где меня найти. (Уходит.)

2 - Ш о ш : Вот так она всегда — растревожит, разбередит душу и уйдет, а тебя оставит наедине с собой, чтобы ты сама выбиралась из-под развалин. А вдруг ты не выберешься?

Л е а : Я выберусь, — не сразу, конечно, но выберусь. Кто-нибудь поможет...

1 - Ш о ш (в дверях) : Ты зачем тут задержалась — посыпать чужие раны солью? Пошли.

2 - Ш о ш (идет к двери) : А ты хочешь, чтобы я посыпала твои? Иду. Прощай, Леа. Ты поплачь — слезы помогают в беде.

1-Шош и 2-Шош уходят, Леа некоторое время сидит неподвижно. В дверях появляется Иешуа.

И е ш у а : Я знал, что он уйдет и оставит тебя одну. Я все время этого ждал. Но я не уйду, я останусь с тобой. Мои волосы пропахли кровью, но ты ведь не боишься меня? Это куриная кровь, я убивал только кур.

Леа поднимается и медленно идет к нему.

И е ш у а : Я понял, ты была права: я всегда думал только о себе и поэтому меня никто не любил...

Конец

Н. Воронель — драматург и переводчик, автор книг "Кассир Вечности", "Прах и пепел", "Шестью восемь — сорок восемь", "Папоротник" и др., вышедших в книготовариществе "Москва—Иерусалим", постоянный автор "22" (цикл статей "Листки из блокнота" и многочисленные выступления на литературные и политические темы), репатрировалась в 1974 г., живет в Тель-Авиве.

ПЯТЬ СТИХОТВОРЕНИЙ ИЗ ЦИКЛА
"СНЫ ДЛЯ МАРИИ"

Е.

* * *

Когда умирал
а
я
точно запомнил сон
когда я умирал
лицом асбестового белья
в распаде бронжилета встал мой генерал
и сказал:
за веселую память меня!
и выпили гости мои и моя родня

...нас заметало вместе с тобой вдвоем
ветошью снегом нас заносило песком тряпьем
всем
что по дому
низким собачьим ветром мело
и сам
слабоумный слух о нашей с тобой любви
прислуживал за столом
разнося голоса.

Памятник

Над лысым черепом любви
соорудим из пальцев "V".

Сон о цвете плаща

Щелкал
ветром по шву распорот
плащ знаменного шелка

об
ту еще
пору
когда зеленому ты предпочитала алый
но
пожалуй
луной-дальтоничкой верно определенный:
"зеленый".

От всех
ты пошла вверх по осыпи дюны
стоять одна
истукан
твою шею паскуды юной
темнота прибрала к рукам
позарившись на цепочку
ценности (лунная опись) малой
следуя описи:
... "одиночка,
плащ ее алый".

... " ...ну, положим!", —
сказал я этому господину
а он мне:
"Дальше мы предположим,
что,
молодой человек,
едино
мы оба любовники ей давно."
"А Мария, спросил я, — что же? .."
"А Елена?
ей все равно".

Проследим еще устремленный
взгляд дурака
он смотрел на тебя влюбленный
пока
ты визжала песков по склону
"не тронь!"
и
от потолка

весь плащ твой до полу был зеленый
точь-в-точь
глаза твоего сына.

Дама с горностаем

Наверняка опять к войне
автопортреты на стене
портреты неба на стене
на редкость сходственны —
спасибо!

война!
война наверняка
с чего бы запах апельсинов
из
пасти сквозняка

с чего бы если не война
я шел не досмотревши сна
накинув одеяло
к дверям?
война наверняка

с чего бы
если не война
блондинка при дверях стояла
с чем-то живым под парусиной
казенной дсины вещмешка.

* * *

Когда зажгут
в конце моих художеств
весь
верхний свет
не дай мне убедиться Боже
в том
что и Бога тоже нет.

*сентябрь 1988 г.
Иерусалим.*

“Дорогой профессор З.!

Спасибо вам большое за интерес к биографическим данным об Игоре. Посылаю вам его дневник. Вы, конечно, знаете, что в то роковое утро я Игоря не застала. Когда я вернулась с приема в посольстве, на котором была с Евграфом, неотложка уже увезла его в Склифосовского. Как установили доктора, он принял двойную дозу очень сильных стимулянтов. Но об этом после...

Вы спрашиваете об обстоятельствах нашего знакомства. Они были очень романтические. Игорь, он сам мне потом рассказал, заметил меня на вечере Евтушенко, организованном в нашем отделе моим мужем, тоже поэтом и тоже, кстати, Игорем. (Характерно, что Женя впервые читал там свое знаменитое “Постель была растелена...”) Но я не обратила на него внимания, и тогда он написал мне письмо (типично его стиль!) и прислал какую-то дикую статью о поэзии, на плохой бумаге, полную математических формул. В тот период я дулась на мужа и в пику ему назначила Игорю свидание. Мы встретились в кафе “Поэзия” (билеты достала я, как профорг, так как мы как раз взяли шефство над “Поэзией”).

Александр Жолковский

НРЗБ

Там все было при свечах, новый интерьер и вообще очень стильная атмосфера.

Сначала я его даже не узнала, а когда он сам подошел, не могла удержаться и расхохоталась. Он смутился, и мне пришлось объяснить, что, судя по статье, я никак не ожидала увидеть интересного мужчину, воображала его таким очкариком. Очки, он, и правда, носил, но фигура у него была хорошая. Представительный. Но одет немодно, и я как-то сразу решила заняться им всерьез. Тем более, он тогда только что вышел из психушки, диссидент и очень известный. (Я до сих пор получаю доплату к пенсии за то, что он отсидел.)

Заговорили о поэзии, я тогда очень ею увлекалась. Ну, о вкусах не спорят. Например, сколько он проработывал меня за Евтушенко, я даже стала соглашаться, особенно в части его фрондерства, но права-то была все-таки я, — теперь, когда он получил Нобелевскую, это ясно, жаль, Игорь не дожил. Ну, а в тот первый раз он стал читать Мандельштама, а я сказала, что люблю Блока, "Незнакомку", потому что очень жизненно. Тогда он спросил о Пушкине, и я соврала, что обожаю, хотя читала только в школе, из-под палки, и терпеть не могла. Он сказал, что занят какими-то важными исследованиями и надеется в один прекрасный день найти неизвестные стихи Пушкина и удивить весь мир, а открытие посвятить мне.

Это впечатлило меня, хотя такое в моей жизни уже было, когда мой второй муж, летчик — первый, между прочим, был тоже писатель, но детский, — посмертно посвятил мне залив в Антарктиде, он есть на подробной карте. Еще мне показалось не совсем этично посвящать чужие стихи. Но он буквально бредил Пушкиным, настолько, что даже умел копировать его почерк, один к одному, и отпустил такие же баки.

Вообще, чудной. Поэзия и формулы. В житейских вопросах не разбирался совершенно. Зато все было очень поэтично, особенно вначале. К примеру, он рассказывал, как, увидев меня с Игорем, сразу влюбился, но впал в жуткую меланхолию. Он пошел к своему другу, Федорову, плакал там у него, сидя на полу, говорил, что я (помню дословно) "красивая, чужая, дорогая, праздничная женщина", совершенно недоступная для него, так как принадлежу красавцу-поэту. Федоров его успокаивал: "Ну, какой поэт?! Наверняка, плохой. Ты ведь специалист — разбери его стихи, она увидит, что они никуда не годятся, и уйдет от него!"

Разумеется, Игорь был слишком джентльменом, чтобы так поступить; все произошло гораздо более интеллигентно, хотя и не так, как он себе воображал. Он думал, что покори́л меня своими теориями, а на самом деле просто у мужа была такая полоса, я от него не видела ничего, кроме стихов, одних стихов! Я даже стала подсовывать ему особые импортные таблетки, одна подруга сказала, что им помогло. Впрочем, не исключаю, что у него была другая женщина, — перед смертью он мне так и заявил, но, я думаю, он просто наврал мне назло, а тайну унес в могилу.

Да, так об Игоре. Странного было много. Например, он был помешан на бессмертии, к которому почему-то приплетал то Герасимова с его портретами по черепу, то этого своего Федорова, хотя мне он казался вполне нормальным и ничего такого никогда не говорил. Еще у него была навязчивая идея о каком-то онкологическом доказательстве бессмертия; при чем тут рак, я так и не поняла, а спрашивать его, когда он пускался в свои рассуждения, было бесполезно — мог устроить жуткую истерику. Поскольку вы написали, что ценны любые детали, излагаю, как умею, все, что приходит на память.

Помню, он любил цитировать кого-то из великих, что писатель ничего не может скрыть от читателя, потому что из первого же абзаца будет видно, скуп ли он, как одевается, любит ли кушать виноград и в таком духе. Стиль — это человек (очень верно!), и потому большой поэт в принципе может быть оживлен, — подобно тому, как онкология гарантирует наличие Бога (?!).

При всем при том он был веселым, жизнерадостным человеком, удивляли только внезапные переходы. Например, у него был любимый анекдот о том, как в Музее Революции рядом со скелетом Чапаева хранится маленький скелетик — Чапаев в детстве. Все смеются, а он и тут ударяется в заумные абстракции насчет искусственного оживления, какой-то единственности решений и наводит на всех несусветную скуку. Вообще, на бессмертии у него был пунктик... Были свои оригинальные выражения, иногда очень образные — например, чтение книг он называл “знакомых мертвецов живые разговоры”, или, ну, это уже совсем личное, когда я была невнимательна, говорил, что “дошел до пузырей земли”.

Вот, примерно, и все. Дневник он вел перед самой смертью. (Его нашли завернувшимся в простыню, с дневником, закапанным

воском, в руках.) Признаюсь честно, что только открыла и читать не стала. Я хотела запомнить Игоря таким, каким я его полюбила, полным сил, а не издерганным неврастеником. В последние месяцы он стал совершенно не от мира сего, почти перестал меня замечать, хотя и повторял, что еще всех изумит. Между прочим, он насколько не ревновал к Евграфу (меня это даже злило), говорил, чтобы, если с ним что-нибудь случится, мы обязательно поженились, и в шутку дразнил меня "евграфиней Ланской". Мы уже не дети, все это было давно, и для истории можно рассказать, что в то время наша личная жизнь фактически кончилась. Я через Евграфа, который был уже известным дипломатом, получил генеральские ромбы и буквально не вылезал из Бенилюкса, достала замечательное средство от импотенции ("Афро-Диззи", Евграф тоже его потом принимал и очень смешно острил про африканские страсти и еще что-то по-английски, не помню, я в школе учила немецкий). На Игоря таблетки действовали странно. Он долго изучал упаковку, очень мудро толковал о какой-то, что ли, суперэрекции, уверял, что открыл настоящее назначение таблеток и как их принимать, по какой-то формуле 3—7—11, которая гарантировала, как он выражался, от "опоздания на празднество Расина". (Я сейчас посмотрела в БСЭ, там сказано, что трагедии Расина посвящены торжеству долга над любовью; теперь понятно.) В общем, я стала все чаще видаться с Евграфом, и по окончании месячного траура вышла за него. До самой его смерти мы были очень счастливы".

Далее следовал "Дневник Игоря 3.", аккуратно отпечатанный на компьютере, и профессор узнал темный, сбивчивый и несколько вялый синтаксис своего несчастного кузена.

"Первая ночь

Тройной галлюциноген действует, как часы: я опять здесь. Спешу зафиксировать все, хотя бы бегло. Успехи техники феноменальные. Для записей буду пользоваться портативным дрим-рекордером (гипнографом), имеющим два режима работы: на словесное резюме потока сознания или на полную видеограмму. Видео берет больше энергии, в решающий момент батареек может не хватить, поэтому выбираю абстрактор.

Последняя сенсация здесь — программа комплексного воскре-

шения гениев. Подтвердилось, что подлинный художник бессмертен. Гениальное стихотворение содержит столь богатую информацию, что по ней можно вернуть к жизни всего автора целиком, причем с абсолютной однозначностью. То есть, какой текст данного поэта ни подай на вход, на выходе получается всегда один и тот же человек (чем, кстати, доказывается гипотеза об уникальности поэтической личности). Возраст определяется датой написания.

Кстати, как торжествуяще объявил мой новый знакомый Док, правы-таки оказались философские реалисты, а не номиналисты (или материалисты-мистики вроде Федорова) — ресуррекция производится не по молекулам, а по битам информации. Я в общем согласился с ним, но подчеркнул, что центр тяжести онтологического доказательства удалось перенести с бытия Божия на бессмертие поэта: совершенные стихи работают как авторепродуцентный генетический отпечаток, то есть, по определению, включают в число своих предикатов и квантор существования. В такой форме онтологический аргумент, несомненно, приняли бы не только св. Ансельм и его последователи (Декарт, Гегель), но и критики (Фома Аквинский, Кант и даже исторические материалисты).

Что касается технической реализации, то до нее еще очень далеко, хотя принципиальные проблемы в основном разрешены. Семиотический, генетический, молекулярный и биохимический компоненты, управляемые единым гиперкомпьютером, будут питаться от мощной сети синхрофазотронов, способных создать достаточно интенсивное креаполе. Пока что ведутся тесты по компонентам. Так, с помощью семиотической программы удалось получить почти точный клон стихов "Я помню чудное мгновенье..." (в опытных целях его предварительно исключили из машинного корпуса пушкинских текстов). На сравнительно банальном образце пробу сделали сознательно, ввиду ограниченных возможностей изолированного прогона. Но результаты многообещающие; не вышел только финальный сдвиг рифмы (вместо *н о в ь — л ю б о в ь* программа выдала *м о и — л ю б в и*, скопировав из IV строфы) и, конечно, почерк, для которого необходимо полное воссоздание личности. Но даже и в стандартном принте и без финального эффекта первый блин смотрелся неплохо.

Прогоны по частям диктуются, среди прочего, экономическими соображениями. Оказывается, на то, чтобы продержат такого

поэта, как Пушкин, в креативном поле хотя бы полчаса, расход энергии и информации нужен колоссальный. (Тем самым лишний раз подтверждается исключительная ценность великого поэта, а заодно и снимается псевдопроблема "двух скелетов", то есть, скажем, одновременной коресуррекции молодого и зрелого Пушкина.) Всем секторам дано указание максимально ужать программы. Отдел Семиотики после горячих дискуссий счел оптимальным ввести в машину только стихи, причем ограничиться полностью законченными. Из примерной прикидки видно, что такой набор данных необходим и достаточен для успешного порождения.

Док по секрету сообщил мне, что правительственное решение о развертывании комплексных работ ожидается в начале следующего месяца. О, как я мечтаю присутствовать при его реализации!

Вторая ночь

Семерка сработала — я попал как раз вовремя. Решение состоялось сегодня. Боялись, что фонды урежут, но проект неожиданно поддержал сам Хозяин. Он оказался не только любителем Пушкина, но и тайным адептом теории поэтического авангарда мирового общественно-исторического процесса. Вчера ему был официально присвоен титул Председателя Земного Шара, и все надежды теперь возлагаются на поэтическое моделирование. Материальная инфраструктура экономики будет слита с органами гуманитарной психоинженерии, а вся система в целом подчинена новому верховному комитету — Поэтбюро во главе с Хозяином.

Ура! Интегральная программа ресуррекции "АС" объявлена Главным Объектом Перестройки, а порождение нового стихотворения Пушкина — ключом к дальнейшему прогрессу человечества. На нее работают все министерства и институты, вся сеть ускорителей, спутников связи и вычислительных центров. Узким местом оказалось сельское хозяйство, ввиду непредвиденно высокого потребления креаполем органических нутритивов, в частности, крахмала и фосфора. Для обеспечения необходимого уровня крахмалоотдачи в деревню направляются срочно отобилизованные армии работников, не занятых непосредственно на АС.

Работы идут широким фронтом. Решено воскресить Пушкина поры ранней зрелости, то есть, первой половины 20-х годов. Ресуррекция более позднего АС поставила бы перед проектом слиш-

ком трудные задачи, в частности, потребовала бы учета прозы. Кроме того, Поэтбюро недвусмысленно дало понять, что предпочитает ранний период творчества как более революционный. Максимальное напряжение всего народного хозяйства позволит продержать АС в суперкреативном режиме не менее двенадцати часов, чего, по данным Главного Текстологического Управления, с запасом хватит для генерирования лирического текста средней величины (8—16 строк).

День "X" назначен на 6 июня. Пушкин будет ресурректирован в специальной пломбированной биокамере, откуда передача "Один день АС" будет непрерывно транслироваться по всему земному шару тремя каналами головидения. Только бы не промахнуться и попасть к началу!

Третья ночь

Все кончено! Я ничего не увижу. Я опоздал, и мысль бесплотная... Точно по схемё я принял 0,11, но, видимо, так разволновался от предвкушения встречи с АС, что это долго не давало эффекта. Тогда я машинально схватил дополнительную дозу (кажется, 0,4), которая, разумеется, пронесла меня дальше, чем нужно.

Я застал лишь гигантское пожарище. Сквозь дымящиеся развалины Креацентра я бросился внутрь и у дверей биокамеры столкнулся с Доком. Он на бегу рассказал мне, что сначала все шло, как по маслу. Хозяин выступил с торжественным докладом и призвал не щадить ничего, даже жизни, для достижения исторической цели — создания управляемого "божественного глагола" (он так и сказал, "божественного"!), способного зажечь людей на новые подвиги. Увы, его словам суждено было стать пророческими!

Хозяин лично произвел пуск комплекса. Программа стартовала точно по графику, все системы работали нормально, хотя и на предельных нагрузках. Секунда в секунду в 11.00 Пушкин проснулся и тут же в постели, при специально смоделированном огарке простой восковой свечи, принялся набрасывать черновик стихов (для оптимизации использования активного времени было применено препрограммирование заготовок, симулирующее ночную работу фантазии).

Все сорвалось из-за пустяка, но катастрофа была мгновенной

и полной. Где-то на Крите троуджахеддины похитили жену нефтяного магната, знаменитую графиню Элину Минилассис, и в лазерной перестрелке был выведен из строя спутник связи, через который из Европы поступала телеметрия, регулирующая энергочувствительность генетической пушки АС. Последовал взрыв невиданной силы по всему периметру Креацентра, моментально иррадиировавший во внешнее крепление, то есть, практически на всю поверхность планеты, включая Антарктиду. Аннигиляция миллиардов людей и астрономически дорогой техники стала делом буквально нескольких секунд.

Центростремительная радиация шла медленнее, лишь постепенно слизывая слой за слоем противозащитную оболочку Центра. Но к тому моменту, как мы с Доком добежали до наружного помещения биокамеры, было уже поздно. АС мы, конечно, заставить не надеялись — информационная решетка, на которой держался его антропоморфоз, должна была деконструироваться первой, сразу же после дерегуляции генетической пушки. Но еще при нас догорала забрызганная воском и чернилами простыня, которой он, по-видимому, пытался заслониться от излучения, так что на ней фантастически отпечатались вдвойне африканские черты его лица, искривленные пожирившим их пламенем.

Я хотел переключить рекордер на видео, но пока я с ним возился, пламя охватило внутренность биокамеры, в том числе и черный ящик с маг-кристаллом. "Все погибло", — подумал я, но вдруг заметил, что Док напряженно всматривается в огонь и шевелит губами, как будто силится прочесть что-то неясно различимое. Я последовал за его взглядом и — о, Боги! — моментально и навек был вознагражден за все! В самом центре голубого костра, похожего на пылающую кисть рябины, или, точнее, винограда, вся в помарках, кляксах и зачеркиваниях, привычно бежала вкось, никуда не убегая, не сгорая и лишь слегка подрагивая в лизавших ее языках пламени, голограмма до боли родного почерка. Неужели никто никогда этого не увидит? Я резко нажал на переключатель..."

На этом машинопись обрывалась, и за ней следовал неразборчивый текст от руки (увы, более чем знакомый профессору!) чернового наброска 1823 года:

Кто, волны, вас остановил,
Кто оковал [ваш] бег могучий,
Кто в пруд безмолвный и дремучий
Поток мятежный обратил?
Чей жезл волшебный поразил
Во мне надежду, скорбь и радость
[И душу] [бурную] и [нрзб]
[Дремотой] [лени] усыпил?..

Тут обрывалась и рукопись, но был еще один листок с припиской от корреспондентки:

“Р. С. Жаль, что в свое время мы не познакомились поближе. Потом Игорь пал несчастной жертвой своих завиральных идей, я вышла замуж, а вы, я знаю, неоднократно переменяли местожительство... Но, как видите, у нас есть что вспомнить, о чем поговорить. Почему я и позволила себе задержать одну рукописную тетрадку. Может быть, вы навестите меня, и мы вместе ее почитаем.

Ваша Лена П.

(я опять взяла девичью фамилию) ”

“Уж полночь близится, — с некоторой оперностью напомнил профессору внутренний голос, — а положение пиковое, ни сна, как говорится, ни отдыха. Мне не спится, нет огня. Мер лихът, кричат, мер лихът. Пришли с огнем. Да уж, на огонь не поскупился, целую геенну развел. А глотать больше нельзя, доктор сказал, три, от силы — четыре. Но подсознание-то какво, как в аптеке, четыре таблетки — четыре трупа! Или пять? (Не считая, конечно, АС и аннигилянтов.) Ах, да, пятый должен быть я сам. Ты спал, постлав постель на сплетне, графиня изменившимся лицом... И все из-за бабы. (В конце она, наверно, совсем старуха. Наина?) А как же, раз бессонница — шерше ля фам. Когда бы не Елена, что Троя вам одна..?! Надо было еще тугие паруса как-нибудь к эрекции присобачить. А бабье лепетание вышло неплохо, да и генетических пушек настругал... Не так уж, значит, трудно быть богом. Ай да З., ай да сукин сын! — привычно воскликнулось было где-то в глубинах души профессора, но научная добросовестность заставила усомниться в правомерности приписывания подсознанию собственного инициала. — Оно ведь безличное, “оно”, ид. Я имени его не знаю... Хотя — носят же собаки фамилии владельцев. Когда у Феди был эрдель по кличке Сержант, он числился Сержантом

Скворцовым, что служило предметом бесконечных острот, ибо сам Федя, как интеллигент-очкарик, был необученный рядовой и о таких чинах мечтать не смел. В общем, мое подсознание — меня бережет...

Ну, не обязательно оно собака, разве что у озверевшего от страсти Маяковского. Скорее, старый крот — призрак, который под землей поспевает туда же, куда Гамлет поверху (додумались ли до этого фрейдисты?). Но чего оно тут только ни навертело, как говаривала перед смертью процентщица Алена Ивановна. Пушки, лазеры, иррадиация (плоды любимых усовершенствований — из одного топора теперь много не сварить), апокалипсис полный, а зачем? Правильно, смысла я в тебе ищу. Ну, разумеется, из-за бабы, причем она же тебе и пишет, чего же боле, в тот день мы больше не читали. Графуня! — вскричал граф... Нет, хорошо проснуться одному! Ну, а глубже? Страх, естественно. Чего — рака? Допустим. (Отсюда и весь этот ресюр.) Или, проще, — старения. (Кстати, в большинстве изданий прямо стоит м л а д о с т ь , причем без всяких скобок, а в 17-томном ее вообще нет; да там, собственно, нет и н р з б , но так эффектнее.) Чего еще? Ну, они скажут, кастрации, геворфенхайт и т. п. В общем, здесь пишет страх... А что если все эти страхи — чистойшей воды мотивировка приемов? Вроде того, как дрим-рекордер разрешает проблему повествования с петлей на шее, занимавшую еще Гюго, а за ним и нашего кроткого Федора Михайловича?

Хорошо, пусть пишет страх. Страх, но какой? Не предсмертный — его нет даже у Державина, хотя ода, так сказать, неокончена за смертью. А у Мандельштама, если какой и есть, то сугубо грифельный, графический, графологический — звездоносный и хвостатый. Но не графоманский, как у некоторых (простыни не смяты, поэзия не ночевала). А почему бы и нет? Вдруг время пощадит мой почерк от критических скребиц? Я буквой был, был виноградной строчкой, я книгой был, которая вам снится! Так что, единственное, чего нам следует бояться, это самого страха и значит, можно еще одну, последнюю... Когда ж от смерти не спасет таблетка, — уютно отключаясь, но с сознанием драматической пограничности ситуации, думал профессор З., — есть сон такой, не спишь, а только снится, что жаждешь сна, что дремлет человек... А дальше так: Какие сны в том смертном сне приснятся, когда покров земного чувства снят? Вот объяснение. Вот что удлиняет (или, наоборот, — сокращает: Шекспир—Пастер-

нак—Пушкин, звезда с звездой, могучий стык) нам опыты быстро-текущей жизни... Знакомых мертвецов живые разговоры, знакомый труп лежал в пустыне той. Нет, как труп, в пустыне я лежал. В общем, Кавказ был весь, как на ладони, был весь, как смятая постель, спи, был, спи жизни ночью длинной, усни, баллада, спи былина, хрр... храни меня, мой талисс... сс... сс..."

Профессор спал. Ему снилась идеальная концовка: "С головой зарывшись в бесплотный шелест своего центона, профессор уже наполовину спал, как спят или, лучше, лениво дремлют в раннем детстве, где-нибудь на даче, в четырехстопном ямбе — пока он еще не надоел"*.

* "Центон (от латинского *cento* — одеяло из разноцветных лоскутов) — стихотворение, ...составленное из строк других стихотворений. В европейской литературе наиболее известны позднеантич. Ц. из стихов и полустихий Вергилия..., служившие средством выразить преклонение перед [ним] и показать эрудицию авторов" (КЛЭ, М. 1975, т. 8, с. 383). — *Прим. автора.*

А. Жолковский — литературовед — структуралист, автор ряда книг и исследований; эмигрировал из СССР в 70-х гг., живет в США, работает в Калифорнийском университете; его статья "Победа" Василия Аксенова" была опубликована в "22" № 36.

В январе-феврале журнал поддержали пожертвованиями следующие лица: Б. Барбой (Иерусалим) — 25 шек.; Н. Байтальская (Нагария) — 35 шек.; Х. Иоспин (Таль-Эль) — 10 шек.; Г. Юзевович (Иерусалим) — 25 шек.; Л. Карапетян (Кфар-Саба) — 20 шек.; М. Краковский (Тель-Кабир) — 20 шек.; Я. Лах (Безр-Шева) — 36 шек.; М. Нимковская (Реховот) — 10 шек.; З. Слободская (Хайфа) — 10 шек.; Р. Шапиро (Иерусалим) — 15 шек.; Ш. Фишер (Хайфа) — 20 шек.; А. Таль (Кирьят-Оно) — 40 шек.; Т. Бешер (США) — 25 долл.; Д. Вильдгрубе (США) — 50 долл.; Б. Вайль (Копенгаген) — 9 долл.; З. Зильберберг (Вена) — 10 долл. Выражаем глубокую признательность этим преданным друзьям журнала.

Возвращение Персефоны

Столы накрывали под старой шелковицей. На праздник собиралась вся деревня. Ожидались гости и из других близлежащих сел. Некоторые прибыли еще накануне и разместились в большом просторном доме Деметры. Одна за другой подъезжали, разгружались телеги; женщины несли угощенья: печеные синие баклажаны, взбитые с оливковым маслом, жареных кур в ореховой подливке, красную фасоль с чесноком, орехами в сладкой томатной подливке. Кое-кто из женщин еще возился во дворе у плиты: размешивали, чтобы не пристало ко дну медного таза, кизиловое варенье, фаршировали мясом вымоченные в вине виноградные листья. Деметра то и дело спешит из дома в сад, из сада — в дом, из дома — во двор: к ней, как к хозяйке, все обращаются то с вопросами, то за советом. "Погляди-ка, Деметра, не готова ли рыба?" или: "Как тонко нарезать брынзу?" "Попробуйте, тетя Деметра", — двенадцатилетняя Ипполита протянула ложку приготовленного ею кисло-сладкого соуса из алычи. Ипполита впервые принимает участие в празднике. Девочка и гордится доверенной ей работой, и нервничает по неопытности. "Очень, очень вкусно, Ипполита", — поощряет ее Деметра и машинально приглаживает на девочкиной головке выбившуюся прядку волос. Большинство детей в деревне, включая Ипполиту, вынянчено Деметрой. Сколько прошло их через ее руки! Дети привыкли к Деметре, даже повзрослев, продолжают прибегать к ней,веряют ей свои секреты,

Нора Файнберг

Из цикла рассказов
"ВОЗВРАЩЕНИЕ"

которые не решаются рассказать своим родителям. Старшие нередко помогают ей ухаживать за малышами. "Дома посуду не допросишься помыть, а к тебе так бегут без зова, — жалуются соседки, — чем ты их привораживаешь? Научила бы!" Ну, что тут скажешь? Деметра детей вовсе не балует, она скорее сурова и требовательна. Окунает их в холодную воду, приучает бегать босиком, не потчует никакими лакомствами. Зато и растут они здоровыми, крепкими, кровь с молоком. Дети потому, наверно, любят Деметру, что не чувствуют в ней фальши или обмана: что говорит, то и делает. И еще потому, что она справедлива: не накажет, не отругает без дела. С Деметрой интересно: она знает все на свете. Она расскажет отчего дует ветер, отчего идет дождь. Она знает все деревья в лесу, названье каждого цветка. Если болит живот или нарывает палец, — идите к Деметре: она даст вам снадобье, приготовленное из только ей известных трав; приложит к пальцу какие-то листья, и вы уже здоровы, боль как рукой сняло. Тетушку Деметру уважает вся деревня. "Правильный человек наша Деметра", — так любовно говорят о ней все односельчане. Потому все и готовятся с таким воодушевлением к сегодняшнему празднику. Празднику в честь дочери Деметры, Персефоны, прибывающей сегодня в полдень, подумать только, откуда — из страшного царства Смерти. Да, да — из загробного мира, куда не смеет ступить нога живого человека. Не верите? Приходите к Деметре нынче после полудня — убедитесь собственными глазами. Как решилась Персефона покинуть родные места и последовать за своим мужем Аидом в этот страшный край, куда он был сослан Зевсом на вечное поселение? Персефона была тогда совсем еще юной девушкой и красивой — загляденье! Ах, какая была красавица эта Персефона. Высокая, гибкая, бедра, словно выточенные; лицо, как спелое румяное яблочко, глаза темно-синие, под густыми ресницами, гладкими черными бровями, каштановые пышные волосы перехвачены алой лентой. Кто только не сватался к ней, а вот, поди ж ты, выбрала молчаливого, сумрачного Аида и поделила с ним его мучительную жизнь. Как плакала, убивалась бедная Деметра, в ногах валялась у Зевса, вымаливая прощения для своего зятя. Ничего не помогло. Только и выпросила она эти короткие, редкие свиданья с дочерью: не более одного раза в год. Ну уж зато каждый такой приезд Персефоны — праздник!

Женщины расстилают вытканые Деметрой праздничные белые скатерти, расставляют на столах вазы с цветами и фруктами: черные и зеленые гроздья винограда, золотисто-багровые персики, лилово-синие сливы и гранаты. "Неприменно положите гранаты, помнится, Персефона их так любит!" Деметра хлопочет, но нет-нет, а все выходит на улицу и всматривается вдаль на дорогу из-под крепкой загоревшей руки: не скачут ли кони, не клубится ли пыль? Да нет, рано еще. Солнце еще не в зените. Прибудут в полдень.

Деметре под шестьдесят, а по виду не дашь больше сорока. Все еще стройна ее статная фигура, тело ее упруго, налито здоровьем, ни сединки в толстых пшеничных косах, уложенных вокруг головы. Когда

она улыбается, все видят ее ровные белые зубы, ямочки на круглом загорелом лице. Только улыбается она теперь нечасто. Больше хмурит светлые пушистые брови. Бедная Деметра! Легко ли матери жить в разлуке с единственной дочерью, да еще сознавая, какую безрадостную жизнь приходится дочери влачить. Первые месяцы после отъезда Персефоны Деметра ходила, как безумная: не ела, не пила, ни с кем не разговаривала. "А все же не гневи судьбу, — твердила ей соседка Ниоба, — твоя дочь, по крайней мере, жива, ты еще сможешь прижать ее к своей груди, а мои дети похоронены все до единого". Поистине страшная судьба у этой Ниобы: семь дочерей и семь ее сыновей унесла смерть одного за другим. Ниоба не снимает траурного платья, глаза ее постоянно красны, слезы привычно катятся по щекам. Люди обходят ее сторонкой: уж слишком она несчастлива, как бы не заразиться ее бедами, как заражаются от больного его болезнью. Ниоба тоже припелась к Деметре, хотя и не участвует в хлопотах, сидит молча на скамейке и следит за суетящимися женщинами своими красными, слезящимися глазами.

Вот уже появился в воротах старый, хромо́й кузнец, дядюшка Гефест. Уж кто-кто, а Гефест — человек незаменимый. Без него не обходится, пожалуй, ни одна семья в деревне. Нужен ли вам топор, или нож, или любой другой инструмент, дядюшка Гефест выполнит любой ваш заказ. Сегодня в честь праздника принес он в подарок Деметре целый набор сверкающих остронаточенных ножей, вставленных в деревянный куб. Деметра заплатила ему одну драхму, чисто символическая плата, потому что принимать в подарок ножи — плохая примета. Дядюшка Гефест сегодня принарядился. Он явно готовился к празднеству: долго отмывал свои черные от постоянной копоти и пыли руки. Но не отмыл до конца — угольная пыль крепко и глубоко забилась в поры, ее уже не отмоешь. Рядом с кузнецом — его веселая, приветливая, красивая жена, тетушка Харита. Она на голову выше своего хромого мужа и выглядит намного моложе. Однако все знают, в каком согласии и любви живут супруги. Гефест выделяет для своей жены серебряные и золотые украшения, легкие, изящные, словно сплетенное кружево, — ими бы прельстилась любая городская модница. Сегодня на тетушке Харите ожерелье в виде золотой виноградной лозы и такие же серьги. "Сид нет, до чего красиво!" — восторгаются обступившие ее женщины. "Это все он, мой умелец! — сияет тетушка Харита и гладит руку мужа. — Как только хватает его на все? Только диву даешься!"

"Эй, тетушка Деметра! — окликает кто-то с улицы Деметру. Всадник на породистом скакуне гарцует вдоль забора. "Что же, в гости к себе так и не позовешь?" Это Пейрифой, старый гуляка. Этот мылится на любую выпивку. "Проезжай себе по-здорову, — хмуро откликается Деметра, — глаза б мои тебя не видели!" Деметра так и не смогла простить Пейрифою попытку похитить Персефону для своего дружка Тесея. Пейрифой родился в этой же деревне и, хотя впоследствии переселился в город, нередко наезжал в родные места. Демет-

ра всегда принимала его радушно и если журила его за волокитство и пирушки, то лишь по-дружески, по-свойски. Сколько раз потом наставляла она молодых девушек: нельзя доверять пьющему мужику — он за кружкой спиртного не то что бабу, мать родную продаст, не пожалеет. Пейрифой явился как-то поздним вечером, хлыстом постучал в окно: "Не прогоните ночного гостя?" Открывая калитку, Деметра проворчала: "Где тебя носит, непутевый? Мы уже с Персефоной спать собрались". Однако впустила Пейрифой в дом. Почудилось ей в тот миг, что кто-то притаился в темноте у забора. Помнится даже спросила Пейрифой: "Ты один появился или ждет тебя кто?" "Один я, с кем же еще? — беззаботно откликнулся Пейрифой. — Голоден я, признаться, как волк". "Ну, так садись за стол, — радушно пригласила Деметра, — разносолов у меня сегодня нет, но покормлю, чем Бог послал". И позволила же этому мерзавцу совесть сесть закусывать в доме, где он готовил хозяевам позор и несчастье! "Персефона, душенька, — обратился вдруг Пейрифой к дочери Деметры, — напоила бы ты моего коня". И Персефона тотчас же вышла. Вдруг Деметре послышался сдавленный крик, и она опрометью выскочила из дома. На самом же деле никто не кричал: Тесей одной рукой подхватил Персефону, другой — зажал ей рот. Деметра подоспела в ту минуту, когда Тесей, удерживая извивающуюся в его цепких руках Персефону, пытался вскочить в седло. Сильная, проворная Персефона умудрилась стукнуть его пяткой в пах, и от внезапной острой боли Тесей на мгновение расслабил руки. И тут подоспела яростная, орущая что было мочи Деметра. Вдвоем с Персефоной они в кровь расцарапали его лицо. На крики захлопали двери, появились потревоженные соседи. Даже Гэфест, несмотря на хроющую ногу, поспешил на помощь, сжимая в руке топор. Прибежал и Пейрифой: "Что случилось? Что такое? Кто-то пытался украсть моего коня?" "Конь не твой, — хмуро заявил тогда Пейрифой Гэфест, — твоего коня я подковал три дня назад. У этого же подковы не из наших мест". Когда подзнали Тесея, все стало ясным, как день. Два дружка. Понятно, что сговорились. Тесея арестовали, впрочем, не надолго. Пейрифой удалось как-то отвертеться. Он на коленях стоял перед Деметрой, вымаливая у нее прощенья. "Увижу тебя возле моего дома, убью", — пригрозила Деметра. И Пейрифой долго не появлялся в этих краях. Тесей же вскоре погиб то ли в драке, то ли по несчастной случайности — разные ходили слухи. Тесея жалели: все-таки герой, такие подвиги совершал! Жаль, что слава вскружила ему голову. Пейрифой вроде бы притих. Но на тебе, явился — не запылится. Пополнел, польсел, а все разыгрывает дурачка. "Проваливай, покуда еще цел". "Напрасно ты, тетушка Деметра! Право же напрасно. Разве сама теперь не жалеешь, что помешала тогда Тесею жениться на Персефоне? Была бы она женой знаменитого героя и жила бы среди живых людей. А ты, что же? Сберегла ее для мертвых!" — "Не твоего ума дело, судить, что лучше, что хуже для моей дочки, — вспылила Деметра, — говорю, убирайся". — "Ну, тогда счастливо оставаться! — Пейрифой стеганул коня и поскакал. — Дочке все же привет передай", — успел

крикнуть он и скрылся за поворотом. Как ни сердилась Деметра на этого проходимца Пейрифоя, но в одном он был прав — не такой судьбы желала она для своей дочери. Всегда послушная Персефона сделала так, как сама захотела, наперекор всем уговорам.

...Высокий, темнолицый Аид, угрюмо нахмурясь, стоял у калитки. Все, как оказалось, уже знали о том, что он повздорил с Зевсом, снят с прежней своей должности и назначен на новую — правителем страны мертвых. И все понимали, что это означает ссылку, страшнее которой трудно и придумать. "Я провожу его немного, мама". Персефона накинула на плечи платок и, как была, в простеньком платье, в котором возилась в доме, босиком вышла за ворота и пошла рядом с этим верзилкой. Пошла и не вернулась. Даже не сказала матери прощального слова.

"Да как же ты, мать, могла допустить такое ослушание? — сердился Зевс, когда она пришла к нему и умоляла смилостивиться к ее дочери. — Нет, — гремел Зевс, — захотела быть заживо погребенной со своим милым, пусть там и гнивает!"

Нельзя возражать папе Зевсу, когда он расходится в припадке гнева. Пусть отгремит "громовержец". Деметра молча, все так же на коленях покрывала его руку поцелуями и слезами. Когда же, устав от раскатов своего грома, притих Зевс, хмурясь и сопя, — она тихо зашептала: "Знаю, знаю, что у тебя доброе сердце. Кто же, как не ты, есть отец наш и заступник. К кому, как не к тебе, приду я со своим горем? Кто лучше нашего отца поймет чувства матери? Персефона — единственная моя дочь. Всю жизнь я пеклась о чужих детях, растила и воспитывала их — сам знаешь. Неужели не заслужила я у судьбы хотя бы умереть на руках своей дочери?" Так говорила она и смачивала слезами, и целовала большую тяжелую волосатую руку, и прижималась к ней мокрой щекой. Зевс все еще хмурился, молчал, кривил свои длинные губы, сопел, раздувая широкие ноздри, но прислушивался к сладкой музыке ее слов. Слова льстили ему, ласкали его ухо. Деметру он знал с молодых лет, она приходилась ему какой-то родственницей в чьем-то колене. Видная женщина, даже в эти годы сохранившая привлекательность. Спал он с ней в прошлом или не спал? Вот этого он уже не мог вспомнить. Столько-женщин перепробовал он на своем веку! Спросить бы ее, да сейчас неуместно. Зевс разглядывал склоненную перед ним Деметру: ее широкую спину, ее все еще гибкую талию, крепкие, мускулистые ноги, ее плечи и шею, покрытые деревенским загаром, толстые пшеничные косы, уложенные венцом вокруг головы. "Наверное, спал, — решил Зевс, — не мог же я, в конце концов, пропустить такую женщину!" А не сделал ли он ей и Персефону? Он не помнил уже мужа Деметры. Да и была ли она замужем? — "Кто отец Персефоны?" — спросил неожиданно Зевс. И по тому, как смущенно потупилась и замялась Деметра, радостно решил: "Я!" Ну, это меняло, конечно, дело. Для своей дочери надо сделать поблажку. "Ладно, — милостиво сказал Зевс, — я разрешаю Персефоне приезжать к тебе на побывку, — и, пожевав что-то, покривив свои длинные губы, углубив брезгливые морщины по бокам рта,

добавил, — раз в год, на два дня. Иди". Ах, это было не то, что просила Деметра, но кто будет спорить? Спасибо и на этом. Может быть, когда-нибудь удастся вымолить новую уступку: Зевс капризен, никогда не знаешь, что от него можно ждать. Каждый год, в день приезда дочери, она приглашала Зевса на деревенское пиршество, и он не брезговал приглашением, он любил появляться на родных торжествах: пусть не говорят, что папа Зевс чужаец своего народа. Каждый год Деметра надеялась, что Зевс объявит амнистию. Но нет. Решения своего Зевс не переменял. Но, может быть, в этот раз...

"Говорят, папаша Зевс приедет", — переговаривались односельчане. Вон уже готовят ему почетное место за отдельным столом. Еще вчера вечером проскакала мимо дома Артемиды, эта знатная девица, приезжающая сюда с Олимпа поразвлечься в наших лесах; не останавливаясь, на скаку бросила через забор убитую коосулю, не иначе, как для "самого". Значит, приедет. Да, он нередко прибывает в деревню из своего знаменитого имения на Олимпе. Зевс никогда не брезговал деревенскими девушками. Если посчитать, полдеревни — его отпрыски, так что его прозвища "отец", "папа", "папаша Зевс" вроде бы вполне уместны. Но хватит, лучше поменьше трепать языком. Хотя ходят слухи, что и Деметра... Говорят вам, хватит!

Но вот уже едет, едет! Подумайте, как точно: ровно в полдень! Вон за клубился дымок пыли, уже слышен топот конских копыт; а вот уже и показались кони. Все ближе, ближе. Три черных коня в упряжке. Извиваются длинные шеи, течет пена из лошадиных пастей. Страшные эти кони, не похожи на обычных лошадей. Слишком черны, слишком быстры, словно летят по воздуху. Слишком кручены их тела, вертят головами на длинных шеях, словно черные лебеди, так и кажется, вот-вот расправят они огромные черные крылья. Уже подлетели к воротам. Остановились. Бьют по земле нетерпеливо серебряными подковами. "Знатные подковы", — бормочет кузнец Гефест. Возница, здоровенный верзила, с лицом разбойника с большой дороги, натягивает что есть силы вожжи могучими руками. Деметра спешит к повозке, и Персефона спрыгивает на землю, прямо в материнские объятия. "Персефона, дочка!" — "Мама, родная моя!" — "Ну, как же ты доехала, солнышко мое?" — "Все хорошо, мама, пойдем в дом". — "Может, покормить коней, напоить с дороги?" Но возница только покачивает головой. "Не надо, мама. Ты же помнишь, он глухонемой. Он сейчас же повернет назад. Он никогда не распрягает здесь лошадей". И правда: вот были, вот их нет. Умчались кони так же стремительно, как появились. Ну, и слава Богу! Нечего торчать им тут перед глазами, пугать людей. Теперь придут через два дня, опять же в полдень. Ну, здравствуй, Персефона! Красавица ты наша! Добро пожаловать домой! И толпа снова возвращается в сад. Впереди Персефона с матерью в обнимку, приветливо машет всем рукой. Надо дать ей передохнуть с дороги, переодеться. Постарела, побледнела Персефона. С каждым годом это становится все заметнее. Нездоровая эта желтизна ее лица: шутка ли, годами без солнечного света! Она носит теперь темные очки: глаза уже привыкли к темноте, дневной свет при-

чиняет боль. Деметра ведет ее в дом, в ее бывшую комнату. Здесь ничего не изменилось со времен ее девичества, та же кровать, тот же стол, аккуратно развешаны ее прежние, ненужные платья. Даже сохранились ее игрушки: старая кукла Майра, медная игрушечная посуда — давний подарок дядюшки Гефеста. Все, все бережно хранит ее мать. Чудачка — спрашивается, зачем? Деметра хлопочет: приносит кувшин горячей воды, чистые полотенца. Раскладывает перед дочерью новое платье — она сама выткала материю, сама сшила его, вывязала кружева для отделки, а Персефоне всего и носить его два дня. "Мама, прикрой ставни, — просит Персефона, — я тогда смогу снять очки". Пока Персефона умывается, приводит себя в порядок, мать тоскливо разглядывает дочь. Боже, как похудела! Как осунулась! Даже волосы потеряли свой блеск. "Как ты питаешься, дочка?" — "Хорошо, мама; ты же надавала мне кучу продуктов в прошлом году. Кстати, — добавляет она, явно желая порадовать мать, — Аиду очень понравились твои соленые огурцы". — "Понравились Аиду! Эка радость!" Здорово бы она пеклась об этом Аиде! Ее дочь, вот о ком она заботится, для кого маринует, солит, заготавливает овощи, варит варенье, собирает ягоды. Она и пчел завела, чтобы у дочери был мед. "Ну все-таки, — продолжает попытаться Деметра, — что ты варишь на обед?" — "Ах, мама, разве это так важно? Ты мне дала мешок фасоли, в нашей реке Ахеронт водится рыба. Тебе не о чем беспокоиться, право же". — "Сегодня к обеду будет Зевс, — помолчав, снова начинает разговор Деметра, — говорят, за последнее время он стал добрее..." — "Мама, — прерывает ее Персефона, она догадывается, куда клонит мать, — запомни, мама: Аид не станет принимать милости у Зевса. Бесполезно и говорить об этом". Ах, опять этот Аид! Деметра вовсе не имела его в виду. Милости от Зевса она ждет только для Персефоны. Пусть он ей разрешит пожить немного в родном доме, вот все, что она просит. Аид почти угробил ее дочь, с какой стати она будет заботиться о нем? Но пока незачем говорить об этом, не о чем спорить. Пока Деметра наслаждается присутствием дочери. Какое счастье снова расчесывать и заплетать ее волосы! Доченька ты моя, ненаглядная ты моя! Оправлять складки ее платья, приколоть к вороту новую, опрaвленную в серебро (опять же старый Гефест) жемчужную брошку. Прежнюю одежду Персефоны она уносит, чтобы выстирать ее ко дню отъезда. Ей всегда кажется, что от темно-серого платья Персефоны (она теперь постоянно там у себя одета в серое) исходит запах тления, словно пропиталось оно духом смерти.

"Помнишь тетю Дафну? — спрашивает Деметра. — Она умерла прошлой осенью". — "Я знаю, мама". Ну, конечно, знает. Деметра даже смутилась от глупости своего вопроса: дочь знает о мертвых то, что не дано знать никому из живых. Но расспрашивать ее нельзя — Персефона не смеет даже ненароком обронить лишнего слова. Даже намеком не обмолвится она о том, что ожидает нас всех по ту сторону черты. Ничего, кроме всем известных вещей: в стране Смерти царит вечный мрак ночи; темны и холодны воды реки Стикса, берега

его заросли блеклыми цветами асфодела; тихо-тихо текут волны Леты, они несут забвение земных радостей и земных мук; бесплотные тени умерших бродят по пустынным полям. Но сначала Харон перевезет их в своей длинной, черной лодке через реку Ахеронт. Вот и все, что мы знаем здесь, на земле, чему учат в школе наших детей. А так ли или не так на самом деле? Живущим не дано проникнуть в мир мертвых. Говорят, вход в него охраняет пес по имени Цербер. Вот про пса — правда: Персефона упомянула его однажды. Еще известно: разная участь ожидает души умерших. Одних ждет покой, другие обречены на страдания. Решает это суд, назначает судьей Аид, но Боже вас сохрани даже спрашивать о том, какая участь постигла ваших близких. Это уже страшная тайна. Ее не посмеют открыть даже Зевсу. Не знание ли этой тайны так старит и убивает Персефону? С каждым своим приездом она все молчаливей, все замкнутей. Она и улыбаться почти разучилась. И мало что радует ее теперь на земле — словно прониклась она сознанием бренности и суетности всего происходящего.

"Ну, пойдем, душенька, — вздохнув говорит Деметра, — люди ждут". И рука об руку они спускаются в сад.

Праздник в честь Персефоны, но за столы не садятся до прихода Зевса. Ожидание это уже невмоготу: аппетит разгорелся при виде всех лакомств, расставленных на столах. Да придет ли он вообще? Но, наконец, слышно: едет! Кто ворчал, кто подшучивал, — теперь все почтительно встали и встречают высокого гостя. Вот он, Зевс. Когда его видишь, всегда испытываешь некоторое недоумение: его большая голова с гривой седых волос, густая, длинная борода связываются с представлением о высоком росте. Между тем, когда он выходит из своего экипажа, даже тех, кто видел его и раньше, поражает несоответствие: Зевс совсем невысок, хотя широкоплеч, и руки у него большие и тяжелые. Одет он сегодня просто, по-деревенски, ворот рубахи расстегнут и виднеется толстая, крепкая шея и заросшая седыми волосами грудь. Настроение у Зевса явно отличное, рука поднята в приветствии. Рядом с ним его жена, Гера. Зевс, если хочет, умеет казаться простым и доступным. Зато Гера всегда холодна и надменна. Ей приходится держаться гордо и недоступно: как же еще скрыть ей, первой даме Греции, свою постоянную обиду и ревность — Зевс не пропускает ни одну мало-мальски привлекательную женщину, он не гнушается и простой крестьянкой. За Зевсом идет его свита. Уж, конечно, здесь Гермес — правая рука, первый наушник. С этим — держи ухо востро: все подмечает, ко всему прислушивается. Зевс проходит между рядами присутствующих — многих он помнит, здоровается за руку, обменивается шуткой, хоть и старик, а все-таки с интересом поглядывает на молоденьких девушек. Ипполиту берет за подбородок: "Смотри-ка, выросла наша юная дева! А ну-ка поцелуй папу Зевса!" Деметру похлопывает по спине, обнимает: "Ну, что, дождалась, мать". Персефону по-отечески целует в лоб: "С приездом, дочка!" Наконец, Зевс усаживается. Теперь все могут занять места за столом. Время пир! Но сначала — тост за почетного гостя. Произ-

носит его первый пьяница на селе, веселый балагур Дионис. Снова приходится вставать, поворачиваться лицом к повелителю, поднимать над головой кубки, пить стоя и до дна. А после первого кубка полагается спеть:

*Слава великому Зевсу,
Могучему нашему Богу!
Тучегонителю слава!
Вечные лета ему...*

Голоса нестройные, но уж, ясное дело, — от чистого сердца. Зевс доволен, Гера кисло улыбается. Гермес с лукавой усмешкой оглядывает присутствующих: все ли голоса звучат достаточно громко, может быть, кому-то лень напрячь глотку? Ну, хорошо. Теперь не грех и перекусить. Вот когда наступает тишина. Все энергично жуют, накладывают полные тарелки. Деметра, хозяйка, обходит гостей: все ли в порядке, всего ли хватает. "Все хорошо, Деметра, еда — на славу, вино преотличное, душа веселится, а ноги отнимаются". — "Так, ешьте, пейте, дорогие гости!"

После первого набега на угощенья можно немного и отдохнуть, теперь время и поговорить, добро языки от вина развязались. Но говорить осторожно, а лучше всего не говорить вообще, а послушать, что скажет начальство. Зевс сегодня благодушен, ведет себя по-просту, неофициально. "Друзья, друзья, хватит церемоний! Давайте выпьем за наших женщин! А? За прекрасных греческих женщин, лучше которых нет нигде в мире! Как ты думаешь, Дионис, наш тамада?" — "За женщин — я готов. За женщин — всегда с удовольствием! — подмигивая Зевсу, откликается Дионис. — Хотя, честно скажу вам, отец, — прекрасных, непрекрасных — мне лично все равно". — "А что же тебе нужно", — улыбается Зевс. — "А у меня, отец, не обессудь, только два к ним требования: чтобы старше тринадцати лет и чтоб кровь текла в жилах. А до остального, — мне дела нет". Ответ Диониса окончательно развеселил Зевса. Смеется он раскатисто, громко, и смех его, видно, заразителен, потому что все вокруг начинают подхохотывать. "Ну, золотой мой, — отдуваясь говорит Зевс, — ну, насмешил ты меня! Ну хорошо, а все-таки выпьем теперь за женщин, золотые мои!" Пили за многое: после женщин выпили за детей; от детей потянулась нить к Деметре; выпили за Деметру. И тут кто-то выкрикнул: "За здоровье Персефоны!" Ах, да, конечно, за нашу Персефону, за приезд Персефоны. И пришлось теперь Персефоне встать, и пройти между столами, и чокаться с каждым гостем, и благодарить всех за радушный прием "Подойди ко мне, золотая", — поманил Зевс. И Персефона подошла и почтительно преклонила перед ним колени. Тут Зевс милостиво поднял ее и усадил рядом Гера, поджав губы, демонстративно отвернулась, Деметра вся напряглась, насторожилась: наступил момент, который мог решить судьбу ее дочери.

"Ну, как же ты живешь, золотая? Рада, что приехала домой?" — "Конечно, рада, отец, — тихо отвечала Персефона, — хотя и жаль

было оставлять Аида одного". Упоминание об Аиде, видно, не пришлось по вкусу Зевсу: он хмыкнул и прикрыл глаза, словно задремал. Многие знали эту его манеру — прикидываться спящим во время разговоров, особенно, когда дело касалось каких-либо прошений. Персефона спокойно сидела перед ним, ожидая дальнейших вопросов или разрешения удалиться. Вот дался ей этот Аид! — молча негодовала Деметра. О чем бы не зашел разговор, обязательно свернет на Аида. Наверняка Зевс не станет больше с ней разговаривать. Но тут Зевс снова открыл глаза и спросил: "А скажи, золотая, нашла ли ты себе какое-нибудь дело или скучаешь?" — "Некогда скучать, отец, — все так же невозмутимо отвечала Персефона, — Аид и я заняты дни и ночи. — И, слегка усмехнувшись, поправила себя, — хотя правильнее было бы сказать — только "ночи", дней ведь у нас не бывает". — "Ну да, ну да, — закивал понимающе Зевс, — нелегко тебе, это верно". — "Я не жалуясь", — поспешно вставила Персефона. Зевс опять замолчал и прикрыл глаза. Похоже, он уже не знал, о чем еще спросить Персефону. Но тут вмешался Гермес: "Как справляется с работой Харон?" — "Все так же, — пожалала плечами Персефона, — Харон на своем месте". — "Ну иди, отдыхай, золотая", — махнул рукой Зевс, и Персефона, поклонившись, вернулась на свое место.

Пир продолжался. Принесли блюда с дымящимся мясом косули, убитой Артемидой. Снова разлили вино, выпили за здоровье сановитой охотницы, а заодно — и за охоту. Вышли деревенские музыканты, заиграли на кифарах, и люди начали выходить из-за стола поразмяться и потанцевать. Сам Зевс вышел на середину и под одобрительные возгласы прошелся по кругу, подняв кверху большие волосатые руки. Персефона, вернувшись на свое место, продолжала думать над вопросом Гермеса о Хароне. Вопрос был неслучайный: Гермес случайных вопросов не задает. Вопрос явно имел свою подоплеку. Персефона рассеянно смотрела на хоровод, круживший вокруг Зевса. Мучила ее догадка: Орфей!

...Под мерный всплеск весел неся над черными водами Ахеронта мягкий, в серебристых переливах голос:

*Влюбленное сердце томится и плачет, страдая,
Тебя, Эвридика, ищу я в подземных чертогах,
Где легкая тень твоя бродит, неслышно ступая.
Вернуть тебя к солнцу молю я всесильного Бога.*

Персефона удивленно переглянулась с мужем. Оба они поспешили к реке, навстречу песне. Вдоль берега скользили тени. Аид поднял факел: лодка медленно плыла к берегу. В луче света — две фигуры. Харон впервые нарушил неумолимые законы страны Смерти: в его лодке не тень, а живой человек. Человек в лодке поет, перебирая струны кифары.

*Солнце ли круг свой вершит по далекому небу,
Лунный ли диск по ночам выплывает на смену,*

*Мне ни покоя, ни сна в этой жизни не ведать:
Я лишь разлукой томлюсь с Эвридикой моей незабвенной.*

Возможно ли? За чертой жизни, в глубине подземных гротов, над безмолвной Летой, над мрачным Стиксом услышать этот единственный на свете, неповторимый серебряный голос! "Это Орфей, — шепчет Персефона, — Боже мой, Орфей!" — "Харон нарушил устав", — говорит Аид, но и он наслаждается пением — "Чудо, что за голос" — говорит он Персефоне. Так они стоят плечом к плечу, освещая факелами приближающуюся лодку. Тени на берегу то сгущаются в толпу, то разлетаются с шелестом, словно гонимые ветром опавшие листья. Привычный глаз Персефоны легко узнает почти каждую из них. Это она встречает всех новоприбывших и диктует писцу Танату их имена. Сколько среди них тех, кого она лично знала при жизни, или тех, имена которых были ей известны! Вот в отдалении, в стороне от всех стоит Агамемнон. Даже тень его сохраняет царственную величественность. Иногда мелькает перед ней Тесей — Персефона отворачивается даже от тени... Примчался к берегу трехголовый пес Цербер. Пес, как пес, только что родился с тремя головами: три разинутые пасти, три высунутых языка. "Назад, Цербер! Смирно! Лежать! Возьми его на поводок, Аид". Лодка пристает к берегу. Орфей, продолжая петь, выпрыгивает на берег. Все еще перебирая струны, опускается на колени.

*Утренний свет озаряет холодное ложе,
День не несет ни надежд, ни забот, ни волнений.
Память о прошлом лишь душу остывшую гложет,
Памятью этой живу и в ней с милой ищу единенья.*

Глаза Орфея полны слез, слезы текут по его щекам, голос его полон такой печалью, словно это не голос, а сама тоска льется из его груди. Орфей поет о своей возлюбленной, бедной маленькой покойной Эвридике, и уже мелькает на холмах ее плоская безмолвная тень. "Как вы проникли сюда, Орфей? — спрашивает Аид. — Знали ли вы, чем вам это грозит?" — "Ах, мне все равно, — плача отвечает Орфей. — Отдайте мне Эвридику, господин Аид. Заклинаю вас вашей собственной любовью к госпоже Персефоне". — "Пойдемте в дом, — предложила тогда Персефона и первая направилась к дому, освещая дорогу, — что за место для разговоров!" Аид обернулся к Харону, понуро сидящему в своей лодке. "Ну?" — "Он заморозил меня, Аид, — сказал Харон и заплакал, — веришь ли? Он перевернул во мне душу! Никогда со мной не бывало ничего подобного! Я даже плату с него не взял! Драхмы не заработал, поверь мне!" Это была правда. Старик Харон был неподкупен: ни за какие деньги не нарушил бы он закон. Но даже неумолимому, непреклонному Харону сумел Орфей разбередить сердце. "Ну, смотри", — только и сказал Аид.

Орфей грелся у пылающего очага. Персефона поила его вином. Только теперь, в спокойной тишине гостиной, Орфей почувствовал,

как он продрог, одежда его совсем отсырела. От холода, то ли от нервного напряжения он начал дрожать. Теперь, когда он не пел, он перестал быть магом, волшебником, чародеем, завораживающим всех вокруг себя. Он превратился в обычного стареющего, уже порядком расплывшегося, подавленного горем человека. После смерти Эвридики он так и не женился, жил одиноко и нелюдимо, перестал выступать в концертах. "Один-единственный раз я слушала вас, Орфей. Вы приезжали из Фракии". — "Помню, помню, — кивал головой Орфей, — тогда еще была жива Эвридика..." — "Вы вернулись с аргонавтами из Колхиды. Ты же помнишь, Аид, Орфей был в команде Ясона во время его похода в Колхиду". — "Ах, вот как? — без особого воодушевления отозвался Аид, — Да, я теперь припоминаю. Но вот что скажу вам, мой друг, — перешел он к делу, — вы, конечно, великий артист и заслуженный человек, но ваш поступок сегодня — это преступное безумие. Уж простите меня за резкость, но я не могу назвать его ничем иным. Вы не только рисковали своей жизнью, но вы подвели и моих служащих. Да и меня самого вы поставили в трудное положение". — "Я понимаю, понимаю, я, право, не подумал, — шептал Орфей, понуро опустив голову. — Ах, простите меня, я не хотел причинять никому неприятностей. Я только хотел просить милости для своей жены. Только для нее... ради нее...", — и он снова заплакал. "Несчастный, — тихо проговорила Персефона, — как можно сердиться на него, Аид? Я так понимаю его! Разве мы могли бы прожить друг без друга?"

"Да что я могу сделать? — с отчаянием воскликнул Аид. — Чем лично я могу помочь вам, Орфей?" — "Отдайте мне ее! — и Орфей снова упал к ногам Аида. — Верните мне Эвридику! Я знаю, вы, Аид, могущественный человек. Вам дано распоряжаться жизнью и смертью! Что для вас, повелителя загробного мира, одна маленькая тень? Эвридика — вся моя жизнь! Да и справедливо ли лишиться жизни такой юной, такой прекрасной? Она никому не причинила зла, не было добрее и милее существа на земле! Ах, дайте ей пожить немного, хотя бы еще немного, господин мой Аид. Сжальтесь над ней, умоляю вас, умоляю!"

"О, Бог мой, Орфей! Понимаете ли вы, о чем вы просите? Как можно вернуть к жизни мертвое тело? В моей стране Смерти — только души, бесплотные тени. Что вы требуете от меня?"

"Ах, я не требую, только смиренно прошу", — рыдал Орфей.

"Да что просить? Я не Бог. Я не могу сотворить чуда".

"Ах, отдайте мне хотя бы ее тень!" — молил Орфей.

"Что станете вы делать с тенью, бедный мой друг? Да она и не переступит границ мрака, она исчезнет, как сновиденье, едва луч света забрезжит в проеме Тенарской пещеры, из которой Вам предстоит выйти на землю".

"Тогда оставьте меня здесь, — вздохнув, сказал Орфей. — Позвольте разделить мне с нею хотя бы мглу ночи, если не дано ей делить со мной солнечный свет".

"Да как могу я оставить вас здесь, безрассудный вы человек! Обь-

ясни хоть ты ему, Персефона! Я распоряжаюсь не жизнью, а только смертью. Поверьте мне, — заговорил он уже спокойней, — никто не в силах связать конец с началом. Не просите невозможного. Уходите. Я уважаю ваше горе, я сочувствую вам, но я не имею права принимать вас, простите. Уходите и забудьте сюда дорогу, не знаю уж, кто показал вам ее. Ждите, пока придет ваш час спуститься сюда к нам тихой тенью. Никого не минет эта участь, даже всемогущего нашего Зевса, милостью которого я здесь управляю. Идите, — добавил он, нахмурившись, — и запомните одно: лучше быть последним нищим на земле, чем царем под землю. Пошли. Харон отвезет вас обратно".

Притаившиеся за дверью тени вспорхнули, как стая потревоженных птиц, едва ступили они за порог, и Орфей испуганно отшатнулся. "Вот, видите, как легко здесь живому! — заметил Аид и взмахнул факелом — Прочь! Прочь! Да вы идите, идите, они не тронут". И зашагал впереди к берегу. Персефона заметила, как тень Эвридики, отделившись от остальных, заскользила им вслед. Харон молча поднялся к лодке, ожидая приказа. "Отвези его к Тенарской пещере", — велел Аид. Орфей молча поклонился Персефоне. Он уже ни о чем больше не просил. Отчаяние, толкнувшее его на риск, надежда, придавшая ему силы, — все ушло, все сменилось разочарованием и опустошенностью. Он покорно, подчиняясь Аиду, сел в лодку. Харон сурдито оттолкнулся от берега веслом. И тут неожиданно в лодку впрорхнула тень Эвридики и встала за спиной у Орфея.

"Это еще что! — закричал Харон. — А ну, марш отсюда!" Но тень не двинулась с места. "Аид! — взмолился Харон, — Помогите! Смотри, что творится!" — "Езжай, — махнул рукой Аид, — Семь бед — один ответ! Пусть проводит его до пещеры. Она все равно вернется обратно". — "Сроду такого не было", — ворчал, отъезжая, Харон. "Орфей! — крикнул вдогонку Аид. — Прошу об одном: никому ни слова".

Напрасная просьба! Артистам ли хранить тайны! Приезжая к матери, Персефона слышала, как разрастались, расцветчивались, обрастали приключениями рассказы Орфея о пребывании в загробном мире. Говорили, как чуть не растерзали его кровожадные птицы Керы, усмиренные лишь его пением. Еще говорили, что Аид сжалился над Орфеем и пообещал вернуть ему Эвридику, но при условии, что она будет следовать за ним, а он ни разу не обернется. Ах, бедный Орфей! Перед самым выходом он не выдержал, оглянулся и вот, нате вам, Эвридика словно вихрем была унесена в подземелье. "Правда ли это?" — спрашивали односельчане Персефону. "Конечно, нет, — отвечала она, — чушь собачья!" Но люди верили не ей, а всяким рассказням. Сказкам верится всегда охотней.

Видно, история с Орфеем имела последствия. Закон был нарушен, прецедент создан. Это ли не вызовет гнев "Громовержца"? Орфей был вскоре убит при каких-то странных обстоятельствах: говорили, будто бы пьяные бабы забросали его камнями за то, что он отказался присоединиться к их оргии. Кто знает правду? А если кто-то и знает, то держит крепко язык за зубами. Две неразлучные тени бродят теперь по холмам на берегах Ахеронта и Стикса. Незабываемый

голос певца замолк навсегда, зато душа его, наконец, обрела покой.

После ухода Орфея Аид был мрачен. Обычно молчаливый, он в тот вечер и подавно не проронил ни слова. Отказался от ужина, не пригубив, отодвинул бокал вина. Молча сидел перед очагом и смотрел на горящие поленья. Густые, сросшиеся его брови были нахмурены, губы сжаты, желваки ходили на темных широких скулах. Персефона тихо вязала, сидя подле него, то и дело поглядывая на суровое лицо мужа. Что так рассердило или встревожило его? Наконец, она не выдержала, отложила вязанье и, присев у его ног, положила голову ему на колени. "Что с тобой, мой родной?"

"А то, — неожиданно раскрыл причину своего гнева Аид, — что слабый человек, этот Орфей, не побоялся спуститься в преисподнюю, чтобы вызволить свою жену, а я, здоровый мужик, затащил тебя с собой в гробницу, похоронил тебя заживо. Слушай, — быстро заговорил он, — слушай! В следующую твою поездку домой оставайся дома, не возвращаясь! Пусть мать умолит Зевса. Обещай мне! Прошу тебя! Обещай мне!"

"И не подумаю, — сердито оттолкнула его Персефона. — Кто дал тебе право распоряжаться моей жизнью? Не по твоей, а по своей воле я последовала за тобой. Вспомни, как я уговаривала тебя, всю дорогу бежала за тобой босая и все боялась отстать. Смотри, Аид! — пригрозила Персефона. — Если ты выкинешь какую-нибудь глупость, если отторгнешь меня от себя, я повешусь. Запомни, — это будет на твоей совести. И довольно! Пора спать".

С тех пор Аид не возвращался к этому разговору, но каждый год, собираясь к матери, Персефона говорила: "Смотри, во-время пришли лошадей, не заставляй меня ждать, иначе к тебе вернется только моя бедная, бледная тень с петлей на шее".

"Зачем же понадобилось сегодня Гермесу снова выкапывать эту старую историю, — думала Персефона. — Что они замышляют против Аида?"

Между тем веселье продолжалось, молодежь танцевала, женщины помогали Деметре убирать грязную посуду, очищали столы. Уже начали разносить сладости: залитую медом баклаву, розовое варенье. Люди пересаживались, менялись местами, чтобы поговорить кому с кем хотелось. Мужчины толковали об урожае: нынче какая-то болячка напала на виноградники.

"Говорят, убила своих детей и скрылась неизвестно куда", — пересказывали женщины чьи-то сплетни.

"Сумасшедшая!"

"Никакая она не сумасшедшая, а преступница и злодейка, вот кто она такая!"

"Одно слово, — колхидянка! Греческая мать никогда бы такое не сотворила!"

"Ну, Ясон тоже хорош! Зачем надумал разводиться с женой? Не хорошо".

"Всякое случается в семье, но зачем убивать детей, скажите на

милость?"

Речь шла о знаменитом капитане Ясоне, прославившемся своим походом в Колхиду. Вместе с богатой добычей привез он оттуда и жену, красавицу, чародейку, говорили даже, колдунью, Медею. Ясон прижил с ней двоих детей, а потом то ли наскучила она ему, то ли позарился на большее богатство, но только решил бросить Медею и жениться на другой, из знатной семьи. Но, видно, не знал Ясон нрава колхидских женщин: взбешенная Медея отравила его невесту, убила в отместку обоих детей и скрылась неизвестно куда. Вот о чем судачили теперь на всех перекрестках.

"Будет другим наука — нечего жениться на чужеземках, своих, что ли, мало?"

"Женщины, вы не справедливы".

"А я говорю сыну, — слышалось в другом углу, — не будь бабой, не давай ей над собой командовать; ее дело детей нянчить, да дом блюсти, а не соваться в мужские дела".

Тут поднялся Зевс: "Пора мне, мои золотые. Если кто хочет спросить меня о чем-нибудь, пожалуйста, не стесняйтесь". Это он всегда так предлагает, но лучше с вопросами не высовываться, а то навлечешь на себя неприятность. "Да что там, — отозвались голоса, — лишь бы войны не затевалось". — "Никакой войны быть не должно, — провозгласил Зевс, — мы — за мир!" "Ну, вот и хорошо, — послышалось вокруг, — ну, и слава Богу!" "Слава Зевсу! — гаркнул кто-то и все хором поддержали: "Слава, слава нашему отцу!"

А все-таки кто-то не удержался, спросил: "Правда ли, будто возвращается Одиссей?" — "Хитрожопый-то наш? — улыбается Зевс. — Да кто его разберет? — уклончиво отвечает он. — Вот, спросите Гермеса, он лучше знает". А Гермес — весь сияющая улыбка. Но уж у него что-либо выведать — прошу покорно! У этого, пожалуй, есть секреты от самого себя. Зевс направляется к выходу. За ним шествует вся его свита. Деметра и Персефона провожают своих почетных гостей. Томная, молчаливая Гера словно нехотя протягивает для поцелуя изнеженную, безжизненную руку. Зевс, разомлевший от еды и выпитого вина, кряхтя усаживается в экипаж. "Ну, накормили вы меня, мои золотые!" Гермес доверительно отводит Деметру в сторону. "Если Персефона пожелает остаться, Зевс, поверь мне, не станет препятствовать. Пусть напишет прошение, пошлите его на мое имя: я лично прослежу и посодействую". Вот оно! Наконец-то! Счастливая Деметра от волнения и поблагодарить толком не сумела. Завтра утром, да нет, сегодня же ночью надо составить письмо. Разве можно откладывать такое дело?!

Когда на душе светло, как легко и ладно идет работа! Солнце еще не поднялось, а у Деметры в доме уже полный порядок: перемыта посуда, вымытый пол блестит, как яичко, подметены дорожки в саду, сварен завтрак для дочки, а главное, уже написано письмо, Персефоне остается только поставить свою подпись. Персефона еще спит в своей девичьей комнатке, за плотно затворенными ставнями. Девочка

устала, ее так нужно подправить, оздоровить. Кто сделает это лучше, чем родная мать? Уж Деметра сумеет быстро вернуть ей и крепость, и здоровье, и прежний румянец на щеках. Главное — снова взять ее в свои руки. Деметра уж который раз заглядывает в дверную щелку: проснулась или нет? И на цыпочках уходит обратно — спит Персефона. Она и девочкой любила поспать; набегается за день с подружками, натанцует вечерами на молодежных гулянках, а потом не добудишься до полудня. Впрочем, Деметра всегда баловала дочь, не загружала ее домашней работой: успеет еще наработаться, — говорила она. И, как видите, не ошиблась. То, что выпало на долю Персефоне, — и врагу не пожелаешь: лучшие годы убиты ссылкой. Ах, скорее бы, скорей бы дать ход прошению, скорей бы получить милостивый ответ! Пока благодушен Зевс, пока доброжелателен Гермес, пока ничего не случилось, ничего не помешало! В комнате Персефоны слышалось движение; Деметра поспешила к дочери. "Проснулась, Персик?" — Персефона сидит в постели в длинной ночной рубашке, каштановые волосы заплетены, как в девичество, в тугие косы. Деметра садится рядом с дочерью, обнимает ее (Боже мой, как худо!). "Вставай, Персик! У меня для тебя сюрприз!" — "Погоди, мать, дай мне сначала очки: я не привыкла к свету".

Утро началось с ссоры.

— Я не подпишу эту бумагу, мама, — заявила Персефона, — и прошу тебя: не делай ничего без моего ведома. С чего ты взяла, что я вдруг захочу остаться?

— Персефона, Персик, доченька моя, единственное мое дитя, неужели не осталось в твоём сердечке даже крохотного уголка для твоей матери? Все, все вытравил проклятый Аид!

— Оставь в покое Аида, мама!

— Неужели легко мне смотреть, как ты хоронишь себя в этом страшном подземелье, в мраке, ужасе? Какая мать может смириться с этим? Дай мне вызволить тебя, дай мне тебя спасти.

— Мама, пойми, я хочу быть рядом со своим мужем. Это мой долг, наконец!

— А для матери разве нет у тебя долга? Что же, мне на старости лет к соседям в приемы проситься? Родная дочь — далеко, умру — чужие люди мне глаза закроют!

— Мама, прекрати. Если ты будешь устраивать такие сцены, я перестану приезжать.

— Ты стала жестокой, дочь. Ты теперь такая же суровая, как твой муж.

— Опять ты о нем! Ты не вправе окорбительно говорить о моем муже, мама. Ты всегда не любила его, я знаю.

— Да, я не любила твоего мужа, Персефона, не стану скрывать, да я и сейчас ненавижу его! Он всегда был мне неприятен, с того дня, как начал околачиваться у нашего порога. Всегда сумрачный, слова не скажет, в дом не заходит, словно лесной зверь. Уж не знаю, что ты нашла в нем, чем он тебя так околдовал, что ты ушла из родного дома в чем стояла, даже с матерью не попрощалась. Разбойник с боль-

шой дороги, вот он кто, твой муж. Не зря, видно, сослал его Зевс, такое наказание не каждому присудят. Какие же грехи...

— Мама, его единственный грех — справедливость.

— Справедливость? Подумаешь, правдоискатель нашелся! Не будь ребенком, Персефона!

— Опомнись, мама! Не этому ты учила меня в детстве!

— Ах, многому я учила тебя, дочь, но главному не научила. Не научила тебя ходить окольными дорогами, а не ломиться сквозь преграды; не научила тебя хранить равновесие, когда идешь над пропастью; не показала тебе другие цвета, кроме черного и белого. И вот ты пропала без этой премудрости, дочка.

— Оставим этот разговор, мама, право же, ни к чему.

Ну, конечно, они потом помирились, даже поплакали вдвоем в обнимку.

— Доченька, родная, не сердись на меня!

— Как могу я сердиться на тебя, мамочка!

Но прошения Персефона не подписала. Отказалась наотрез и бесповоротно.

— А что, если я попрошу Зевса за Аида? — предложила, наконец, Деметра.

— Ни в коем случае, мама. И думать не могли. Аид не потерпит такого унижения.

Да, прошло время, когда Персефона во всем спрашивала материнского совета. Бывало, сядет вечером возле матери и выкладывает ей все свои нехитрые девичьи дела: "А он сказал...", "А я сказала...", "А ты, мама, что бы сделала?" Но когда появился Аид, Персефона замкнулась. Это ее, Деметры, вина: нельзя было откровенно высказывать неприязни к Аиду. Да кто же мог подумать, что этот чужак, медведь лохматый, так привяжет к себе ее дочку! Аид в дом не заходил. Деметра и не приглашала. Дура! Так и не слышала, о чем они по вечерам беседовали на крыльце. Потом были вечера, когда Аид перестал приходить к воротам. Напрасно Персефона выглядывала его из окна. Рассорились, и слава Богу! — радовалась про себя Деметра. Ничего, девочка погрустит и забудет. Ах, тогда бы ей пригреть, разговорить Персефону! Отвлечь, уехать с ней в город — вся бы жизнь сложилась иначе. Зачем она выжидала, откладывала разговор со дня на день? Проиграла, просмотрела свою единственную дочку! И вот, дождалась: появился Аид. Деметра увидела его первая, когда он медленно, словно через силу, подходил к их дому. Угрюмый, как всегда, брови нахмурены; от лба к переносице, к сросшимся бровям резко и глубоко обозначилась складка; квадратный, раздвоенный подборок опущен на грудь. За его широкими плечами — походный мешок.

"Ну, явился — не запылится", — проворчала Деметра. А Персефона, как была в переднике, в подоткнутой юбке, босиком (она мыла полы в доме) бабочкой выпорхнула за калитку. О чем они там говорили, — не слышно было Деметре. Она только видела, как Персефона доказывала ему что-то, жестикулируя обеими руками для большего убеждения. Аид молча слушал, скрестив на груди большие, мус-

кулистые руки, вещевой мешок брошен на землю, и Аид наступил на него своей длинной, тяжелой ногой, обутый в походный сапог. Глупая Деметра! Как ни радовалась она вначале их размолвке, а материнская ее душа все-таки болела за дочь, и сейчас она испытывала удовлетворение от того, что не Персефона, а Аид сделал первый шаг к примирению. Она не позволила себе больше подсматривать, занялась своей домашней работой, и когда крикнула ей Персефона: "Мама, я провожу немного Аида", — не оборачиваясь, махнула рукой, мол, ладно уж, иди.

Персефона не вернулась к вечеру, не вернулась к ночи. Деметра, как безумная, ходила взад-вперед по улице. Наконец, не выдержала, заголосила. Что тут было! Сбежалась вся деревня, мужчины вооружились рогатинами, ножами, сели на коней, прочесали все окрестности. Женщины хлопотали возле Деметры. Раньше они побаивались ей говорить, а теперь только признались: говорят, этот Аид — самый, что ни есть, бунтовщик и мятежник, почти, как Прометей. Он спорил с самим Зевсом! Говорят, отец Зевс (тут уже переходили на шепот) так рассердился, что велел прогнать его из Греции. "Да куда? Куда прогнать-то?" — Вот этого не скажу, да погоди, вернется мой Финей, он может слышал: у него дружок служит егерем на Олимпе.

Под утро разнеслась весть: горе, горе! Аид сослан на вечное поселение в страну Смерти. Вот где твоя Персефона, мать! От ужаса Деметра окаменела: даже в самых страшных своих предположениях не мыслила она ничего подобного. Дни и ночи сидела она безмолвная на полу. Соседки боялись с ней заговорить, им казалось, она помешалась. Но, видно, с любым горем может жить человек, выжила и Деметра. Молчаливая, черная поднялась она в один прекрасный день и взялась за привычную свою работу. Женщины потихоньку стали уговаривать ее, мол, пойди, поклонись Зевсу, авось смилостивится. Даже Артемиде однажды, возвращаясь с охоты, остановилась у ее дома. Да нет, вовсе не так было дело. Артемиде остановилась в кузнице Гефеста подковать своего коня и попросила Гефеста послать за Деметрой. Когда же прибежала Деметра, Артемиде, как всегда глядя в сторону, вполоборота, спросила: "Слышно ли что-нибудь от Персефоны?" — и, услышав, что нет, ничего не слышно, добавила: "Ты бы сходила все же на Олимп, Деметра. Под лежащий камень, знаешь, и вода не течет". Сказала и ускакала. Деметра после встречи с Артемидой больше не раздумывала. Привела себя в порядок и отправилась к Зевсу. Когда-то папаша Зевс, падкий до красивых женщин, не оставил и ее своей милостью. Теперь, конечно, ей уже не рассчитывать на женские свои чары. Но все-таки, все-таки она как можно старательней уложила вокруг головы свои все еще тяжелые пшеничные косы и надела нарядное голубое платье: голубой цвет ей к лицу. И не напрасно: вымолила, хоть и короткую, но ежегодную встречу с дочкой. А теперь он и на большее согласен: разрешает Персефоне навсегда остаться у матери. Так вот, не захотела Персефона! Персефона уже далека, она предана мужу, а не матери. Не вернется к ней Персефона.

Ах, мы учим своих детей стать такими, какими мы вовсе не хотели бы их видеть. В детстве мы учим их честности (экая беда — признаться в глупой шалости), а вырастут, — мы ожидаем от них лицемерия (зачем говорить то, что думаешь? Умнее и безопаснее промолчать). В детстве мы учим их принципиальности, а от взрослых требуем компромиссов. "Где твоя совесть?" — спрашиваем мы у ребенка. "Где твой рассудок?" — говорим мы взрослому. Зачем пичкаем мы детство героическими сагами, песнями о подвигах, мифами о героях, чтобы потом заклинять наших выросших детей: ах, не делай этого, воздержись от того, береги себя, пожалей нас. На что же мы сердимся, негодуем, жалуемся, плачем, если наши дети следуют принципам, которые мы, фарисеи, сами на свою же беду вбили в их детские головы? Ах, мы не против того, чтобы наши дети стали героями, но только, ради Бога, без опасности для их жизни, для их здоровья, хорошо? И тогда, пожалуйста, пожалуйста! Вот, она, Деметра, целует руку Зевса, а Персефона ее отталкивает.

— Что ты делаешь, Персефона?

— Но не ты ли, мать, учила меня гордости?

— Вернись, Персефона. Вернись домой. Сколько земных радостей ты еще не извела! Сколько веселых, беспечных лет сможешь ты провести под теплым, солнечным небом.

— Нет, мама, я не покину своего мужа. Не этому ли ты сама учила меня еще в детстве?

Да и Аида полюбила она за непреклонность его убеждений. Разве не был он тем идеалом, о котором с юных лет мечтала она, наслушавшись материнских сказок?

А Персефона занята своими мыслями: не иначе, как Зевс замышляет разлучить ее с Аидом. Вот как он думает добить его! Ах, ей надо поскорее возвращаться: не случилось бы с ним чего в ее отсутствие. Пока они вместе, жизнь не страшна даже там, под землей. Она привыкла к летучим мышам, повисающим нередко по углам их спальни, привыкла к хорькам, заползающим на кухню, привыкла к теням, кружащимся за окнами, притаившимся за дверями. Она привыкла к мраку, вечной сырости, затхлому воздуху, просачивающемуся сквозь пещерные щели, к черной, неподвижной, маслянистой воде подземных рек. С чем не свыкается человек! Даже в пещерах есть своя красота: причудливо застывшие, словно сосульки, сталактитов свисают с их высоких молчаливых сводов. Аид рубит их иногда во время прогулок, и Персефона украшает ими их с Аидом жилище. Она покрывает холодные каменные полы овечьими шкурами, завешивает вытканными ею коврами вечно влажные стены. "Посмотри, Аид, как красиво выглядит наш дом!" Как ни отрезаны они от жизни, а разве тягостно им одиночество, когда они вдвоем усаживаются перед горящим очагом? Она привязалась к своей ручной сове Гекате, к трехголовому псу Церберу, к своей черной кошке Эринии, гоняющей земляных мышей. Привыкла к сердитому Харону, к горбатому писцу Танату, ко всей этой несчастной, угрюмой, ссыльной (каждый — в свое время) челяди. Она только гостя здесь, на земле, что общего

между нею и этими людьми, бывшими ее соседями? У них разные мысли, разные интересы, они принадлежат к разным мирам. Она и Аид привыкли глядеть в лицо вечности и так отчуждены теперь от обычных земных забот! Бедная мать не понимает, как далеко ушла от нее Персефона.

В ссорах и перемириях, слезах и упреках проходит день. Последнюю ночь Деметра не спит, а плачет. И вот наступает день отъезда. С утра — хлопоты. Деметра запаковывает заготовленные продукты: засоленные овощи, сушеные фрукты, бутылки с вином, с оливковым маслом. Не забыть еще шерсть для пряжи. "Носишь ли ты шерстяные чулки, Персефона? Там ведь так легко застудить суставы!" Надо положить еще новое одеяло. Потянулись один за другим соседи: попрощаться, подарить что-то на память, кто — вышитую скатерть, кто — керамический горшок, кто — затейливый светильник. Кое-кому надо поговорить с Персефой по секрету, ведь почти у каждого бродит там родная душа. Не на все вопросы может ответить Персефона, не все поручения выполнить, но людям этого не понять, и вот приходят, смотрят умоляющими глазами: "Персефона, голубушка, ну, пожалуйста". Больше всего просьб передать привет: "Скажи, что мы не забываем". — "Хорошо, — кивает Персефона, — я передам". Старуха Алфея так и не дождалась своих сыновей, не вернувшихся с Троянской войны. Погибли? Или подались, как Одиссей, в чужие земли? "Не встречала ли ты их, Персефона?" Как раз этот вопрос из числа запрещенных: Персефона не может давать сведений о загробном мире. Но как обидеть бедную старуху Алфею! "Я не видела их, бабушка Алфея, — отвечает Персефона полуправдой (не видела — ведь ещё не значит, что их нет). — Мне не приходилось их встречать". Соседка Лидия пришла с необычной просьбой: год назад она похоронила брата, принесла драхму — плату за перевоз, причитающуюся Харону; потом оказалось, что и сноха положила монету, таким образом, Харон получил двойную плату. А вот теперь, не сегодня-завтра, помрет ее старик-отец, так не может ли она, Лидия, обойтись на этот раз без оплаты, в счет тех прежних переплаченных денег? Персефоне только остается удивляться в душе нелепости вопроса. Старый скупердяй Харон ни за что не отступится от своей копейки. Очень он там помнит, кто переплатил ему драхму! Но чтоб не возражать тетке Лидии, она соглашается, про себя решив отдать самой Харону положенную плату.

Но близится, близится час отъезда. Персефона уже надела свое серое, выстиранное матерью платье, затянула в узел свои длинные волосы, накинула на голову серый платок — все меньше пыли. Мать с тоской, дочь с нетерпением всматриваются вдаль: не клубится ли дорожная пыль; не слышен ли топот копыт. Хоть бы раз запоздали! — молится про себя Деметра. Хоть бы во-время прискакали, — думает Персефона. Хоть бы скорее убедиться, что с Аидом все благополучно!

Но вот уже: едут, едут! Как всегда точно, ровно в полдень. Несутся быстрые черные кони, вздымаются их гривы, извиваются длинные

черные шеи. Как страшны их пасти со стекающей пеной! Эти кони — словно посланцы Смерти. Страшен и погоняющий их толстый возница, с черной повязкой на голове. Лихо, круто останавливает он коней, но не у самых ворот, а поодаль, видно, самому не хочется пугать людей понапрасну. Персефона торопливо прощается: "До свиданья, мама, береги себя. Увидимся через год". Уже погружены тяжелые корзины, Деметра в последний раз прижимает к себе дочь: "Не плачь, мама, прошу тебя", — говорит Персефона и целует материнские глаза, до краев наполненные слезами. — "Не буду, не буду", — подбородок у Деметры дрожит, она прикрывает его концом платка. Персефона решительно отстраняется, последний прощальный взмах рукой столпившимся у ворот соседям и, уже не оборачиваясь, идет к экипажу. Люди провожают взглядами ее прямую фигуру в длинном, сером платье; идет она твердо, подняв голову, повязанную серым платком. "Это же подумать только, куда отправляется человек! — вздыхают сердобольные бабы. — В ад крошечный!" Деметра уже открыто плачет, не утирая крупных тяжелых капель, стекающих по лицу. Черные кони взвиваются и уносятся стремглав.

Умчались кони, чуть доносится издалека мерный стук их копыт, и вот он замер, улеглась дорожная пыль, одна за другой хлопают калитки, реддеет толпа. Заковылял к себе в кузницу хромой кузнец Гефест. "Не наточишь ли мне ножи до обеда, дядюшка?" — раздается чей-то голос. — "Так приноси", — откликается кузнец. Харита, его жена, целует Деметру и спешит вслед за мужем. В деревне уже обычные будни: отгуляли праздник, пора приниматься за дела. Уже оставлены на попечение Деметры малыши, они вертятся у ее ног, держась за подол ее платья. "Веди их в дом, Ипполита", — просит Деметра свою бывшую воспитанницу, а теперь главную помощницу. Деметра еще стоит некоторое время у ворот, глядя на опустевшую улицу. Вот постоит, пока поутихнет, притупится в груди боль, выплывут слезы, и тоже вернется в дом. Все легче за повседневной работой.

Н. Файнберг — врач; эмигрировала из СССР в 70-е гг., живет в Филадельфии (США)

РЕДКОЛЛЕГИЯ ЖУРНАЛА "22" ГОРЯЧО ПОЗДРАВЛЯЕТ СВОЕГО ДРУГА И СОРАТНИКА ПО РАБОТЕ В ЖУРНАЛЕ ЭДУАРДА КУЗНЕЦОВА С 50-ЛЕТИЕМ И ЖЕЛАЕТ ЕМУ ЕЩЕ МНОГИХ ЛЕТ И МНОГИХ УСПЕХОВ НА ИЗБРАННОМ ИМ ПУТИ.

ИЕРУСАЛИМСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

В любом экономическом плане и прогнозе присутствуют элементы древнего и благородного искусства гадания на кофейной гуще. Экономика страны зависит от сложнейшего комплекса факторов, многие из которых не поддаются учету. В частности, практически невозможно предсказать, как прореагирует на изменение ситуации население страны — обстоятельство, имеющее первостепенное значение.

Весной 1985 года, когда правительство, частные предприниматели и профсоюзы Израиля договорились о пакетной сделке (замораживание цен, зарплаты и налогов), мало кто верил, что это всерьез и надолго. К тому времени годовая инфляция превысила 400 процентов, и ее спираль стремительно раскручивалась. Газеты называли уже и шестьсот, и тысячу процентов в год — в мире оставалось совсем немного стран, сравнение с которыми утешало: оказывается, бывает еще хуже...

И вдруг все кончилось. Кончились дикая пляска цифр, лихорадка покупок, зарплата, скачущая каждые три месяца в тщетной попытке угнаться за индексом цен. То есть, конечно, инфляция сохранилась, но она вошла в заранее отведенные ей берега. После трехзначных (а в перспективе — и четырехзначных) цифр скромные 16—20

Рафаэль Шапиро

МЕНЬШЕЕ ИЗ ЗОЛ

процентов воспринимались почти как стабильность.

Но самое неожиданное, что превращение совершилось на удивление быстро и как-то даже подозрительно легко. Получилось, что достаточно нескольким людям договориться, и чудище исчезнет без следа — будто его и не было. Что же это за такой феномен, израильская инфляция?

1. Странная инфляция. Инфляцию обычно связывают с двумя обстоятельствами: с недостатком товаров и с избытком денег в обращении. Действие первого из этих факторов привычнее и нагляднее. Когда масса товаров в стране недостаточна, чтобы удовлетворить спрос, возникает своеобразная конкуренция между потребителями. Приметы такой конкуренции нам хорошо знакомы: очереди, добывание дефицита по блату, черный рынок с его собственной шкалой цен. Подобная ситуация возникает при расстройстве производственного механизма, вызванном либо экстремальными обстоятельствами, либо действиями правительства, противоречащими фундаментальным экономическим законам. Так было в Германии и России после первой мировой войны; в Советском Союзе — начиная с 30-х годов, с эпохи индустриализации и коллективизации.

В Израиле середины восьмидесятых годов ничего этого не было. Производство функционировало нормально, магазины были полны товаров. Только таблички на товарах менялись ежедневно: цены будто исполняли фантастический танец, стремительно карабкаясь вверх.

Почему же продавцы поднимали цены? Очевидно, потому, что покупатель платил. А почему он платил? Потому что знал: какой бы высокой ни была сегодняшняя цена, завтра она будет еще выше. А раз так, значит, купив сейчас, он в любом случае выиграет: чуть больше или чуть меньше. Возник национальный вид спорта: брать в банке деньги "в минус" и покупать, покупать, покупать, мясо — на два и на три месяца вперед; туфли, которые, может быть, понадобятся в будущем году; новый автомобиль, хотя старый совсем неплох. Покупать, ибо завтра все будет дороже.

Деньги? Но, во-первых, заранее известно, что через три месяца зарплата повысится. А во-вторых, разве постоянно меняющиеся банкноты — это деньги? Деньги — это доллары, фунты, марки. От бумажек же со многими нулями нужно избавляться как можно скорее, пока они хоть что-то стоят. Финансовое искусство стало определяться умением тратить деньги быстро и хоть с каким-то

подобием смысла. И в этом искусстве, в искусстве балансировать на нарастающей волне инфляции, многие достигли высокого мастерства. Позднее они вздыхали. Похоже, нет такой напасти, об избавлении от которой хоть кто-нибудь не пожалел...

Для нас, однако, важен рядовой израильтянин. Не тот, кто ревился на волне инфляции, а тот, которого она несла и который думал лишь о том, чтобы окончательно не потерять равновесия, не захлебнуться. Этот израильтянин настолько устал, что был готов на жертвы, лишь бы остановить свистопляску. В этой — необычной для Израиля готовности — и следует искать ключ к успеху пакетной сделки.

Разумеется, я имею в виду не только (и даже не столько) рядового гражданина. Речь идет и о правительстве, согласившемся, наконец, умерить свои аппетиты, и об отдельных министрах, изъявивших готовность сократить расходы в "своих" министерствах, и о частных предпринимателях, которым пришлось искать иные способы повышения рентабельности, кроме привычного вздувания цен, и о профсоюзах, решившихся на время отказаться от своей главной цели — "борьбы за интересы трудящихся".

Теперь, оглядываясь назад, понимаешь, что удивляться надо не тому, что инфляцию удалось остановить так быстро, а тому, что она свирепствовала так долго. Ведь эта инфляция была порождена причинами не столько экономическими, сколько психологическими. Грубо говоря, инерцией — общей привычкой тратить больше, чем ты вправе себе позволить, больше, чем у тебя есть. Пример, понятно, подавало правительство, "зарабатывающая" отсутствующие средства займами и печатным станком. Часть этих "воздушных" денег перепала гражданам. И по мере того, как их масса росла, деньги становились все "воздушнее". То, что легко дается, легко и тратится.

Диковатая идея министра финансов Иорама Аридора — жестко связать шекель с долларом — не случайно вызвала всеобщее возмущение. Смысл ее в сущности сводился к тому, чтобы напомнить всем (и правительству, и гражданам), что жить надо по средствам, тратить лишь то, что зарабатываешь. Мы же привыкли (я снова имею в виду всех — прежде всего правительство) к обратной механике. К ситуации, когда траты определены заранее, остается отыскать средства.

Воздействие избытка денег, этого второго инфляционного фактора, отнюдь не так просто. Теоретически легко представить себе

вариант, когда “избыточные” деньги идут в накопление, оседая в программах и на личных счетах в банках. Однако на практике так обычно бывает лишь при отсутствии в магазинах нужных товаров. Скажем, в Советском Союзе вклады населения (“отложенный спрос”) в конце прошлого года составляли 282 миллиарда рублей — сумма астрономическая. У нас положение другое. Типичный израильтянин, если у него есть свободные деньги, их тратит. И хотя товарный голод нам не грозил, торговец (по самому роду занятий склонный к повышению цен), кожей чувствовал, что покупатель не будет жаться. Цены стали расти, и этот процесс, постепенно ускоряясь, захватил и ту часть населения, которая предпочла бы деньги откладывать. Поскольку же откладывать их стало невыгодно (никакая программа уже не могла угнаться за ростом цен), масса денег в обращении неудержимо росла. Соответственно росли и цены. Возникла цепная реакция.

Реформа 1985 года практически не затронула экономическую структуру страны. Пакетная сделка лишь зафиксировала реальности, существовавшие в тот момент. Переход к новому шекелю тоже был средством скорее психологическим, чем экономическим. И если столь простых мер оказалось достаточно, чтобы резко изменить положение, объяснение тут может быть только одно: инфляция таких масштабов носила искусственный характер. Искусственный — в том смысле, что не отражала истинного состояния израильской экономики.

Вместе с тем инфляционные тенденции, несомненно, существовали. И эти тенденции нашли отражение в пакетной сделке. Целью реформы было не остановить, а всего лишь “притормозить” инфляцию, свести ее с небесных высот в сотни и тысячи процентов к земным, измеряемым двузначными цифрами.

Почему именно двузначными? Официальные объяснения свелись к тому, что чересчур резкий переход потребовал бы слишком крутых, очень уж болезненных мер, в частности, вызвал бы резкий рост безработицы. Я, однако, подозреваю, что была и другая причина. Все участники сделки хотели сохранить поле для маневра. Понятно, для маневра собственного, функционально обусловленного. Правительство — для выпуска в обращение дополнительных денег; частные предприниматели — для повышения цен; профсоюзы — для борьбы за “справедливую” оплату

труда. Иначе говоря, за возможность и дальше активно участвовать в дележе национального пирога.

Трудно сказать, было ли это желание продиктовано преимущественно необходимостью или главную роль сыграли амбиции — фактор, который тоже не следует сбрасывать со счета. В любом случае авторы реформы не могли не понимать, что планируемые темпы инфляции подобны мине замедленного действия.

Вообще отношение не однозначно. Вроде бы все согласны, что инфляция — социальное зло. Тем не менее многие специалисты считают, что в небольших масштабах она даже полезна, ибо приносит так называемый эмиссионный доход и способствует оживлению экономической деятельности. Если это и верно, то лишь при условии, что инфляция сохраняется в определенных пределах. Пределы эти известны: 2—4 процента. Вспомним, что одним из главных достижений администрации Рейгана было именно снижение инфляции с 7—8 до 2—3 процентов.

В чем магия этих цифр? Во-первых, в таком случае избыток денег в обращении уравнивается ростом производительности труда, то есть увеличением товарной массы. Во-вторых, при темпах инфляции, соответствующих общепринятым, курс местной валюты остается неизменным по отношению к денежным единицам ведущих стран: доллару, фунту, немецкой марке, франку, иене. А это, в свою очередь, стабилизирует экономическое положение в стране. Авторы реформы 1985 года, ориентируя израильское хозяйство на инфляцию в пять-восемь раз превышающую стандарт, не могли не знать, что это чревато последствиями.

Чем именно? Все еще слишком большими расходами правительства. Более высокой, чем страна могла себе позволить — при данной производительности труда, — заработной платой. Пассивным внешнеторговым балансом. Наконец, запланированными темпами инфляции — куда более высокими, чем в США и странах Европы.

Арифметика тут простая. Если предприятие платит своим работникам за ту же продукцию больше шекелей, а шекель на международном рынке остается на прежнем (уже мифическом) уровне, значит цена этой продукции должна постоянно повышаться, и со временем ее перестанут покупать. Чтобы этого не допустить, государству придется доплачивать экспортеру разницу между себестоимостью изделия и особой, искусственно заниженной экспортной ценой. А поскольку своих денег у государства нет, эту

игру в устойчивую валюту будем оплачивать мы сами. Получится, что экспорт (или, по крайней мере, значительная его часть) станет приносить нам не прибыль, а убытки.

Сейчас, когда естественное развитие событий привело страну к очередному "перевалу", политики занялись поисками виноватых. Легче всего обвинить в грехах недавнего министра финансов Моше Нисима. Это он своевременно не провел девальвацию шекеля, которая была необходима. При этом как-то забывают, что если уж быть последовательным, то следовало бы сделать курс шекеля "плавающим" или хотя бы девальвировать его каждый год. Легко себе представить, как отразилось бы это на экономической стабильности в стране, какая бы возникла чехарда спекуляций и требований о повышении зарплаты! А как это повлияло бы на внешнеторговый баланс, на валютные запасы страны?

Понижение курса валюты – прием известный. Он позволяет удешевить продукцию и повысить ее конкурентноспособность на внешнем рынке. Выгоды тут очевидны. Но – при одном условии. Страна должна располагать такими запасами экспортной продукции, которые позволят перекрыть потери, вызванные снижением экспортных цен.

Можно ли сказать, что склады в Израиле ломятся от избытка товаров, которые не экспортируются только из-за завышенного курса шекеля? К сожалению, сказать этого нельзя. И обязаны мы этим отчасти все той же реформе 1985 года.

Идеальных экономических решений не бывает. В экономике действует свое "правило рычага": выигрывая в одном, неизбежно проигрываешь в другом. В 1985 году, чтобы затормозить инфляцию, пришлось ввести контроль за ценами и зарплатой, то есть ограничить действия внутреннего механизма свободного рынка. Рынок отреагировал соответственно – снижением конкуренции. Разумеется, власти определили лишь "потолок", верхний предел цен: назначать цены ниже этого предела никому не возбранялось. Однако для производителя это было бы психологическим нонсенсом: продавать дешевле, чем от тебя требуют. Цены (в массе своей) уперлись в установленный государством потолок, причем основные усилия производителей сосредоточились на том, чтобы так или иначе этот "потолок" поднять. Такой способ извлечения добавочной прибыли куда проще и вернее, чем трудоемкая работа по снижению себестоимости или поискам новых рынков сбыта. И уж вовсе не было смысла осваивать

новую продукцию — с улучшенными потребительскими качествами. Для этой продукции пришлось бы “выбивать” повышенную цену, доказывая, что такая цена оправдана. Дело нелегкое, поскольку чиновник поставлен не затем, чтобы утверждать исключения из правила, а для того, чтобы правила соблюдались. В данном же случае — правило сводилось как раз к сохранению цен.

И замораживание зарплаты было мерой не совсем безобидной. Верно, что пакетная сделка на время приглушила общее стремление добиваться повышения зарплаты, независимо от результатов труда. Но одновременно она лишила людей и стимула работать лучше. Возникла ситуация, напоминающая советскую — когда оплата определяется не трудом, а фондом зарплаты.

Правда, даже в таких обстоятельствах мы не почувствовали ни нехватки товаров, ни снижения их качества. Но не ощущался и тот избыток товаров, который вынуждает западногерманского или японского предпринимателя снижать цены, устраивать грандиозные распродажи, искать рынки сбыта в Ливии и на Мадагаскаре. Вообще наш предприниматель — патриот. Рискованному и капризному внешнему рынку он предпочитает израильский — спокойный, надежный, почти беспроегрешный. Многолетний опыт приучил его к тому, что рано или поздно товар купят, а если он и понесет убытки, государство найдет способ их возместить. Ведь предприятия у нас все подряд — особенные: одно способно лишить страну воды или электроэнергии, другое символизирует национальный образ жизни, третье опирается на поддержку всемогущего Гистадрута... Стоит ли выкладываться?

Эти тенденции — и без того достаточно выраженные — реформа 1985 года только усилила. Так что не стоит удивляться косности министра финансов. Моше Нисим вовсе не был уверен, что девальвация шекеля приведет к затоплению мировых рынков израильскими товарами, зато имел все основания ожидать, что экономическая стабильность нарушится, страну захлестнет новая волна самых разных требований: о повышении зарплаты и сокращении рабочего дня, увеличении потолка цен и выделении дополнительных субсидий. В этих условиях следовало не раз и не два подумать, прежде чем решиться нарушить то хрупкое равновесие, которое принесла с собой пакетная сделка.

2. Экономика и психология. Принято считать, что дипломатия есть искусство возможного. В Израиле это определение вполне

приложимо к экономике. Шимон Перес, едва став министром финансов, предложил правительству новую программу реформ. Его предшественник, Моше Нисим, слегка даже обиделся: программа была разработана при нем. Перес не возражал, но заметил, что главное — не разработать программу, а осуществить. При этом никого не удивило, что социалист Перес без всяких оговорок принял проект либерала Нисима, а правительство, составленное из представителей разных партий, ее утвердило. Правда, отдельные министры, как обычно, возражали. Однако спор шел о бюджетах конкретных министерств, а отнюдь не об общих принципах.

Причины этого редкого для Израиля единодушия очевидны. Все понимают, что предлагаемая программа — единственно возможная. Или, если быть вполне точным, единственная, имеющая шансы на успех. (В этом, кстати, одна из главных причин создания нынешней коалиции. Любое правительство вынуждено было бы принять примерно такую же программу. Но только у сильной коалиции — с Пересом во главе министерства финансов — есть надежда ее реализовать.)

Ключевые пункты новой программы известны. Рост объемов производства в 1989 году на 5—6 процентов. Снижение темпов инфляции до 8 процентов годовых. Увеличение экспорта на 9 процентов. Ясно, что сами по себе эти цели возражений не вызывают. Вопрос лишь в том, как их достичь, за счет чего и кого? А без жертв не обойтись. Легко догадаться, что если бы эта программа не требовала жертв со стороны общества, то она давно была бы осуществлена. Речь, таким образом, идет не о целях, а о средствах.

Что, например, нужно, чтобы повысить экспорт на 9 процентов? Конечно, прежде всего — увеличить общий выпуск продукции, причем такой, которая пользуется спросом на мировом рынке. Далее (об этом как раз и свидетельствуют приведенные выше цифры) необходимо перераспределить национальный продукт: несколько сократить потребление внутри страны и освободившиеся товары направить на внешний рынок.

Понятно, что увеличение производства на 5—6 процентов потребует средств: на приобретение оборудования и сырья, модернизацию предприятий. Если не прибегать к новым займам (а тут мы давно дошли до предела), значит деньги надо искать в Израиле. Здесь есть всего две возможности: сокращение расходов государства и расходов (доходов) граждан. Думаю, в принципе

все с этим согласны. Расхождения возникнут (и уже возникли), если дело дойдет до того, что же именно сокращать.

Вопреки распространенному мнению, выбор и тут не так широк. Новый министр финансов недавно привел удручающую цифру: на выплату долгов уходит теперь уже половина (точнее 2/5) бюджета. Из оставшейся половины главную часть составляют расходы на оборону, здравоохранение, просвещение и субсидии — продуктовые, транспортные и всякие иные.

Конечно, каждый из нас может сказать немало злых слов по поводу “прочих” государственных расходов. По числу министерств мы уступаем, кажется только одной сверхдержаве, зато заметно опережаем другую. Не испытываем мы недостатка и в чиновниках. Говорят, что в министерствах у нас есть специалисты по заполнению верхней части бумажки и, отдельно, по нижней. И уж вовсе нелепо было бы требовать, чтобы тот, кто эту бумажку подписывает, еще и ставил печать...

Будем, однако, объективны. На этих чиновниках (и даже этих министрах) много не съэкономишь — уже хотя бы потому, что безработным чиновникам тоже надо платить. Если же иметь в виду действительно крупные суммы, то разговор снова вернется в знакомые сферы. В сферы, где, строго говоря, расходы надо не сокращать, а увеличивать. Потому что просвещение — это наше будущее, здравоохранение — здоровье каждого из нас, оборона — жизнь страны. И можно ли сокращать субсидии, когда в Израиле столько семей с низкими доходами: многодетные, пенсионеры, молодежь, люди, живущие на социальное пособие?..

Объяснять это как-то неловко, ибо читатель все это знает и без меня. Однако в последнее время в израильской печати появилось множество материалов, разъясняющих (будто в этом есть надобность), к каким последствиям приведет сокращение расходов на оборону, просвещение, здравоохранение и прочее. Типичный пример — статья Ави Темкина “Будущее по профессору Бруно”, опубликованная 6 января в газете “Джерузалем пост”.

Как следует уже из названия, автор убежден, что “план Переса” разработан директором Государственного банка Михаэлем Бруно. По-видимому, так это и есть, но это не важно. Важно, что план, по мнению автора статьи, плох. А плох он потому, что исходит из идей известного американского экономиста, лауреата Нобелевской премии Милтона Фридмана.

Суть этих идей известна: упор на частное предпринимательство,

ограничение вмешательства государства в экономику и жизнь граждан. Так, по Фридману, государству следует стремиться к снижению налогов до уровня общественно необходимого. Все, что сверх того, надлежит оставить в распоряжении граждан, предоставив человеку возможность расходовать деньги по своему усмотрению: на лечение, обучение детей в университете и т. д. Высокие налоги, утверждает Фридман, ведут к "уравниловке", снижая стимулы к труду, что в конечном счете замедляет темпы роста, создает обстановку экономической стагнации.

Экономика свободного рынка, объясняет автор статьи в "Джерузале пост" — жестокая экономика. Это правда. Англичанам при Маргарет Татчер пришлось крепко затянуть пояса, прежде чем страна начала становиться на ноги. Но в том, что перелом обозначился, сейчас уже нет сомнений. Англия теперь заметно богаче и обильнее, чем пять лет или даже два года назад. Одной из первых акций Рональда Рейгана было увольнение десятков тысяч авиадиспетчеров, объявивших незаконную забастовку. Эта мера была не только жестокой, но и рискованной: новые диспетчеры не всегда обладали нужной квалификацией. Однако действия Рейгана сразу же доказали серьезность его намерений и задали тон. Американская экономика и ныне далека от идеала. Но инфляция в стране снизилась, безработица минимальна — надо признать, что рейгономика пользуется в стране широкой поддержкой.

И еще один пример, относящийся в разным полюсам. Сам Милтон Фридман охотно вспоминает свои поездки в Чили и Китай. В Чили Фридмана пригласили молодые профессора, поклонники его идей, — в либеральных кругах поездка "к Пиночету" была воспринята с возмущением. В Китае с Фридманом беседовали руководители государства: в тех же либеральных кругах интерес коммунистов к "консерватору" и "реакционеру" вызвал некоторую оторопь.

Нас, однако, интересует практическая сторона дела. А состоит она в том, что обе страны использовали идеи Фридмана. О том, как это отразилось на экономике Китая, знают многие. Менее известно, что по экономическим показателям Чили опережает сейчас все другие страны Латинской Америки.

Разумеется, наивно думать, что "рецепт Фридмана" пригоден на все случаи жизни и гарантирует стопроцентный успех. Однако опыт показывает, что противоположный путь (назовем его, несколько условно, социалистическим) не оставляет никаких на-

дежд. Пример страны, которая, обладая самыми богатыми в мире природными ресурсами, не способна обеспечить своим гражданам даже прожиточного минимума, говорит о многом. Не секрет, что программа Горбачева эффективна ровно в той степени, в какой она приближает страну к условиям свободного рынка. К сожалению, до этого еще очень далеко. Отсюда и результаты.

Израиль живет по законам свободного рынка. Именно следование этим законам позволяет небогатой стране, обремененной долгами и военными расходами, поддерживать сравнительно высокий уровень жизни и не знать товарного дефицита. Однако по нынешним временам одного этого мало. Мир стремительно идет вперед, в число промышленно развитых стран включаются новые государства (скажем, Бразилия) и новые районы — Юго-Восточная Азия, например. Конкурентная борьба за рынки сбыта обостряется. Со вчерашним багажем нынче не проживешь. А мы в Израиле упорно цепляемся за догмы, уверяя себя, что лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным.

Конечно, лучше — кто спорит. Увы, дилемма выглядит иначе. Продолжая в том же духе, страна рискует однажды увидеть себя и бедной, и больной. Проблема не в том, что хорошо и что плохо, что справедливо, а что — не очень. Проблема в том, что у нас нет выбора. Израиль — не то государство, которое может позволить себе самоизолироваться, жить на основе собственных — справедливых — принципов. Чтобы жить, Израиль должен покупать, а следовательно, и продавать. На мировом же рынке справедливость не котируется. Котируется конкурентоспособность.

Можно долго перечислять объективные факторы, ограничивающие экспортные возможности Израиля. Зависимость от привозного сырья. Нехватка средств на научно-исследовательскую работу и модернизацию оборудования. Арабский бойкот. Высокие транспортные расходы. И так далее. Однако любой такой перечень будет неполным, если не добавить еще один фактор — субъективный. Специфически израильскую психологию, в которой социалистические элементы причудливым образом уживаются с патриархальными, сохранившимися у нас со времен британского мандата.

Психология эта многолика. Она проявляется, например, в святой вере во всемогущество некоего дяди (государства, общества, Гистадрута), который способен отменить или изменить экономические реальности, мановением жезла превращая убыточное

предприятие в прибыльное. Естественно, что выход из трудной ситуации мы ищем не внутри системы (выход всегда тяжелый и непопулярный: смена руководства, сокращение штатов и прочее), а вовне — в том, чтобы уговорить этого дядю помочь нам или, что еще эффективнее, заставить его помочь.

Следует признать, что до сих пор оба приема действовали почти безотказно. Этому способствовала и реакция “публики”. Израильское общество с благожелательным интересом наблюдало за исходом очередного поединка: “Эль-Аль” против правительства... “Хеврат хашмаль”... врачи... учителя... инженеры... медсестры... радио... телевидение... кооператив “Эгед”... Иногда побеждало правительство, чаще — оппоненты. В любом случае основные убытки несли болельщики. Это они оставались без медицинской помощи, это их дети не учились, это им предстояло выплачивать высокие налоги, чтобы погашать все растущий государственный долг.

Мы настолько привыкли к такому порядку вещей, что разучились удивляться. Давно известно, что в компании “Солель боне”, в концерне “Кур”, в кооперативе “Эгед”, в медицинской кассе “Купат холим” дела обстоят более чем неблагоприятно. Наверное, в каждом случае на то есть свои, особые причины. В одном — содержание тысяч (!) лишних работников, в другом — неоправданно высокие зарплаты, в третьем — слабое руководство.

Но разговор не о том. Характерно, что никого при этом не тревожило то обстоятельство, что предприятие, сам смысл существования которого состоит в получении прибыли, приносило убытки. Видимо, мы исходили из того, что в хозяйстве существуют два сектора, каждый из которых живет по своим законам. Частный, на него действительно распространяются правила свободного рынка (прибыль, конкуренция и т. д.) и общественный — у которого совсем другие цели. Разумеется, неплохо, если он тоже приносит прибыль, но в общем это не обязательно. Мы должны быть ему благодарны уже за то, что он существует и как-то удовлетворяет общественные потребности (самолеты летают, автобусы ходят, врачи лечат), а уж как они там летают, ходят, лечат и во что это все обходится — вопрос второстепенный.

Я вовсе не упрощаю проблему. В каждой стране есть отрасли хозяйства, которые государство поддерживает регулярно или периодически, в чрезвычайных обстоятельствах. Скажем, значи-

тельная часть средств Европейского сообщества расходуется на помощь сельскому хозяйству государств, входящих в Общий рынок. Равным образом во многих странах субсидируется транспорт. Наконец, после небывалой засухи, поразившей в прошлом году Соединенные Штаты, Конгресс принял программу чрезвычайной помощи фермерам.

Однако — и это следует подчеркнуть — общественная помощь убыточным предприятиям всегда обусловлена жесткими требованиями. Одно из таких требований: убыточное предприятие должно доказать, что оно действует предельно рационально и экономно, а убытки вызываются причинами, от него не зависящими. Как известно, к предприятиям, приносящим прибыль, общество куда менее сурово. Оно и понятно: в конечном счете это личное дело акционеров. Но если общество покрывает убытки предприятия, оно хочет быть уверенным, что платит не зря.

Кстати, американский Конгресс, приняв программу помощи хозяйствам, пострадавшим от засухи, четко обозначил ее пределы. Фермер, потерявший менее 35 (!) процентов урожая, не мог рассчитывать на помощь правительства; потерявший больше — получал частичную компенсацию. Отвечая на вопросы корреспондента, помощник министра сельского хозяйства США Ивен Вилсон признал, что помощь федерального правительства спасет от разорения далеко не всех фермеров. “Я полагаю тем не менее, — заметил он осторожно, — что таких фермеров будет не очень много”.

А что будет с этими немногими? Они разорятся, и государство их не спасет. Не потому, что государство плохое, а потому, что его возможности (даже возможности США!) ограничены. Допускаю, что американское правительство могло бы сделать для фермеров исключение (в результате государственный долг США, и без того астрономический, вырос бы еще на несколько миллиардов), но в Америке — при всех ее бесконечных тратах — понимают опасность исключений.

У нас же исключений столько, что не поймешь, есть ли правила. В любопытной статье “Теперь на повестке дня — “Эгед” редактор газеты “Наша страна” Ш. Гимельфарб ярко описал насос для выкачивания общественных денег, сконструированный кооперативом-монополистом. Не думаю, чтобы устройство этого механизма и раньше составляло тайну. Но насос работает давно и безотказно. Даже сейчас, когда скандал принял угрожающие раз-

меры, кооператив спокойно отклонил рекомендации министерства финансов. Пайщики "Эгеда" свято верят, что правительство в очередной раз сделает исключение, ибо государственные деньги — не деньги, кто их считает...

Утверждают, что долги кибуцев и мошавов исчисляются в миллиардах шекелей. Да, говорят нам, но в кибуцах живет 3,2 процента населения Израиля, и эти 3,2 производят 40 процентов всей сельскохозяйственной продукции страны и 8 процентов ее промышленной продукции. Хорошо, а много это или мало? И во что обходится эта продукция? Наверно, все-таки мало (вспомним, что американские фермеры, составляющие от силы 4 процента населения США, кормят не только всю страну, но и половину земного шара), а продукция их стоит слишком дорого. Если нет, тогда откуда долги? И снова нам объясняют, что долги — это, конечно, плохо, но зато "в кибуцах связь между экономикой и обществом видна более четко, чем в любом другом месте". Связь — штука отличная, даже замечательная. Но все-таки, как же быть с экономикой? Кто конкретно должен покрывать эти долги?

Нельзя сказать, что в самих кибуцах об этом не думают. Решение создать кибуцную промышленность как раз и продиктовано желанием найти выход из положения. Выход и в самом деле разумный: квалифицированные кадры, свободное время, возможность обеспечить работой собственную молодежь. Но... Но в кибуцах, как известно, действует принцип ротации. Принцип этот основан на предположении, что все мы равны. Пусть сегодня я работаю в столовой, зато завтра возглавляю кибуцное предприятие — скажем, завод по производству тонкой оптики. Как мое назначение отразится на заводских делах? Это не так уж важно. Важен принцип.

Странно, но именно приверженцы Маркса с поразительной легкостью игнорируют основную идею учителя — примат экономики. Их заботит что угодно (идеология, социальная справедливость, равноправие), но только не интересы производства. Социалисты исходят из того, что во имя высших целей производству можно навязать любую систему отношений. Навязать действительно можно. Однако надо быть готовым к тому, что "распределить по справедливости" будет нечего.

Классический пример такого подхода дает нам Советский Союз. Понятно, в Израиле до этого не дошли. Но и у нас любые экономические меры рассматриваются под углом зрения не столько их

экономической целесообразности, сколько их соответствия принципам справедливости. А поскольку таких мер, которые не требовали бы жертв со стороны тех или иных социальных групп, просто не существует, можно было заранее предсказать, какую реакцию вызовет новая реформа.

3. Интересная ситуация. Все мы согласны, что так продолжаться не может, надо что-то менять. В общем, мы даже понимаем, что именно: надо увеличивать производство, расширять экспорт, сокращать потребление. Но как только дело дошло до конкретных решений, выяснилось, что все против. Может быть, предложенная программа не идеальна, есть лучшие возможности? Но альтернативных вариантов никто не предлагает. Зато газеты снова и снова твердят, что оборона, просвещение, здравоохранение — неприкосновенны. Неприкосновенен, утверждают профсоюзные лидеры, и уровень жизни работающих по найму: всякое повышение цен (например, в результате сокращения субсидий) должно компенсироваться ростом зарплаты. Тогда какой во всем этом смысл? А никакого. Но смысл никого не волнует. Каждый социальный институт выполняет свои, будто раз навсегда заданные функции. Функция министра — защита интересов своей сферы; функция Гистадрута — защита интересов работающих по найму. Эти функции они и выполняют.

Как же в подобных условиях правительство сможет реализовать свою программу? А это его забота. Похоже, мы верим, что и на сей раз правительство “вывернется”, — как выворачивалось уже не однажды. И эта опасность действительно существует. Ибо лавировать (особенно при равновесии партийных сил) куда легче, чем плыть против течения. Не требуется особой изобретательности, чтобы предсказать вероятные варианты. В чем-то уступить Гистадруту, слегка увеличить налоги с богатых, взять еще несколько миллиардов в долг...

Правда, с течением времени выяснится, что результаты отличаются от ожидаемых. Производство осталось на точке замерзания, экспорт, хотя и поднялся, но незначительно (зато заметно вырос импорт), инфляция не сократилась. А проценты по долгам настолько подскочили, что какой-нибудь шутник предложит впредь именовать бюджет не государственным, а долговым — так оно будет вернее.

Если же говорить серьезно, то положение куда тяжелее, чем мы предполагаем. Страна дошла до состояния, когда нужна операция,

а безболезненных операций, увы, не бывает. И надо ясно представлять, кому придется нести основные жертвы. Не самым бедным — с них нечего брать. Не самым богатым — с них не возьмешь. Среднему классу. Тем, кому и без того плохо, кому постоянно не хватает зарплаты. А нести эти жертвы придется, потому что в противном случае завтра будет еще хуже. Слишком долго мы жили в долг, потребляя больше, чем производим.

Вопрос сейчас не в том, кто виноват в нынешней ситуации, а в том, как из нее выбраться. Выход, по-моему, только один: предоставить приоритет развитию тех предприятий и отраслей, которые приносят прибыль — прежде всего в валюте. Или еще шире: изменить сам подход к производству, признав, что первым и главным критерием общественной полезности предприятия служит рентабельность. Разумеется, есть сферы деятельности, где этот критерий должен использоваться с осторожностью — например, здравоохранение или просвещение. Но и тут важно понять, что благие цели, ради которых существует данная сфера, не избавляют ее от обязанности жить по средствам. Прежде чем тратить больше (а тратить больше, безусловно, нужно), эти средства надлежит заработать. Вот это простое правило — сначала заработать, потом тратить — мы никак не можем усвоить.

Не секрет, что основные надежды Израиля связаны с частным предпринимательством. У капиталиста множество недостатков, но есть и достоинство — он органически не может работать себе в убыток. Если бы этот принцип действовал у нас повсеместно, в стране не было бы ни такого "Кура", ни такого "Эгеда", ни кибуцев, для которых "образ жизни" важнее рентабельности. А значит, не было бы и миллиардных убытков, которые — под псевдонимом государства — возмещает налогоплательщик.

Велик соблазн взвалить на этого проклятого капиталиста и все наши заботы, обложив его всеми мыслимыми и немыслимыми налогами: на прибыль, сверхприбыль, виллу, машину. Однако, если мы хотим, чтобы капиталист вкладывал средства в израильскую экономику (а иной возможности реализовать новую программу у нас нет), мы будем вынуждены сделать так, чтобы ему это было выгодно. Это у нас нет выбора (разве что эмигрировать), зато у него выбор есть. В мире сейчас сколько угодно мест, где люди согласны довольствоваться малым, только бы не сидеть без работы. (В этих условиях рост безработицы в Израиле — обстоятельство, над которым стоило бы задуматься всем, вклю-

чая руководителей профсоюзов). Стремительный подъем экономики в Испании, Южной Корее, Бразилии, Сингапуре обусловлен как раз этими, сугубо прозаическими причинами.

Недавно Шимон Перес, возражая ревнителям "идеи", осторожно заметил, что если Советский Союз использует помощь капиталистов, то почему бы не сделать того же Израилю? Но если так, видимо стоит учесть соответствующий опыт. В январе 1987 года ЦК КПСС и Совет Министров приняли постановление с длинным и неудобопроизносимым названием "О порядке создания на территории СССР и деятельности совместных предприятий с участием советских организаций и фирм капиталистических и развивающихся стран".

Ну, развивающиеся страны упомянуты для "порядка" — трудно представить себе, чтобы Советский Союз был очень уж заинтересован в сотрудничестве с Ботсванной. Имелись в виду, понятно, страны Запада. Это на их деньги, оборудование, технологию, опыт делалась ставка. Расчет был беспроегрешный. Огромные запасы сырья, дешевая (и не бастующая) рабочая сила, практически неограниченный рынок сбыта — все это, вроде бы, должно было привлечь алчных капиталистов. И поскольку было очевидно, что от желающих не будет отбоя, советское руководство обусловило свое согласие на создание совместных предприятий рядом жестких ограничений. Доля советской стороны в уставном фонде должна составлять не менее 51 процента. Председателем правления и генеральным директором совместного предприятия может быть лишь гражданин СССР. В случае передачи иностранным участником своей доли третьим лицам советские участники имеют преимущественное право на приобретение этой доли...

В декабре прошлого года Совет Министров принял новое постановление "О дальнейшем развитии внешнеэкономической деятельности..." Пересказывать этот документ долго и скучно. Отмечу лишь, что большинство прежних ограничений снято. Причина ясна: расчет на капиталиста, который ради прибыли согласится на любые условия, не оправдался.

Более того, тогда же, в декабре, "Известия" напечатали беседу с председателем Ассоциации японо-советской торговли Тэцуо Сато. В беседе перечислено десять требований, выполнение которых японцы считают необходимой предпосылкой развития экономических связей. Таким образом, условия ставит уже не Советский Союз, а капиталисты!

Разумеется, мы в другом положении. Смешно было бы требовать от Израиля “развития инфраструктуры” (прокладки дорог, создание современных средств связи и т. д.), а равно снабжения работников совместных предприятий жильем, продуктами и товарами. Или вводить у нас “японские бухгалтерские методы”, которые “охватывают не только объемы сделки, но и контроль за качеством выпускаемых товаров, перспективы реализации продукции, расходы на управление, складирование и т. д.”

Инфраструктура у нас, слава Богу, давно создана, а “японскими” методами расчета мы владеем. И все-таки кое-какой урок нам тоже стоит извлечь. Владелец капитала нынче разборчив, на любые условия он не пойдет. Если мы хотим, чтобы иностранные (да и местные) капиталисты вкладывали деньги в наше хозяйство, надо предоставить им хотя бы такие же условия, как в других странах. Давать капиталистам уроки “социальной справедливости” — занятие пустое. По крайней мере до тех пор, пока не они заинтересованы в нас, а мы в них.

Дело не только в налогах. Дело еще и в государственном аппарате, который своими придирками, косностью, медлительностью способен отпугнуть самого смелого предпринимателя. В профсоюзах — готовых бастовать по любому поводу и без повода. Дело в самой психологии иждивенчества, которая проявляется у нас буквально во всем.

Недавно, например, провели забастовку работники авиационной промышленности (“Таасия авирит”), где оплата труда, как известно, не самая низкая в Израиле. Причина: отказ администрации выплатить надбавку к зарплате. Правда, компания оказалась в тяжелом положении — 1987 год принес ей около 100 миллионов долларов убытков. Но это, по мнению представителя рабочего комитета, не довод. “Администрация не имеет права наказывать нас дважды, — объяснил он. — Первый раз нас наказали, когда уволили почти четыре тысячи человек в связи с закрытием проекта “Лави”, и второй — сейчас”.

Допустим, что формально так оно и есть. Показательно, однако, что вопрос ставится в какой угодно плоскости, только не в экономической. Считается, что некто не только возместит компании убытки, но и даст деньги на выплату надбавки. Кто этот несметно богатый Крез? Разумеется, государство. К нему апеллируют все: промышленники, рабочие комитеты, банки, предприятия Гистадрута, городские власти, кибуцники, мошавники. Мысль о том, что

предприятие, приносящее убытки, есть нелепость, экономический нонсенс, никому не приходит в голову.

Новая программа — это попытка не только поднять производство, расширить экспорт, снизить инфляцию, это еще и попытка поставить экономику Израиля с головы на ноги. И успех программы будет во многом зависеть от того, пойдем ли мы, что иного выхода у нас нет. Либо мы предоставим правительству кредит доверия и согласимся нести жертвы, либо страна будет и дальше идти тем же путем — к пропасти. Тот факт, что край этой пропасти пока не виден невооруженным глазом, не должен нас обманывать.

А в том, что жертвы придется нести именно нам (больше просто некому) нет сомнений. Чтобы за год увеличить объем производства на 5–6 процентов, нужно вложить в хозяйство огромные средства. Часть этих средств предоставит государство, сэкономив — страшно подумать — на обороне и общественных нуждах; остальные должны дать мы. И не так уж существенно, каким способом — за счет прямого уменьшения зарплаты или снижений субсидий. Карман один, наш. И потреблять нам придется чуть меньше, чем мы привыкли. Ничего хорошего в снижении наших доходов, понятно, нет. Просто из двух зол разумный человек выбирает меньшее.

При всем том ситуация вовсе не выглядит трагической. В отличие от многих других, израильская экономика опирается на прочный фундамент: современные средства производства; люди, обладающие знаниями и опытом; здоровые в своей основе производственные отношения. Наши проблемы лежат скорее в сфере надстройки: идеологии, политики, психологии. Все эти барьеры тоже серьезные, но преодолимы. Задача в том, чтобы мы поняли, что иной возможности выжить у нас действительно нет, что на сей раз речь идет не об очередном переделе национального пирога, а о том, чтобы этот пирог увеличить. Только после того, как это удастся сделать, будет иметь смысл снова вернуться к спору, как его делить. Но если сегодня каждый из нас не захочет поступиться хоть какой-то частью пирога, завтра делить будет просто нечего.

Р. Шапиро — журналист, автор многочисленных научно-популярных книг, в настоящее время — постоянный экономический и политический обозреватель журнала "Страна и мир", живет в Иерусалиме; его статья "Параллели и меридианы", посвященная израильской экономике, была опубликована в "22" № 60.

Мы предлагаем читателям новую книгу известного советского математика и общественного деятеля, бывшего члена — учредителя Комитета защиты прав человека в СССР акад. И. Шафаревича. Автор известен также своей книгой "Социализм как явление мировой истории" и активным участием в сборнике "Из-под глыб". Новая книга И. Шафаревича является ярким манифестом одного из течений современного русского национализма. Ее сквозной пафос — возрождение национального самоуважения в русском народе. В авторской трактовке это связано с неприкрытым антисемитизмом, включающим временами и прямые выпады.

Мы думаем, что читателю, особенно — читателю еврейскому, как на Западе, так и в СССР, будет полезно познакомиться с этим первоисточником, прежде чем обсуждать различные отражения этой идеологии в общественной практике современной России.

Игорь Шафаревич

Как течет сейчас духовная жизнь нашего народа? Какие взгляды, настроения, симпатии и антипатии, — и в каких его слоях — формируют отношение людей к жизни? Если судить по личным впечатлениям, то размах исканий (и может быть, метаний?) необычайно широк: приходится слышать о марксистах, монархистах, русских почвенниках, украинских или еврейских националистах, сторонниках теократии или свободного предпринимательства и т. п. и т. д. И, конечно, о множестве религиозных течений. Но как узнать, какие из этих взглядов распространены шире других, а какие лишь отражают мнение активного одиночки? Социологические исследования на эту тему, кажется, не проводятся, да и сомнительно, дали бы они ответ.

Но вот случилось непредвиденное: в 70-е годы произошел взрыв активности именно в этой области. В потоке статей, передававшихся здесь из рук в руки или печатавшихся в западных журналах, авторы раскрывали свое мировоззрение, взгляды на различные стороны жизни. Судьба как будто приоткрыла крышку кастрюли, в которой варится наше будущее, и дала заглянуть в нее. В результате обнаружилась совершенно неожиданная картина: среди первозданного хаоса самых разнообразных, по большей части противоречащих друг другу суждений, обрисовалась одна четкая концепция, которую естественно счесть выражением взглядов вполне сложившегося, и сплоченного течения. Она привлекла много авторов, ее

поддерживает большинство русскоязычных эмигрантских журналов, ее приняли западные социологи, историки и средства массовой информации в оценке русской истории и теперешнего положения нашей страны. Приглядевшись, можно заметить, что те же взгляды широко разлиты в нашей жизни: их можно встретить в татре, кино, песенках бардов, у эстрадных рассказчиков и даже в анекдотах.

Настоящая работа возникла как попытка уяснить себе причины, вызвавшие это течение, и цели, которые оно себе ставит. Однако, как будет видно дальше, здесь мы неизбежно сталкиваемся с одним вопросом, находящимся под абсолютным запретом во всем современном человечестве. Хотя ни в каких сводах законов такого запрета нет, хотя он нигде не записан и даже не высказан, каждый знает о нем, и все покорно останавливают свою мысль перед запретной чертой. Но не всегда же так будет, не вечно же ходить человечеству в таком духовном хомуте! В надежде на возможного хоть в будущем читателя и написана эта работа.

В наиболее четкой, законченной форме интересующее нас течение отразилось в литературной продукции — ее мы и будем чаще всего привлекать в качестве источника. Укажем конкретнее, о какой литературе идет речь. Она очень обширна и растет от года к году, так что мы назовем только основные работы, чтобы очертить ее контуры. Началом можно считать появление в Самиздате сборника эссе Г. Померанца и статьи А. А. Амальрика в конце 60-х годов. Основные положения, потом повторявшиеся почти во всех других работах, были более полно развернуты в четырех псевдонимных статьях, написанных здесь и опубликованных в издающемся в Париже русском журнале "Вестнике Русского Студенческого Христианского Движения". С усилением потока эмиграции центр тяжести переместился на Запад. Появилось несколько сборников и статей, а также книги Б. Шрагина "Противостояние духа" и А. Янова "Разрядка после Брежнева" и "Новая русская правая". Близкие взгляды развивались в большинстве работ современных западных специалистов по истории России. Мы выберем в качестве примера книгу Р. Пайпса "Россия при старом режиме", особенно тесно примыкающую к интересующему нас направлению по ее основным установкам. Наконец, множество статей того же духа появилось в журналах, основанных на Западе недавними эмигрантами из СССР: "Синтаксис" (Париж), "Время и мы" (Тель-Авив), "Континент" (Париж).

Вот очень сжатое изложение основных положений, высказываемых в этих публикациях.

1. Историю России, начиная с раннего средневековья, определяют некоторые "архетипические" русские черты: рабская психология, отсутствие чувства собственного достоинства, нетерпимость к чужому мнению, холуйская смесь злобы, зависти и преклонения перед чужой властью.

2. Издревле русские полюбили сильную, жестокую власть и саму ее жестокость; всю свою историю они были склонны рабски подчиняться силе. До сих пор в психике народа доминирует "тоска по Хозяину".

3. Параллельно русскую историю, еще с 15-го века, пронизывают мечтания о какой-то роли или миссии России в мире, желание чему-то научить других, указать какой-то новый путь или даже спасти мир. Это "русский мессианизм" (а проще — "вселенская спесь"), начало которого авторы видят в концепции "Москвы — Третьего Рима", высказанной в 16-м веке, а современную стадию — в идее всемирной социалистической революции, начатой Россией.

4. В результате Россия все время оказывается во власти деспотических режимов, кровавых катаклизмов. Доказательство — эпохи Грозного, Петра 1, Сталина.

5. Но причину своих несчастий русские понять не в состоянии. Относясь подозрительно и враждебно ко всему чужеродному, они склонны винить в своих бедах кого угодно: татар, греков, евреев... только не самих себя.

6. Революция 1917 года закономерно вытекает из всей русской истории. По существу, она не была марксистской, марксизм был русскими извращен, переиначен и использован для восстановления старых русских традиций сильной власти. Жестокости революционной эпохи и сталинского периода объясняются особенностями русского национального характера. Сталин был очень русским явлением, его политика — это прямое продолжение варварской истории России, "Сталинизм" прослеживается в русской истории, по крайней мере, на четыре века назад.

7. Те же тенденции продолжают сказываться и сейчас. Освобождаясь от чужой и непонятной европеизированной культуры, страна становится все более похожей на Московское царство. Главная опасность, нависшая сейчас над нашей страной — возрождающиеся попытки найти какой-то собственный, самобытный путь развития. Это проявление исконного "русского мессианства". Такая попытка неизбежно повлечет за собой подъем русского национализма, возрождение сталинизма и волну антисемитизма. Она смертельно опасна не только для народов СССР, но и для всего человечества. Единственное спасение заключается в осознании губительного характера этих тенденций, в искоренении их и построении общества по точному образцу современных западных демократий.

8. Некоторые авторы этого направления высказывают бескомпромиссно-пессимистическую точку зрения, исключаящую для русских надежду на какое-либо осмысленное существование: истории у них вообще никогда не было, имело место лишь "бытие вне истории", народ оказался мнимой величиной, русские только продемонстрировали свою историческую импотенцию, Россия обречена на скорый распад и уничтожение.

Это лишь самая грубая схема. Дальше, по ходу нашего исследования, мы должны будем еще очень много цитировать авторов рассматриваемого направления. Надо надеяться, читатель сможет тогда более ясно почувствовать дух этих работ и тот тон, в котором они написаны.

Такая энергичная литературная деятельность с четко очерченными

взглядами отражает, несомненно, настроения гораздо более широкого круга, чем только сами авторы работ: она выражает идеологию активного, значительного течения. Это течение уже подчинило себе общественное мнение Запада. Предлагая четкие, простые ответы на центральные вопросы, связанные с нашей историей и будущим, оно, в какой-то момент, может оказать решающее влияние и на жизнь нашей страны. Конечно, историю движут не теории и концепции, а гораздо более глубокие и менее рациональные переживания, связанные с духовной жизнью народа и его историческим опытом. Вероятно, то отношение к истории и судьбе своего народа, те жизненные установки, которые важнее всего для нашего будущего, вызревают веками, продолжают создаваться и сейчас хранятся где-то в глубинах душ. Но пока все эти черты национального характера, традиции, чувства не нашли выхода в сферу разума, они остаются аморфными и мало действенными.

С другой стороны, четкая, безапелляционная, ярко сформулированная схема может захватить на время сознание народа, даже будучи совершенно чуждой его духовному складу — если его сознание не защищено, не подготовлено к столкновению с подобными схемами. Поэтому так важно было бы понять и оценить это новое течение.

2. Взгляд на русскую историю

Начать, конечно, надо с обсуждения конкретных аргументов, которыми авторы рассматриваемого направления подкрепляют свои взгляды. Такое обсуждение предпринималось уже не раз, и это облегчает мою задачу. Приведем краткий обзор высказанных при этом мыслей.

Декларируемый многими авторами тезис о "рабской душе" русского человека, о том, что в нем собственное достоинство было менее развито, чем у жителей Запада, трудно подкрепить какими-либо фактами.

Пушкин, например, считал, что соотношение — обратное. Мнениям приезжих иностранцев, видевших в России азиатскую деспотию, а в ее жителях — рабов, можно противопоставить мнения других иностранцев, пораженных чувством собственного достоинства у русского крестьянина или даже видевших в России "идеальную страну, полную честности и простоты". Скорее всего, и те, и другие очень мало знали реальную Россию.

Отношение к власти в Московской Руси никак не совпадает с "рабским подчинением". Термин "самодержец", входивший в титул русского царя, не означал признания его права на произвол и безответственность, а выражал только, что он — суверен, не является ничьим данником (конкретно — хана). По представлению того времени царь был ответственен перед Богом, религиозными и нравственными нормами, и царю, нарушающему их, повиноваться не следовало, идя, если надо, на муки и смерть. Яркий пример осуждения царя — оценка Грозного, не только в летописях, но и в народных преданиях, в одном из кото-

рых, например, говорится, что "Царь обманул Бога". Так же и Петр 1 прослыл в народе Антихристом, а Алексей — мучеником за веру.

Концепция "Москвы — Третьего Рима", сформулированная в начале 16-го века псковским монахом Филофеем, отражала историческую ситуацию того времени. После Флорентийской унии Византии с католичеством и падения Константинополя Россия осталась единственным православным царством. Филофей призывает русского царя осознать свою ответственность в этом новом положении. Он напоминает о судьбе Первого Рима и Второго (Царьграда), погибших, по его мнению, из-за отпадения от истинной веры, и предсказывает, что Русское царство будет стоять вечно, если останется верным православию. Эта теория не имела политического аспекта, не толкала Россию к какой-либо экспансии или православному миссионерству. В народном сознании (например, в фольклоре) она никак не отразилась. Утверждение о том, что идея "Третьего Рима" и революционная марксистская идеология 20-го века составляют единую традицию, принадлежит Бердяеву, которого, по-видимому, особенно пленило созвучие Третьего Рима с Третьим Интернационалом. Но ни он, ни кто-либо другой не пытался объяснить, каким образом эта концепция передавалась в течение 400 лет, никак за это время не проявляясь.

Никакой специфической для русских ненависти к иностранцам и иностранным влияниям, которая отличала бы их от других народов, обнаружить нельзя. Сильны были опасения за чистоту своей веры, подозрительность по отношению к протестантской и католической миссионерской деятельности. Здесь можно видеть известную религиозную нетерпимость, но эта черта никак уже не отличает Россию того времени от Запада, уровень религиозной нетерпимости которого характеризуется инквизицией, Варфоломеевской ночью и Тридцатилетней войной.

Сводит всю дореволюционную историю к Грозному и Петру — это схематизация, полностью искажающая картину. Это все равно, что представлять историю Франции, состоящей лишь из казней Людовика XI, Варфоломеевской ночи, гонений на протестантов при Людовике XIV и революционного террора. Такая подборка выдернутых фактов ничего не может доказать. Не доказывает она и того тезиса, что Революция была специфически русским явлением, закономерным следствием русской истории. Если бы это было так, то как можно было бы объяснить революцию в Китае или на Кубе, господство марксизма над умами западной интеллигенции, влияние коммунистических партий Франции и Италии?

К этим заимствованным аргументам прибавлю несколько своих.

1. Как мало отношение русского допетровской эпохи к власти походило на "рабскую покорность", на "стремление думать и чувствовать одинаково с нею", — показывает Раскол, когда второстепенные, не имевшие догматического значения изменения обрядов, введенные властью, не были приняты большей частью нации: люди тысячами бежали в леса, шли на муки и смерть, самосжигались — и за 300 лет проблема не потеряла своей остроты. Интересно сравнить это с по-

хожей ситуацией в классической стране, утвердившей принцип личной свободы и человеческих прав, — Англии. Генрих VIII скроил *совершенно новое вероисповедание*, взяв кое-что от католичества, кое-что от протестантизма, да еще несколько раз его перекраивал, так что под конец его подданные уже и не знали хорошенько, во что же им надлежит верить. И вот — парламент и духовенство оказались покорными, большинство народа приняло это сочиненное из политических и личных соображений вероисповедание.

Некоторые из авторов разбираемого направления считают особенно ярким проявлением рабских черт русского национального характера — подчинение церкви государству в форме синодального управления церковью, введенного Петром I. В цитированной книге Р.Пайпса одна глава так и называется: "Церковь — служанка государства". А Щрагин пишет: "Наиболее ярко... российская психологическая предрасположенность к единогласному послушанию сказалась в подчинении церкви государству в тех формах, какие оно приняло в синодальный период". Уж им-то — историку и философу — должно быть прекрасно известно, что возникли эти формы подчинения церкви государству в протестантских странах, откуда и были точно скопированы Петром I, так что в них нет ничего типичного для русских.

2. Другое любопытное наблюдение связано с точкой зрения, которую высказывает Р. Пайпс. Он считает, что законодательство Николая I послужило образцом для советского, с которого, в свою очередь, Гитлер, якобы, копировал законы Третьего Рейха (!), так что законодательство николаевских времен оказывается в итоге источником всех антилиберальных течений XX века. Он прокламирует даже, что значение николаевского законодательства для тоталитаризма сравнимо со значением Великой хартии вольностей для демократии! Концепция Р. Пайпса, конечно, является всего лишь анекдотом, типичным, впрочем, для всей его книги, но интересно, что более внимательное рассмотрение этого вопроса приводит к выводам, прямо *обратным* тем, к которым его тянет. Вся концепция тоталитарного государства, подчиняющего себе не только хозяйственную и политическую деятельность подданных, но и их интеллектуальную и духовную жизнь, была полностью разработана *на Западе*, — а не будь она столь глубоко разработана, она не могла бы найти и воплощения в жизнь. Еще в XVII веке Гоббс изобразил государство в виде единого существа, Левиафана. К нему он относит слова Библии: "Нет на земле подобного ему, он сотворен бесстрашным. На все высокое смотрит смело; он царь над всеми сынами гордости". А более конкретно: "Суверен" обладает безусловной властью; все, что он делает, справедливо и правомерно; он может распоряжаться собственностью и честью подданных, быть судьей всех учений и мыслей, в частности, и в вопросах религии. К числу главных опасностей для государства Гоббс относит мнения ("болезни"), что частный человек является судьей того, какие действия хороши и какие дурны, и что все, что человек делает против своей совести, является грехом. Отношение подданных к Суверену, по его мнению, лучше всего выражаются словами: "Вы будете ему раба-

ми". В этом же веке Спиноза доказывает, что к государственной власти вообще не применимы нравственные категории, государство принципиально не может совершить преступления, оно в полном праве нарушить договоры, нападать на союзников и т. д. В свою очередь, любое решение государства о том, что справедливо и не справедливо, должно быть законом для всех подданных. В XVIII веке Руссо разработал демократический вариант этой концепции. Он полагает, что верховная власть принадлежит народу (тоже называемому Сувереном) и теперь уже ОН образует "коллективное существо", в котором полностью растворяются отдельные индивидуальности. Суверену опять принадлежит неограниченная власть над собственностью и личностью граждан, он не может быть неправ и т. д. От Суверена каждый индивид "получает свою жизнь и свое бытие".

Что уж тут могло прибавить столь бледное на таком фоне законодательство Николая ! Да можно четко проследить, как эти принципы были занесены в Россию с Запада. Положение о том, что подданные отреклись от своей воли и отдали ее монарху, который может повелеть им все, что захочет, высказано в "Правде воли монаршей", составленной Феофаном Прокоповичем по поручению Петра. Там почти дословно цитируется Гоббс со всеми основными элементами его теории, как, например, о "договоре", который заключают между собой подданные, отказываясь от своей воли и отдавая ее монарху.

3. "Мессианиззм", т. е. вера некоторой социальной группы (нации, церкви, класса, партии...) в то, что ей предназначено определить судьбу человечества, стать его спасителем, — явление очень старое. Классическим примером, от которого пошло и само название, является содержащееся в иудаизме учение о Мессии (Спасителе), который установит власть "Избранного народа" над миром. Такая концепция возникла в очень многих социальных движениях и учениях. Марксистское учение об особой роли пролетариата принадлежит к традиции "революционного мессианизма", развившейся в Европе в XIX веке. Недавнее очень тщательное исследование этой традиции описывает различные ее стадии (Сен-Симон, Фурье...) вплоть даже до концепции "Третьего Рима" (Рома Терцио у Маджини), но о России упоминает лишь в самом конце книги, в связи с тем, что западный "революционный мессианиззм" к концу века захлестнул и Россию.

4. Наконец, тезис о том, что революция в России была предопределена всем течением русской истории, надо было бы проверить на вопросе о происхождении русского *социализма*, так как без этого ингредиента столь радикальное изменение всего общественного и духовного уклада жизни было бы невозможно — что доказывают многочисленные прецеденты, хотя бы наше Смутное Время. Социализм же, по-видимому, не имел никаких корней в русской традиции вплоть до XIX века. В России не было авторов типа Мора и Кампанеллы. Радикальное сектантство, которое в Западной Европе было питательной почвой социалистических идей, в России играло гораздо меньшую роль и лишь в исключительно редких случаях в русских еретических учениях встречаются взгляды, которые можно было бы считать пред-

шественниками социалистических концепций (например, пожелание общности имущества). Тем более это относится к попыткам воплотить такие взгляды в жизнь: ничего хоть отдаленно напоминающего "Мюнстерскую коммуну" в России не было. Другой источник, в котором можно было бы искать зародыши социалистических идей — народные социальные утопии — тоже не дает ничего, на что могла бы опереться социалистическая традиция. Они поражают своей мягкостью, отсутствием воинственной агрессивности. Это осуждение Зла, противопоставление Правды — Кривде, мечты о "царстве Правды", призывы к братству всех людей во Христе, провозглашение любви высшим законом мира.

В Россию социализм был полностью привнесен с Запада. В XIX веке он настолько однозначно воспринимался как нечто иностранное, что, говоря о современных ему социалистических учениях, Достоевский часто называл их "французский социализм". И основоположниками движения являются два эмигранта — Бакунин и Герцен, начавшие развивать социалистические идеи только после того, как эмигрировали на Запад. Зато западное общество нового, постренессансного типа родилось с мечтой о социализме, отразившейся в "Утопии" Мора, "Городе Солнца" Кампанеллы и целом потоке социалистической литературы.

Таким образом, многие явления, которые авторы рассматриваемого направления объявляют типично русскими, оказываются не только не типическими для России, но и вообще *не русскими* по происхождению, занесенными с Запада: это как бы плата за вхождение России в сферу новой западной культуры.

Обратим внимание на еще одну черту рассматриваемых нами произведений: их равнодушие к фактической стороне дела, использование удивительно легковесных аргументов. Например, Померанц приводит в качестве примера того, как русская душа "упивалась жестокостью власти", "Повесть о Дракуле", распространявшуюся в списках в XVII веке, в то время как эта повесть посвящена как раз обличению жестокости. В появившейся позже самиздатской "антикритике" Померанц заявляет, что он не особенно настаивает на своей трактовке повести, зато, говорит он, ему известен один автор, подписывавший свои самиздатские произведения псевдонимом "Скуратов", так что приверженность русских жестокой власти все равно доказана!

Из одного рассуждения Р. Пайпса следует, что он полагает, будто в Московской Руси не существовало частной собственности! В другом месте своей книги он приводит пословицу: "Чужие слезы — вода" — как доказательство "жесточкого цинизма" и эгоизма русских крестьян. По-видимому, он понял ее не как осуждение эгоизма, а как нравственную максиму. Он же утверждает, что в допетровской Руси не было школ, и подавляющее большинство служилого сословия было неграмотным. А ведь еще в 1892 г. А. И. Соболевский приводил многочисленные подсчеты, из которых вытекало, что белое духовенство в России XV-XVII вв. было поголовно грамотно, среди монахов процент грамотных был не ниже 75, среди земледельцев не ниже 50, среди

посадских — 20, среди крестьян (в ХУП в.) — 15, по всей стране было много училищ для обучения грамоте. Как полагает Д. С. Лихачев, уровень грамотности в России ХУП в. во всех слоях населения был не ниже, чем на Западе. И вот предрассудок, опровергнутый 90 лет назад, сейчас повторяет ведущий специалист США по русской истории!

Особенно много таких мест в работах А. Янова. Так, он утверждает, что "Архипелаг ГУЛАГ" — постоянный спутник русской истории, периодически в ней проявляющийся, и в качестве даты его предшествующего появления указывает 1825 год! Сначала даже и не поймешь, что речь идет о совершенной декабристами попытке вооруженного свержения правительства и убийства царя (а по некоторым планам — истребления всего царского дома), когда был убит генерал-губернатор Петербурга Милорадович, — а в результате было казнено 5 человек (и еще около ста сослано). Но ведь в то же самое время в Испании, Неаполе, Сицилии, Пьемонте и Ломбардии были совершены почти такие же попытки военных переворотов, сопровождавшиеся после подавления точно такими же казнями. В Англии в 1820 г. был раскрыт заговор Тистельвуда, ставивший целью убийство членов кабинета. Пятеро руководителей заговора были казнены, остальные участники сосланы на каторгу в колонии. Так что ничего типичного для русской истории здесь вообще нет. Не "отсталая" Россия, а "передовая" Франция показывала, как надо справляться с подобными возмущениями: тысячи расстрелянных после подавления восстания в Париже в 1848 г., десятки тысяч — после подавления Парижской Коммуны.

В другом месте, желая показать, что даже самые, на первый взгляд, невинные русские национальные течения, вроде славянофильства, приводят к черносотенству и погромам, Янов рассматривает в качестве последователей славянофилов только Данилевского, Леонтьева да третьеразрядного публициста начала этого века Шарпова. Если бы он вспомнил, что идеи славянофилов развивал Достоевский — как писатель, Вл. Соловьев — как философ, Тихомиров — как публицист, А. Кошелев, Ю. Самарин и другие деятели эпохи реформ, а позже Д. Шипов — как политики, картина получилась бы совсем другая. Вот прием, при помощи которого можно доказать решительно все, что желательно!

Мы поневоле приходим к вопросу, от ответа на который зависит все дальнейшее направление наших размышлений: интересует ли вообще этих авторов истина? Поэтому прежде, чем идти дальше, проверим наши сомнения на еще одном примере: на утверждении, встречающемся почти во всех разбираемых работах — о жестокости, варварстве, специфическом, якобы, для всей русской истории.

Как будто существовал народ, который в этом нельзя упрекнуть! Ассирияне покрывали стены завоеванных городов кожами их жителей. В Библии мы читаем о царе Давиде: "А народ, бывший в нем, он вывел, и положил их под пилы, под железные молотилки, под железные топоры, и бросил их в обжигательные печи. Так он поступил со всеми городами Аммонитскими"! И светлые, прекрасные элины во время

междоусобных войн уничтожали население целых городов (по их масштабам — государств): всех мужчин убивали, а женщин и детей продавали в рабство. И так через всю Историю: не только в темные средние века, но и в эпоху торжества Разума. Кромвель уничтожил треть населения Ирландии и только восстание в Шотландии помешало ему осуществить первоначальный план — покончить с ирландцами как нацией. В США благочестивые пуритане истребляли индейцев как волков: была назначена плата за скальп. А работорговля, в которой участвовали короли, которую защищали парламенты, ссылаясь на права человека, — и которая стоила Африке 100 миллионов жизней! А Французская революция, число жертв которой некоторые современники оценивали в 1 миллион — это когда все население Франции составляло 26 миллионов! И, наконец, Гитлер! Конечно, много жестокости было и в нашей истории, но ведь нужно совершенно позабыть о добросовестности, чтобы приписывать именно нам жестокость как какую-то специфическую черту! Нет, кажется, ни одного из наших авторов, который не помянул бы с торжеством опричнину! Но современный историк, специально исследовавший число жертв опричнины, пишет: "Традиционные представления о масштабах опричного террора нуждаются в пересмотре. Данные о гибели многих десятков тысяч человек крайне преувеличены. По синодику опальных, отразившему подлинные документы, в годы массового террора было уничтожено около 3—4 тысяч человек". (Речь идет, конечно, о числе убитых. Голод, эпидемии, набеги крымцев и бегство от непосильных поборов уменьшили население центральной России на сотни тысяч). А в Варфоломеевскую ночь, близкую по времени, за несколько дней было истреблено больше народа (в Париже и провинции).

Русскую историю наши авторы рассматривают исключительно в глоскости современного сознания, полностью игнорируя требования историзма. А ведь все они — люди с гуманитарным образованием, факты, которые мы выше напомнили, должны быть большинству из них прекрасно известны. Те же, которым они не известны, легко могли бы их узнать, если бы их действительно интересовали факты. Приходится признать, что мы имеем здесь дело не с искренними попытками понять смысл русской истории, но с деятельностью совершенно другого типа. Перед нами журналистская пропаганда, стремящаяся внушить читателю некоторые заранее заданные мысли и чувства. А всякая пропаганда имеет определенную ЦЕЛЬ. Мы приходим к важнейшему вопросу: какова же цель всей этой литературы, зачем понадобилось внушать читателям взгляд, согласно которому русские — это народ рабов, всегда преклонявшихся перед жестокостью и пресмыкавшихся перед сильной властью, ненавидевших все чужое и враждебных культуре, а Россия — вечный рассадник деспотизма и тоталитаризма, опасный для остального мира?

Можно было бы и не ломать голову над этим вопросом, если бы мы имели дело просто с эмигрантскими эмоциями. Но дальше мы убедимся, что это не так. Мы просто видим надводную часть айсберга: то, что рассматриваемая литература в своем большинстве

опубликована на Западе, объясняется только тем, что там публиковать безопаснее и легче. А сами эти настроения уходят корнями сюда, да и здесь они проявляются, хотя и не так прямолинейно. И надо отдать себе отчет в том, что если эта концепция впитается в национальное сознание, то это будет равносильно духовной смерти. Народ, так оценивающий свою историю, существовать не может. Так что мы имеем здесь дело с каким-то явлением, которое нас, жителей этой страны, кровно затрагивает.

3. Планы для России

Ответить на вопрос, поставленный в конце предыдущего параграфа, поможет рассмотрение второй группы взглядов, развиваемых авторами интересующего нас направления: как оценивается сегодня положение страны и какие пути предлагаются на будущее. Очевидно, их суждения о современности должны особенно прояснить их мотивы.

Все высказываемые нашими авторами точки зрения концентрируются в основном вокруг двух положений: опасность, недопустимость влияния русского национального начала на жизнь государства и необходимость точно следовать образцу современных западных демократий в построении общества.

Авторы очень болезненно и резко реагируют на любые попытки взглянуть на жизнь с русской национальной точки зрения, т. е. подойти к сегодняшним проблемам с точки зрения русских духовных и исторических традиций. "Не национальное возрождение, а борьба за свободу и духовные ценности должна стать центральной творческой идеей нашего будущего", — пишет в "Вестнике РСХД" Горский, предупреждая, что "новое национальное сознание должно строиться не на бессознательном патриотизме" (как оно по-видимому, строилось у 20 миллионов, сложивших головы в последней войне).

К анонимным авторам, выступившим в "Вестнике РСХД" (№ 97), с большим сочувствием относится Янов. Он считает, что будущее России в значительной степени зависит от того, какую политическую ориентацию примет движение "Русского Православного Ренессанса". Здесь он различает два направления: одно, близкое ему по духу, к которому относятся упомянутые авторы, он называет "либерально-экуменическим". Трудно вложить в этот осторожный и деликатный оборот речи другое содержание, кроме — *безнациональное*. Да и в предисловии к другой книге Янова подчеркивается, что его симпатия — на стороне КОСМОПОЛИТИЧЕСКОЙ прослойки советского общества. Нужно как-то назвать и другое направление в "Православном Ренессансе", по смыслу — НАЦИОНАЛЬНОЕ, но тут Янов не выдерживает роли профессора, беспристрастно анализирующего интересный социальный феномен, и его прорывает: оно — "ТАТАРСКИ-МЕССИАНСКАЯ" угроза "мировому политическому процессу".

В этом противопоставлении Янов видит основную проблему современной советской жизни: "решающий водораздел проходит между

националистами и не националистами". Излишне оговаривать, что "национализм" имеется в виду не армянский, литовский или еврейский, а только русский. И очевидно, по какую сторону водораздела стоит автор. Более того, он обвиняет своих противников в том, что если бы реализовались их идеи о будущем России, то там не оказалось бы места **АНТИРУССКОЙ ОППОЗИЦИИ!** Не берусь судить, справедливо ли это обвинение, но уж очень ярко оно демонстрирует заботы автора.

С предельной отчетливостью концепции Янова проявляются в его полемике с самиздатским журналом "Вече", выходявшим в начале 70-х годов. Как иллюстрацию "слепого отказа видеть происходящее", цитирует он статью из журнала: "Даже проблема гражданских прав в СССР МЕНЕЕ важна в данную историческую минуту, чем проблема гибнущей русской нации". Поучительно дать себе отчет в позиции самого Янова. Если эта точка зрения не верна и "проблема гибнущей русской нации" является менее важной, то что же произойдет, если мы сконцентрируем усилия на более важной проблеме, а нация погибнет? (В цитированной статье утверждается, что численность русских сокращается). За чьи же права тогда бороться? Уж конечно, — не за права русских!

Наконец, эта проблема обсуждается еще раз на более высоком уровне. По поводу одной самиздатской статьи Янов пишет: "Рискуя профанировать метафизический энтузиазм статьи, сформулируем просто ее смысл: человечество квантуется, так сказать, не на отдельные индивидуальности, как до сих пор наивно полагало "гуманистическое сознание", но на нации".

"Профанирование метафизического энтузиазма" здесь совсем ни при чем; то, что делает Янов, называется гораздо проще: подмена одной мысли другою. В отрывке из обсуждаемой статьи, который Янов сам приводил перед цитированным выше местом, говорится: "Нации — **ОДИН** из уровней в иерархии христианского космоса..." (выделено мною. — Авт.), т. е. если пользоваться терминологией Янова, человечество квантуется **И НА НАЦИИ**. Обратная точка зрения, которой, по-видимому, придерживается Янов, заключается в том, что человечество квантуется **ТОЛЬКО НА ОТДЕЛЬНЫЕ ЛИЧНОСТИ**, а не на нации. Точка зрения не новая. Человечество, расплывенное (или "квантованное") на ничем друг с другом не связанные индивидуумы, — таков, по-видимому, идеал Янова.

Но существует и еще более радикальное направление мысли. Вместо того, чтобы бороться с национализмом, предупреждать о его опасности — утверждается, что спора и вести-то не о чем, так как **НАРОДА ВООБЩЕ НЕТ**, "народ оказался мнимой величиной", как пишет "Горский". Особенно подробно и с любовью эту мысль развивает Г. Померанц: "Народа больше нет. Есть масса, сохраняющая смутную память, что когда-то она была народом и несла в себе Бога, а сейчас совершенно пустая.. Народа, в смысле народа-богоносца, источника духовных ценностей, вообще нет.. В нашей стране остались

только следы народа, как следы снега весной... То, что у нас обычно называют народом, совсем не народ, а мещанство".

Итак, если в прошлом у русского народа не было истории, то в настоящем нет уже и русского народа...

Эти мысли естественно вытекают из концепций, рассмотренных в предшествующем параграфе. В русской истории авторы не видят ничего, кроме тирании, раблепия и бессмысленных, кровавых судорог. Померанц разъясняет:

"Так в России вообще делается история. Русский народ трепещет и пьитится перед грозным самодержавием, которое его режет на части, как Иванушку, и спекает заново. Потом, когда спечется, — признает хозяина своим и служит верой-правдой".

Или, в поэтической форме, Галич:

"Что ни год — лихолетье,
Что ни враль — то Мессия".

Если принять этот взгляд, то действительно, попытка строить будущее на основе ТАКИХ традиций может кончиться лишь еще одной катастрофой. Мнение одного из авторов, что "Россия не имела истории", другие, может быть, отклонили бы как полемическое преувеличение, но по существу все их взгляды приводят к этому выводу: Истории, как того чрева, в котором вынашивается будущее народа, Россия согласно их точке зрения, не имела. На чем же тогда строить будущее этой страны? Ответ дает второй основной тезис, выдвигаемый рассматриваемой нами литературой: на основе *чужого* опыта, заимствуя, как образец, современную западную многопартийную демократию. Именно то, что этот опыт *чужой*, не вырастающий органически из русской истории, делает его привлекательным, так как дает гарантию, что он не заражен теми ядами, которыми пропитано, по мнению авторов, все наше прошлое. Наоборот, поиски какого-то своего пути неизбежно вызовут, как они полагают, цепь новых катастроф. Янов, например, считает это основным вопросом, "который сейчас, как и много поколений назад, разделяет русское диссидентское движение — является ли Россия европейской страной, или для нее существует особый, собственный путь развития..."

Таким образом, именно ПОИСК собственного пути (конечно без ограничения его направления, так что, в частности, результатом мог бы оказаться и какой-то собственный вид демократии) здесь отклоняется. Причина в том, что, по мнению авторов, *вообще существуют лишь два решения, выбор возможен лишь из двух вариантов: современная демократия западного типа — или тоталитаризм*. Говоря о том же основном вопросе, Янов спрашивает: "Не заключается ли он в поисках альтернативы для европейской демократии? И не приводит ли такой поиск неизбежно даже самых благородных и честных мыслителей в объятия авторитаризма, ибо никакой особой русской альтернативы демократии в истории до сих пор не было известно. Далее, не ведет ли *логика борьбы* против демократии (как доктрины и как политической реальности) в конце концов к оправданию самых крайних, тоталитарных форм авторитаризма?"

Отметим эту характерную черту наших авторов: они предлагают выбор только из двух возможностей — или "европейской демократии", или авторитаризма, да еще в его "самых крайних тоталитарных" формах. Вряд ли реальная жизнь укладывается в столь упрощенную схему. В обществе действовало и действует столько сил: монархическая власть, аристократия, буржуазное и другие сословия, церкви или церкви, корпорации, партии, национальные интересы и т. д. и т. п., — что из их комбинаций способен возникнуть (и все время возникает) непрерывный СПЕКТР государственных форм, а не две его КРАЙНИЕ точки, между которыми нам предлагается выбирать. И часто тот механизм, при помощи которого формируется государственная власть, оказывается далеко не самым важным признаком общества. Иначе мы должны были бы признать родственными Римскую империю в "Золотой век Антонинов" и китайскую империю Цинь Ши Хуан Ди с ее всеобщим рабством, круговой порукой и сожжением книг. Тот строй, который существовал в Англии, когда она победила Людовика XIV, а затем Наполеона, был столь отличен от современной демократии, что вряд ли разумно объединять их одним термином. Тем не менее суд Истории показал, что этот строй в какой-то мере получил поддержку народа. Точно так же русский народ в 1812 году, по-видимому, единодушно высказался в пользу самодержавия, тогда как американский, напротив, отказался поддержать свое правительство во время Вьетнамской войны.

Здесь возникает очень глубокая проблема. Поиски лучшего пути для выявления воли народа молчаливо предполагают, что такое понятие как "воля народа" существует и всеми толкуется одинаково. Но именно это предположение требует тщательного анализа. Говоря современным научным жаргоном, народ — это "большая система". Но далеко не всякая большая система обладает свойством, которое можно было бы назвать "волей". Например, заводом им не обладает сколь угодно сложная вычислительная машина; совершенно не ясно, что это можно приписать живой природе в целом или отдельному виду или биоценозу — и только в отношении индивидуального человека или высших животных наличие воли не вызывает у нас сомнения. В реальной жизни народ проявляет себя не путем формулирования своей воли, а восстаниями или подъемом хозяйственной активности, ростом или падением рождаемости, взлетом культуры или распространением алкоголизма и наркомании, стойкостью и жертвенностью на войне или легкой капитуляцией. Именно бесчисленная совокупность таких признаков и показывает, здоров ли народный организм. Выработать наиболее органичную для данного народа и в данный момент его истории форму государственного устройства — это, конечно, необходимое условие здорового существования народа. Но далеко не единственное и зачастую не самое важное.

Что касается демократии западного типа, которую столь настойчиво предлагают разбираемые авторы в качестве универсального решения всех общественных проблем, то в ее *современном состоянии* она вызывает ряд сомнений, которые надо было бы тщательно обсу-

дять, прежде чем рекомендовать ее столь безоговорочно. Обсудим некоторые из них.

1. Этот строй, по-видимому, не является таким уж естественным. Переход к нему был связан с мучительным и кровавым катаклизмом; очевидно, необходимо какое-то насилие над естественным историческим процессом. Такова была гражданская война в Англии. Во Франции гражданская война и террор были только началом. Почти столетие после этого страну трясло, как в лихорадке: наполеоновские войны, революции, империя, Коммуна. У нас попытка введения этого строя в феврале 1917 года не оказалась успешной. В Германии такая попытка, осуществленная в Веймарской республике, в качестве реакции привела к победе национал-социализма. (Такой адепт демократии, как Черчилль, в своих мемуарах высказывает мнение, что судьба Германии была бы иной, если бы в 1918 г. была сохранена монархия).

Можно ли сейчас идти на риск еще одного подобного катаклизма в нашей стране? Есть ли шанс, что она его переживет? А в то же время наши авторы предлагают этот путь с легкостью, которая вызывает подозрение, что такие опасения их совершенно не заботят.

2. Основоположники западной либеральной мысли (например, Монтескье и авторы американской конституции) исходили из концепции ограниченной власти. Эта концепция своими корнями уходит в религиозное средневековое мировоззрение. В эпоху абсолютизма было развито учение о неограниченной власти — сначала о власти неограниченного монарха, а потом о неограниченном народовластии (ср. мысли Гоббса, Спинозы и Руссо, цитированные в предыдущем параграфе). Ограничить власть пытались на основе принципа ее разделения: когда, например, законодательство не подвластно конституционному монарху или судебная власть — воле народа. Но чтобы такая система функционировала, необходима сила, ограничивающая все эти власти, а для этого в обществе должны существовать часто не записанные и даже не осознанные нормы поведения, традиции, моральные и религиозные принципы, которые в списке ценностей занимают более высокое место, чем авторитет любой власти, так что противоречащие им действия этой власти воспринимались бы как незаконные. Это и есть единственный надежный путь ограничения власти. Отсутствие таких ценностей, стоящих выше авторитета власти, автоматически порождает общество тоталитарного типа. Именно поэтому основанные на неограниченном народовластии государства так легко порождают тоталитаризм: в Германии Веймарская республика или во Франции — власть Учредительного Собрания в 1789—91 гг. Эта закономерность была замечена очень давно. Еще Платон писал, что демократия вырождается в тиранию. Как он, так и Аристотель, полагали, что неограниченное народовластие вообще нельзя считать формой государственного строя. Эдмунд Берк, наблюдавший начальный этап Французской революции, писал, что неограниченная демократия столь же деспотична, как и неограниченная монархия. Современные же западные демократии целиком основываются на принципе неограниченного народовластия: любое решение, принятое большинством населения, —

законно. Многие либеральные критики современной демократии видят в этом признак ее упадка, неудачу предпринятой 200 лет тому назад попытки построить свободное общество на принципах народовластия. Сейчас, по их оценке, в западном обществе свободы существуют в силу инерции, а не как следствие принципов, на которых это общество построено.

3. Авторы рекомендуют демократию западного типа в качестве альтернативы однопартийному коммунистическому государству. Но способна ли она быть такой альтернативой? Ведь не по волшебству же будет один уклад заменен другим; очевидно, предполагается какая-то конкуренция. А способен ли демократический строй в современной его форме на такую конкуренцию? Неслучайно западная демократия все больше уступает и уступает своему оппоненту. Если часть человечества, населяющая страны с однопартийной коммунистической государственной системой, составляла 7,5% в 1920 г. и 8,5% в 1940 г., то в 1966 г. она составила более 45%, а сейчас уже не меньше половины. И все это время процесс шел только в одном направлении! Давно прошло время, когда западные демократии были динамичной силой, когда число стран, следовавших по их пути, росло, да и другим они навязывали свои принципы. Теперь — все наоборот! Из вновь возникающих государств почти ни одно не избрало государственный строй западного типа. А в самих западных демократиях все растет число противников их государственной системы. Сторонники же ее обычно прибегают к тому аргументу, что как она ни плоха, остальные — еще хуже. Такой аргумент вряд ли может вдохновить кого-либо на защиту этого строя. 200 лет назад так не говорили! Если же привлечь к сравнению античную историю, то мы увидим, что демократия — вообще недолговечная форма. 200 лет — это предельный срок ее жизни. Но как раз столько и существует многопартийная демократия в Западной Европе и США. По всем признакам, многопартийная западная система — уходящий общественный строй. Ее роль в истории можно оценить очень высоко: она принесла с собою гарантию внутреннего мира, защиту от правительственного террора (но не от "красных бригад"), рост материального благосостояния (и угрозу экологического кризиса). Но вернуть к ней все человечество так же безнадежно, как мечтать о возврате к Православному Царству или Киевской Руси. История явно перерабатывает этот строй во что-то новое. Можно попытаться повлиять на то, во что и какими путями он будет перерабатываться, но повернуть этот процесс вспять — безнадежно.

А между тем, есть ли у самих разбираемых нами авторов определенное представление о той "западной демократии", которую нам предлагают взять или отклонить в готовом виде, не разрешая обсуждать возможные ее варианты и альтернативы? Из их произведений как будто следует, что у них это представление весьма расплывчато. Часто кажется, что они имеют в виду классическую форму многопартийной демократии, вроде существующей сейчас в США (Например, Шрагин или Янов). Но вот, например, Краснов-Левитин желает ввести "пол-

ное имущественное равенство", а Л. Плющ утверждает, что государственное планирование должно сохраниться вплоть до достижения коммунизма; но ведь таких целей современная западная демократия себе отнюдь не ставит! Более того, Плющ пишет: "Я не понимаю Вас, если Вы не сочувствуете террористам, уничтожающим палачей своего народа. Индивидуальный террор аморален, (только) если он направлен против невинных людей".

Нельзя же предположить у автора такой степени интеллектуальной недоразвитости, чтобы он не задался вопросом: КТО будет разделять на "невинных" и "виновных"? До сих пор террористы никогда не прибегали к третьейскому суду, а вершили его сами. Вероятно, баскские террористы (пример которых с сочувствием приводит Плющ), стреляя в полицейского, считают, что он виновен, если не лично, то как представитель виновного государства. Но ведь и любой классовый или расовый террор основывается на таких взглядах. Очевидно, здесь мы имеем, правда, еще робкую, апологию политического террора, а тогда, как это связать с идеалами западной демократии?

Так что, по-видимому, не тяготение к демократии, понимаемой ими весьма неоднозначно, объединяет этих авторов. А действительно общее у всех у них — раздражение, возникающее при мысли, что Россия может ИСКАТЬ какой-то СВОЙ путь в истории, стремление всеми средствами воспрепятствовать тому, что народ пойдет по пути, который он сам выработает и выберет (конечно, не при помощи тайного голосования, а через свой исторический опыт). Они мечтают о превращении России в механизм, в робота, лишенного всех элементов жизни (исторических традиций, каких-либо целей в будущем) и управляемого изготовленной за тридцать земель и вложенной в него программой... Демократия же играет как раз роль такой "программы", "управляющего устройства", никак органически со страной не связанного. Так что, если сделать фантастическое предположение, что авторы обратились бы со своими идеями к американцам, то от них они должны были бы требовать безоговорочного принятия абсолютной монархии.

В несколько упрощенной, но зато очень яркой форме все эти вопросы — и планы для будущего России, и их национальный аспект — предстают в теории, которую выдвинул и изложил Янов в ряде статей и в двух книгах. В классическом духе "анализа расстановки классовых сил", он делит наше общество на два слоя: "истеблишмент" и "диссидентов". Каждый из них порождает как "левое", так и "правое" течение. Все свои надежды автор возлагает на "левых". "Истеблишментарная Левая" (термин автора!) состоит из партийной "аристократии", или "элиты", и "космополитических менеджеров". Она нуждается в реконструкции и "модернизации их архаической идеологии", а для этого — в союзе с "самыми блестящими умами России, которые сейчас концентрируются в диссидентском движении", т. е. с "Диссидентской Девой". Для этого необходимо преодолеть "эгалитарный и моральный максимализм интеллигенции" и "высокомерную нетерпимость интеллектуально и этически ущербного нового класса". Но — и тут автор подходит к центральному пункту своей концепции, — ЭТОГО ОНИ СДЕ-

ЛАТЬ САМИ НЕ В СОСТОЯНИИ: "Это противоречие зашло так далеко, что его разрешение невозможно без арбитра, авторитет которого признан обеими сторонами. Западное интеллектуальное общество может служить таким арбитром. Оно может выработать точную и детальную программу, чтобы примирить все позитивные социально-политические силы СССР, — программу, которая их объединит для нового шага вперед в истории..."

Вот это и есть секрет Янова, его основная концепция. И чтобы выразить ее понятнее, автор предлагает в качестве модели — ОККУПАЦИЮ: "Это предприятие грандиозной, можно сказать, исторической сложности. Однако оно по существу аналогично тому, с которым столкнулся "мозговой трест" генерала Мак-Артура в конце второй мировой войны. (Генерал Мак-Артур был главнокомандующим американскими оккупационными силами в Японии). Было ли правдоподобно, что авторитарическая Япония может быть преобразована из опасного потенциального врага в дружелюбного партнера по бизнесу без фундаментальной реорганизации ее внутренней структуры? Тот же принцип приложим к России..."

Тот слой, на который это "грандиозное предприятие" будет опираться внутри страны, Янов тоже характеризует очень точно, приводя в качестве примера героя одной сатирической повести. Речь идет о паразите, не сохранившем почти никаких человеческих черт (кроме чисто внешних), вся деятельность которого направлена на то, чтобы реальная жизнь нигде не пробилась через преграду бюрократизма. Настоящая жизнь для него — это поездки на Запад и покупки, которые он оттуда привозит. Его мечта — привезти из Америки какой-то необычайный "стереофонический унитаз". "Предположим, что он хочет стереофонический унитаз, — рассуждает Янов, — правдоподобно ли, что он хочет мировой войны?"

Этой картине не откажешь в смелости: духовная (пока) оккупация "Западным интеллектуальным сообществом", которое становится нашим арбитром и учителем, опираясь внутри страны на слой "космополитических менеджеров", снабжаемых за это в изобилии стереофоническими унитазами! Ее можно принять как лаконичное и образное резюме всей идеологии рассматриваемого нами течения.

4. "Малый народ"

Взгляды, рассмотренные в двух предыдущих параграфах, сливаются в единую систему. Более того, в основе их лежит целая философия истории — особый взгляд на характер исторического процесса. Речь идет о том, является ли история органическим процессом, сходным с ростом живого организма или биологической эволюцией, — или же она сознательно конструируется людьми, подобно некоему механизму. Иначе говоря, вопрос о том, чем считать общество, — организмом или механизмом, живым или мертвым.

Согласно первой точке зрения, человеческое общество сложилось в результате эволюции "норм поведения" (в самом широком смысле:

технологических, социальных, культурных, моральных, религиозных). Эти "нормы поведения", как правило, никем сознательно не изобретались, но возникли как следствие очень сложного процесса, в котором каждый новый шаг совершался на основе всей предшествующей истории. Будущее рождается прошлым. Историей, а совсем не по нашим замыслам. Так же, как новый орган животного возникал не потому, что животное предварительно поняло его полезность, так и новый социальный институт чаще всего не создавался сознательно, для достижения определенной цели.

Вторая точка зрения утверждает, что общество строится людьми логически, из соображений целесообразности, на основании заранее принятого решения. Здесь вполне можно, а часто и нужно, игнорировать исторические традиции, народный характер, выработанную веками систему ценностей. (Типично высказывание Вольтера: "Хотите иметь хорошие законы? Сожгите свои и напишите новые"). Зато решающую роль играют те, кто обладает нужными познаниями и навыками: это истинные творцы Истории. Они и должны сначала выработать планы, а потом подгонять неподатливую жизнь под эти планы. Весь народ оказывается лишь материалом в их руках. Как плотник из дерева или инженер из железобетона, возводят они из этого материала новую конструкцию, схему которой предварительно разрабатывают. Очевидно, что при таком взгляде между "материалом" и "творцами" лежит пропасть, "творцы" не могут воспринимать "материал", как таких же людей (да это и помешало бы его обработке), но вполне способны испытывать к нему антипатию и раздражение, если он отказывается правильно понимать свою роль. Выбор той или другой из этих концепций формирует людей двух разных психологических типов. Приняв первую точку зрения, человек чувствует себя помощником и сотрудником далеко превосходящих его сил. Приняв вторую — независимым творцом истории, делмиургом, маленьким богом, а в конце концов — насильником. Вот на этом-то пути и возникает общество, лишенное свободы, какими бы демократическими атрибутами такая идеология ни обставлялась.

Взгляды, которые мы рассмотрели в двух предшествующих параграфах, представляют собой последовательное применение второй точки зрения (общество как механизм) к истории нашей страны. Вспомним, сколько сил потрачено, чтобы очернить историю и весь облик нашего народа. Видно, какое раздражение у авторов вызывает опасение, что наше будущее будет опираться на исторические традиции этой страны. Чуть ли не с пеной у рта доказывают они нам, что демократия западного типа абсолютно чужда духу и истории нашего народа — и столь же темпераментно настаивают, чтобы мы приняли именно эту государственную форму. Проект духовной оккупации "западным интеллектуальным обществом", разработанный Яновым, так и воплощается зрительно в образе России — машины, на сиденье которой весело вскакивает ловкий водитель, включает зажигание — и машина поехала. Типично и то, что для нашего будущего предлагается выбор только из двух возможностей: "демократия западного типа" и

"тоталитаризм". Ни рост организма, ни поведение животного никогда не основываются на выборе между двумя возможностями, но всегда между бесконечным числом непрерывно друг в друга переходящих вариантов. Зато элемент вычислительной машины действительно должен быть сконструирован именно так, чтобы находиться лишь в двух состояниях: включенном и выключенном.

И необходимый вывод из этой концепции: выделение "творческой элиты" и взгляд на весь народ как на материал для ее творчества — тоже очень ярко отразился у наших авторов.

Вот так понимает ситуацию "Горский": "...Старое противоречие между "беспочвенной интеллигенцией" и народом предстает сегодня, как противоречие между творческой элитой и оболваненными и развращенными массами, агрессивными по отношению к свободе и высшим культурным ценностям".

Причем, в то же время "новая оппозиционная интеллигенция, при всем ее отрыве от народных масс, представляет, тем не менее, именно породившие ее массы, является как бы органом их самосознания".

Точка зрения Шрагина: "Помимо тонкого слоя европейски образованной и демократически настроенной интеллигенции, корни диссидентского движения натолкнулись на толщу вечной мерзлоты... Интеллигенция в России — это зрячий среди слепых, ответственный среди безответственных, вменяемый среди невменяемых".

Итак, "европейски образованная и демократически настроенная интеллигенция" созрела для того, чтобы большинство народа объявить **НЕВМЕНЯЕМЫМ!** А где же место невменяемому, как не в психушке?

Наконец, взгляд Померанца: "Религия перестала быть приметой народа. Она стала приметой элиты... Новое что-то заменит народ. Здесь... складывается хребет нового народа... Масса может заново кристаллизироваться в нечто народоподобное только вокруг новой интеллигенции".

На этом пути наши авторы неизбежно должны встретиться с очевидной логической трудностью, так что с нетерпением ожидаешь, когда же они на нее натолкнутся. Ведь если русское сознание так проникнуто раболепием, обожанием жестокой власти, мечтой о Хозяине, если правовые традиции нам абсолютно чужды, то как же такому народу можно "привить" демократический строй демократическими методами, да еще в ближайшем будущем? Но оказывается, что для авторов здесь и затруднения нет. Русских надо сделать демократичными, хотя бы и недемократичными методами. (Руссо называл это: заставить быть свободными). Как пишет Шрагин: "Конечно, это противоречит идеалам демократии. Но и наилучший из идеалов вырождается в утопию, когда он тесен для вмещения реальности".

Итак, перед нами какой-то слой, очень ярко сознающий свое единство, особенно рельефно подчеркнутое резким противопоставлением себя всему остальному народу. Типичным для этого слоя является мышление антитезами: творческая элита — оболваненная и развращенная масса, мещанство; европейски образованная и демократически настроенная интеллигенция — "вечная мерзлота"; "вменяемые" —

"невменяемые"; "племя гигантов" — "человеческий свинарник" (последнее — из самиздатской статьи Семёна Телегина "Как быть?"). Слой этот объединен сознанием своей элитарности, уверенностью в своем праве и способности определять судьбы страны. По-видимому, в существовании такого социального слоя и находится ключ к пониманию той идеологии, которую мы рассматриваем.

Этот социальный феномен стал бы, вероятно, понятнее, если бы его можно было включить в более широкие исторические рамки. И действительно, — по крайней мере, в одной исторической ситуации подобное явление было подробно и ярко описано — в эпоху Великой Французской революции.

Один из самых интересных исследователей Французской революции Огюстен Кошен обратил внимание на некий социальный или духовный слой, который он назвал "Малым Народом". По его мнению, решающую роль во Французской революции играл круг людей, сложившийся в философских обществах и академиях, масонских ложах, клубах и секциях. Специфика этого круга заключалась в том, что он жил в своем собственном интеллектуальном и духовном мире: "Малый народ" среди "Большого народа". Можно было бы сказать — антинарод среди народа, так как мировоззрение первого строилось по принципу ОБРАЩЕНИЯ мировоззрения второго. Именно в этом слое вырабатывался необходимый для переворота тип человека, которому было враждебно и отвратительно то, что составляло корни нации, ее духовный костяк: католическая вера, дворянская честь, верность королю, гордость своей историей, привязанность к особенностям и привилегиям родной провинции, своего сословия или гильдии. Общества, объединявшие представителей "Малого Народа", создавали для своих членов как бы искусственный мир, в котором полностью протекала их жизнь. Если в обычном мире все проверяется опытом (например, историческим), то здесь решает общее мнение. Реально то, что считают другие, истинно то, что они говорят, хорошо то, что они одобряют. Обычный порядок обращается: доктрина становится причиной, а не следствием жизни.

Механизм образования "Малого народа" — это то, что тогда называли "освобождением от мертвого груза", от людей, слишком подчиненных законам "Старого мира": людей чести, дела, веры. Для этого в обществах непрерывно производят "очищения" (соответствующие "чисткам" нашей эпохи). В результате создается все более чистый "Малый Народ", движущийся к "свободе" в смысле все большего освобождения от представлений "Большого Народа", от таких предрасудков, как религиозные или монархические чувства, которые можно понять только опытом духовного общения с ним. Этот процесс Кошен иллюстрирует красивым примером. — образом "дикаря", столь распространенным в литературе эпохи Просвещения: "персидский принц" Монтескье, "гурон" Вольтера, "таитянин" Дидро и т. п. Обычно это человек, обладающий всеми материальными аксессуарами и формальными знаниями, предоставляемыми цивилизацией, но абсолютно лишенный понимания духа, который все это оживляет, поэтому все в жизни

его шокирует, кажется глупым и нелогичным. По мнению Кошена, этот образ — не выдумка, он взят из жизни, но водились эти "дикари" не в лесах Огабо, а в философских академиях и масонских ложах: это образ того человека, которого они хотели создать, парадоксальное существо, для которого средой обитания является пустота, так же, как для других — реальный мир. Он видит все и не понимает ничего, и именно глубиной "непонимания" и измерялись способности среди этих "дикарей".

Представителя "Малого Народа", если он прошел весь путь воспитания, ожидает поистине чудесное существование: все трудности, противоречия реальной жизни для него исчезают, он как бы освобождается от цепей жизни, все представляется ему простым и понятным. Но это имеет свою обратную сторону: он уже не может жить вне "Малого Народа", в мире "Большого Народа" он задыхается, как рыба, вытасненная из воды. Так "Большой Народ" становится угрозой существованию "Малого Народа", и начинается их борьба: лилипуты пытаются связать Гулливера. Эта борьба, по мнению Кошена, занимает многие годы, предшествовавшие Французской революции, а затем — весь революционный период. Годы революции 1789—1794 — это пятилетие власти "Малого Народа" над "Большим Народом". Только себя "Малый Народ" называл народом, только свои права формулировал в "Декларациях". Этим объясняется парадоксальная ситуация, когда "победивший народ" оказался в меньшинстве, а "враги народа" — в большинстве. (Это утверждение постоянно было на языке у революционных деятелей).

Мы сталкиваемся с мировоззрением, удивительно близким тому, которое было предметом нашего анализа в этой работе. Сюда относится взгляд на собственную историю, как на сплошную дикость, грубость, неудачу — все эти "Генриады" и "Орлеанские девственницы". И стремление порвать все свои связи, даже внешние, связующие с исторической традицией: переименование городов, изменение календаря... И убеждение в том, что все разумное следует заимствовать извне, тогда — из Англии: им проникнуты, например, "Философские письма" Вольтера (называемые тогда "Письмами об Англии"). И, в частности, копирование чужой политической системы — английского парламентаризма.

Мне кажется, что эта замечательная концепция применима не только к эпохе Французской революции, она проливает свет на гораздо более широкий круг исторических явлений. По-видимому, в каждый кризисный, переломный период жизни народа возникает такой же "Малый Народ", все жизненные установки которого ПРОТИВОПОЛОЖНЫ мировоззрению остального народа. Для которого все то, что органически выросло в течение веков, все корни духовной жизни нации, ее религия, традиционное государственное устройство, нравственные принципы, уклад жизни — все это враждебно, представляется смешными и грязными предрассудками, требующими бескомпромиссного искоренения. Будучи начисто отрезан от духовной связи с народом, он смотрит на него лишь как на материал, а на его обработку —

как чисто ТЕХНИЧЕСКУЮ проблему, так что решение ее не ограничено никакими нравственными нормами, состраданием или жалостью. Это мировоззрение, как замечает Кошен, ярко выражено в фундаментальном символе масонского движения, игравшего такую роль в подготовке Французской революции — в образе "построения Храма", где отдельные люди выступают в роли камней, механически прикладываемых друг к другу по чертежам "архитекторов".

Приведем теперь несколько примеров, чтобы подтвердить нашу догадку, что здесь мы действительно имеем дело с общеисторическим явлением.

1. Обращаясь к эпохе, предшествующей той, которую изучал Кошен, мы сталкиваемся с КАЛЬВИНИЗМОМ, оказавшим — в форме движения гугенотов во Франции и пуритан в Англии — такое влияние на жизнь Европы 16-17 веков. В его идеологии, особенно у пуритан, мы легко узнаем знакомые черты "Малого народа". Учение Кальвина утверждало, что еще до сотворения мира Бог предопределил одних людей к спасению, других — к вечной гибели. Никакими своими делами человек не может повлиять на это уже принятое решение. Избраны лишь немногие: крошечная группа "святых" в греховном, страждущем и обреченном на вечные муки человечестве. Но и "святым" недоступна никакая связь с Богом, "ибо конечное никогда не может соприкоснуться с бесконечным". Их избранность проявляется лишь в том, что они становятся орудием Бога, и тем вернее их избранничество, чем эффективнее они действуют в сфере их мирской активности, откинув попытки понимания смысла этой деятельности.

Это поразительное учение, собственно новая религия, создавало у "святых" ощущение полной изолированности, противопоставленности остальному человечеству. Центральным их переживанием было чувство избранности, они даже в молитве благодарили Бога, что они не такие, как "остальная масса". В их мировоззрении колоссальную роль играла идея эмиграции. Отчасти из-за того, что начало движению пуритан положила группа протестантов, бежавших из Англии от преследований в период католической реакции при Марии Тюдор: в состоянии полной изоляции, оторванности от родины, они, под влиянием учения Кальвина, заложили основы теологии и психологии пуританизма. Но отчасти и потому, что, даже и вернувшись в Англию, они по своим взглядам оставались эмигрантами, чужаками. Излюбленным образом их литературы был странник, беглец, пилигрим.

Узкие общины "святых" постоянно подвергались очищениям, отлучениям от общения, охватывавшим иногда большинство общин. Но и "обреченные", согласно взглядам пуритан, должны были подчиняться дисциплине их церкви, причем здесь вполне было допустимо принуждение. Пропасть между "святыми" и "обреченными" не оставляла места для милосердия или помощи грешнику — оставалась только ненависть к греху и его носителю. Особым предметом обличения и ненависти пуританской литературы были крестьяне, потерявшие землю и толпами отправлявшиеся в города в поисках работы, а часто превращавшиеся в бродяг. Пуритане требовали все более строгих законов: превозносили

порку, клеймение раскаленным железом. А главное — требовали защиты "праведных" от соприкосновения с нищими бродягами. Именно из духа пуританизма в 18 веке возникла страшная система "рабочих домов", в которых бедняки находились почти на положении каторжников.

Литература пуритан стремилась оторвать "святых" от исторических традиций (которые были традициями "людей мира"), для "святых" не имели силы все установленные обычаи, законы, национальные, династические или сословные привязанности. Это была в самом своем принципе нигилистическая идеология. И действительно, пуритане призывали к полной переделке мира, всех существующих законов, обычаев, статусов, ординасов и конституций. Причем, к переделке по известному им заранее плану. Призыв "строить на новом основании" подкреплялся у них знакомым уже нам образом "построения Храма", на этот раз — восстановления Иерусалимского Храма после возврата евреев из пленения.

Как утверждает Макс Вебер, реальная роль кальвинизма в экономической жизни заключалась в том, чтобы разрушить традиционную систему хозяйства. В Английской революции его решающая роль состояла в том, что именно в опоре на пуритан и еще более крайние секты новому слою богачей удалось опрокинуть традиционную монархию, пользовавшуюся до того поддержкой большинства народа.

2 В эпоху, следующую за Французской революцией, можно наблюдать другое похожее явление. Так, в 30-е и 40-е годы 19 века в Германии вся духовная жизнь оказалась под влиянием философского и политического радикализма ("Молодая Германия" и "левое гегельянство"). Его целью было разрушение (как тогда говорили, "беспощадная критика" или "революционизирование") всех основ тогдашней жизни: христианства, философии, государства, общества. Все немецкое переименовывалось в "тевтонское" или "пруссаческое" и становилось объектом поношений и насмешек. И здесь мы встречаем уже знакомые нам утверждения, что "немцы лишены чувства собственного достоинства", что им свойственна ненависть ко всему чуждому, что их история — цепь подлостей, что их вообще трудно считать людьми. После Гете и Шиллера немецкий романист Руге писал: "Мы, немцы, так глубоко отстали, что нам еще надо создавать человеческую литературу".

Немецкий патриотизм отождествлялся с реакционностью, наоборот, преклонялись перед всем западным, особенно французским. Был в ходу термин "профранцузский антипатриотизм". Высказывались надежды, что французы опять оккупируют Германию и принесут ей свободу. Мощной была эмиграция во Францию, в Париже жило 35.000 немцев. Типичным представителем этого направления был Гейне. Предметом его постоянных злобных, часто грязных и от этого уже и не остроумных нападок было, во-первых, христианство. ("Некоторые духовные насекомые испускают вонь, если их раздавить. Таково христианство: этот духовный клоп был раздавлен 1800 лет назад (распятие Христа?), а до сих пор отравляет воздух нам, бедным евреям"); а во-вторых, — немецкий характер, культура, история: так, в конце поэмы

"Германия — Зимняя сказка" он сравнивает будущее Германии со зловонием, исходящим из ночного горшка. И не потому, что он просто был такой желчный, скептический человек: Наполеона он обожал до идолопоклонства, перед всем французским преклонялся и даже называл себя "вождем французской партии в Германии".

3. В России второй половины 19 века те же черты очень отчетливо видны в либеральном и нигилистическом течениях. Известный публицист-шестидесятник В. Зайцев, писал о русских: "Оставьте всякую надежду, рабство в крови их". Тому же Зайцеву принадлежит мысль: "Народ груб, туп и вследствие этого пассивен. Поэтому благоразумие требует, не смущаясь величественным пьедесталом, на который демократы возвели народ, действовать энергически против него".

Как видим, мысль Щрагина, что "принципы демократии тесны для вмещения реальности", была высказана уже тогда. Более того, Достоевский рассказывает: "Этого народ не позволит", — сказал по одному поводу, года два назад, один собеседник одному ярому западнику. — "Так уничтожить народ!" — ответил западник спокойно и величаво".

Замечательно то презрительное отношение к своей культуре (такое же, как у немецких радикалов 30-х годов), которое сочеталось с преклонением перед культурой западной и особенно немецкой. Так, Чернышевский и Зайцев объявили Пушкина, Лермонтова и Гоголя бездарными писателями без собственных мыслей, а Ткачев присоединил к этому списку и Толстого. Салтыков-Щедрин высмеивал "Могучую Кучку", изобразил какого-то "самородка" (Мусоргского?), тыкающего пальцами в клавиши наугад, а под конец садящегося всем задом на клавиатуру. И это не исключительные примеры: таков был общий стиль.

В "Дневнике писателя" Достоевский все время полемизирует с какой-то очень определенной, четкой идеологией. И когда его читаешь, то кажется, что он имеет в виду именно ту литературу, которую мы в этой работе разбираем: так все совпадает. Тут есть и утверждение о рабской душе русского мужика, о том, что он любит розгу, что "история народа нашего есть абсурд" и как следствие "надобно, чтобы такой народ, как наш, не имел истории, а то, что имел под видом истории, должно быть с отвращением забыто им". И цель — добиться того, что народ "...застыдится своего прошлого и проклянет его. Кто проклянет свое прошлое, тот уже наш, — вот наша формула!" И принцип — что кроме "европейской правды", другой нет и не может быть. И даже утверждение, что "...в сущности, и народа-то нет, а есть и пребывает по-прежнему все та же косная масса" — как будто Достоевский заглянул в сочинения Померанца. И наконец, эмиграция, принцип которой, согласно этой идеологии, в том, что "виноваты все те же наши русские порядки, наша неуклюжая Россия, в которой порядочному человеку до сих пор еще ничего сделать нельзя". Как современны мысли самого Достоевского: "Неужели и тут не дадут и не позволят русскому организму развиваться национально, своей органической силой, а непременно безлично, лакейски подражая Европе? Да куда же девать тогда русский-то организм? Понимают ли эти господа, что такое организм?"

Странное предположение он высказывает: что отрыв, "отщепенство" от своей страны приводит к ненависти, что эти люди **НЕНАВИДЯТ** Россию, "так сказать, натурально, физически: за климат, за поля, за леса, за порядки, за освобождение мужика, за русскую историю, одним словом, за все, за все ненавидят".

Л. Тихомиров, прошедший путь террориста вплоть до одного из руководителей "Народной воли", а потом отошедший от этого течения, рисует в своих позднейших работах очень похожую картину. По его словам, мировоззрение тех кружков молодежи, из которых вышли террористы, имело своей основой разрыв с прошлой культурой. Прокламиривалось ниспровержение всех авторитетов и следование только "своему разуму", что привело, наоборот, к господству авторитетов самых низких и примитивных. Значение материализма и антинационализма поднялось до религиозного уровня и эпитет "отщепенец" был похвалой. Идеи этих кружков были столь ограничены, что появились молодые люди, утверждавшие, что вообще ничего не надо читать — их прозвали "троглодитами". И действительно, они могли заимствовать в предлагавшейся им литературе только подтверждение уже заранее известных им идей. В результате развивалась душевная пустота, тоска. Было много случаев самоубийства, "чувствовали, что стоят перед тьмой". Готовы были броситься куда угодно и — бросились в террор: "От них не жди никаких уступок ни здравому смыслу, ни человеческому чувству, ни истории. Это было возмущение против действительной жизни во имя абсолютного идеала. Успокоиться ему нельзя, потому что если его идеал невозможен, то стало быть ничего на свете нет, из-за чего стоило бы жить. Он скорее истребит "все зло", т. е. весь свет, все, изоблачающее его химеру, чем уступит".

Такое повторение на протяжении 400 лет и в разных странах Европы столь четкого комплекса идей не может быть случайным — очевидно, мы имеем дело с каким-то очень определенным социальным явлением, возникающим всегда в устойчивой, стандартной форме. Можно надеяться, что это наблюдение поможет нам разобраться в той современной проблеме, которой посвящена настоящая работа.

Последние века очень сузили диапазон тех концепций, которыми способны пользоваться при обсуждении исторических и социальных вопросов. Мы легко признаем роль в жизни общества экономических факторов или политических интересов, не можем не признать (хотя и с некоторым недоумением) роли межнациональных отношений, соглашаемся, на худой конец, не игнорировать роли религии (но в основном — как политического фактора, например, когда религиозная рознь проявляется в гражданских войнах). На самом же деле, по-видимому, в истории действуют гораздо более мощные силы духовного характера — но мы их не способны обсуждать, их не ухватывает наш "научный" язык. А именно от них зависит — привлекательна ли жизнь для людей, может ли человек найти свое место в ней, именно они дают людям силы (или ломают их). Из взаимодействия таких духовных факторов и рождается, в частности, это загадочное явление: "Малый Народ".

5. Современный вариант "Малого Народа"

Какие есть основания считать, что этот же феномен "Малого Народа" проявляется в нашей стране? Прежде всего, конечно, та литература, которую мы разбираем. В ней представлен весь стандартный комплекс представлений "Малого Народа": вера в то, что будущее народа можно как механизм свободно конструировать и перестраивать; в связи с этим — презрительное отношение к истории "Большого Народа", вплоть до утверждения, что ее вообще не было; требование заимствовать в будущем основные формы жизни со стороны, а со своей исторической традицией порвать; разделение народа на "элиту" и "инертную массу" и твердая вера в право первой использовать вторую как материал для исторического творчества; наконец, прямое отращивание к представителям "Большого народа", их психологическому складу. И эти черты выражены в современном нам "Малом Народе" не менее ярко, чем в его предшествующих вариантах. Например, нигде раньше не встречался такой яркий символ господства "Малого Народа" над "Большим Народом", как модель оккупации, предложенная Яновым. А тонкий образ Померанца: "...место интеллигенции всегда на полдороге... Духовно все современные интеллигенты принадлежат диаспоре. Мы всюду не совсем чужие. Мы всюду не совсем свои" — прекрасно передает мироощущение "людей без корней", составляющих "Малый Народ".

В это же время наш современный "Малый Народ" поразительно напоминает своего прямого предшественника — нигилистическое, террористическое и революционное движение в нашей стране. Если отжать основное ядро литературы современного "Малого Народа", попытаться свести ее идеи к нескольким основным мыслям, то мы получим вполне знакомую концепцию "проклятого прошлого", России—"тюрьмы народов"; утверждение, что все наши сегодняшние беды объясняются "пережитками", "родимыми пятнами" — правда, не капитализма, но "русского мессионизма" или "русского деспотизма", даже "дьявола русской тирании". Зато "великодержавный шовинизм" как главная опасность, словно буквально заимствован литературой "Малого Народа" из докладов Сталина и Зиновьева. И очень не случайно Амальрик сравнивает теперешнюю эмиграцию с эмиграцией "надежды", предшествовавшей 1917 г. Можно не сомневаться, что в случае любого кризиса они будут опять здесь в роли идейных вождей, муками изгнания выстрадавших свое право на руководство. Недаром так упорно поддерживается легенда, что все они были "высланы" или "выдворены" — хоть и долго обивали пороги ОВИРа, добываясь своей визы.

Другое указание на наличие некоторого слоя, проникнутого элитарными, кружковыми чувствами, не стремящегося войти в контакт с основными социальными слоями населения, даже отталкивающегося от них, можно, мне кажется, извлечь из наблюдения над нашей общественной жизнью, из различных выступлений, заявлений и т. д. Я имею в виду ту их удивительную черту, что уж очень часто они направлены на проблемы МЕНЬШИНСТВА. Так, вопрос о свободе выезда за границу,

актуальный разве что для сотен тысяч человек, вызвал невероятный накал страстей. (А ведь широко дискутируются и более изысканные проблемы: право на свободный выбор месяца эмиграции (на три месяца раньше или позже), право на свободный выбор вызовов (по американскому или израильскому вызову эмигрировать?). В национальной области судьба крымских татар вызывает куда больше внимания, чем судьба украинцев, а судьба украинцев — больше, чем русских. Если сообщается о притеснениях верующих, то говорится гораздо больше о представителях сравнительно малочисленных религиозных течений (адвентистов, иеговистов, пятидесятников), чем православных или мусульман. Если говорится о положении заключенных, то почти исключительно политзаключенных, хотя они составляют вряд ли больше 1 процента общего числа. Можно подумать, что положение меньшинства реально тяжелее. Это совершенно неверно: проблемы большинства народа ни более, ни менее острые, но конечно, ими надо интересоваться: если их игнорировать, то их как бы и не будет. И, пожалуй, самый разительный пример — заявление, сделанное несколько лет назад иностранным корреспондентам, что детям интеллигенции препятствуют получать высшее образование (было передано по нескольким радиостанциям). В то время, как для детей интеллигенции, особенно в крупных городах, возможность поступления в высшую школу, наоборот, больше, чем для остальных: из-за внушенной в семье установки, что высшее образование необходимо получить, из-за большей культурности семьи, компенсирующей недостаточный уровень средней школы, из-за возможности нанять репетиторов. Каким позором было бы такое заявление в глазах интеллигенции прошлого века, считавшей себя в долгу перед народом! Теперь же задача — вырвать своим детям место за счет народа.

Еще один знак, указывающий в том же направлении — это "культ эмиграции". То внимание, которое уделяется свободе эмиграции, объявление права на эмиграцию "первым среди равных" прав человека — невозможно объяснить просто тем, что протестующие хотят сами уехать. В некоторых случаях это не так. Тут эмиграция воспринимается как некий принцип, жизненная философия. Прежде всего, как демонстрация того, что "в этой стране порядочному человеку жить невозможно". Но и более того, как модель отношения к здешней жизни, безгласности, изоляции и отрыва от неё. (Еще Достоевский, по поводу Герцена, заметил, что существуют люди, так и родившиеся эмигрантами, способные прожить так всю жизнь, даже никогда и не выехав за границу). Насколько эта тема деликатная и болезненная, показывают следующие два примера. 1) На одной пресс-конференции была высказана мысль, что эмиграция все же не подвиг, а уезжают люди, порвавшие духовные связи со своей родиной, которые поэтому уже вряд ли способны внести большой вклад в ее культуру. Опровержения и протесты так и посыпались в западной и эмигрантской печати, по радио... Один живущий здесь писатель написал громадную статью во французскую левую газету "Ле Монд", в которой, в частности, утверждал, что "отрыв от родины" — всегда подвиг и что "мы (?), оставшиеся, благословили уехавших". 2) Выходящий в Париже на русском языке журнал

"Континент" в своем первом номере, где от имени "Континента Восточной Европы" предлагается программа журнала и прокламируются его намерения, публикует статью одного из организаторов и влиятельного члена редколлегии А. Синявского (под псевдонимом Абрам Терц). "Сейчас на повестке дня третья эмиграция", — пишет автор. "Когда мы уезжали, а мы делали это под сурдинку, вместе с евреями, я видел, как на дощатом полу грузовика подпрыгивают книги по направлению к таможене. Книги прыгали в связке, как лягушки, и мелькали названия: "Поэты Возрождения", "Салтыков-Щедрин". К тому времени я от себя уже все отряс. Но они прыгали и прыгали. (...) Книги тоже уезжали.. Мы уезжали навсегда. Все было кончено и забыто. (...) Даль была открыта нашим приключениям. А книги прыгали. И сам, собственной персоной, поджав ушки, улепетывал Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин".

Это какой-то гимн эмиграции, апофеоз бегства: сам автор "все от себя отряс", для него "все было кончено и забыто", но этого мало — бегут не только люди, но и рукописи, книги и даже "улепетывают" великие русские писатели — Русская Литература.

Ту же психологию "Малого Народа" мы все время можем наблюдать в нашей жизни. Популярные певцы, знаменитые рассказчики — из магнитофонов, телевизора, с подмостков эстрады — вдальбливают в головы образ русского — алкоголика, подонка, "скота с человеческим лицом". В модном театре с репутацией либеральности идет пьеса из русского прошлого. Понимающая публика тонко переглядывается: "действительно — в этой стране всегда так было и быть иначе не может. В кино мы видим фильмы, в которых наше прошлое представляется то беспросветным мраком и ужасом, то балаганом и опереткой. Да и на каждом шагу можно натолкнуться на эту идеологию. Например, в таком стишке, в четырех строках излагающем целую концепцию революции (приписывается поэту Коржавину — Э. Манделю; принадлежит поэту Гарику — И. Губерману (прим. ред.):

Как жаль, что марксово наследство
Попало в русскую купель,
Где цель оправдывает средства,
А средства обо...ли цель.

Или в забавном анекдоте о том, что два червя — новорожденный и его мать — вылезли из навозной кучи на белый свет. Новорожденному так понравились трава, солнце, что он говорит: "Мама, зачем же мы копошимся в навозе? Поползем туда!" "Тсс, — отвечает мама, — ведь это наша Родина!" Сами такие анекдоты не родятся, кто-то и зачем-то их придумывает!

Изложенные выше аргументы приводят к выводу: литературное течение, рассматриваемое в этой работе, является проявлением идеологии "Малого Народа", отражением его войны с "Большим Народом".

Такая точка зрения объясняет все те черты этой литературы, которые мы отмечали на протяжении нашей работы: антипатию к России ("Большому Народу"), Русской истории; раздражение, которое вызы-

вае любая попытка взглянуть на жизнь с русской национальной точки зрения; настойчивое требование идейно порвать с нашим прошлым и конструировать будущее, не обращаясь к своему историческому опыту. Здесь оказывается особенно уместным образ Кошена: лилипуты ползут на связанного Гулливера, осыпают его отравленными стрелами.

Этот вывод порождает, однако, сразу же другой вопрос: из кого состоит этот "Малый Народ", в каких слоях нашего общества он обитает? В настоящем параграфе мы проделаем только подготовительную работу, рассмотрев термины, которыми пользуются сами идеологи "Малого Народа", когда они говорят о социальных слоях, с которыми себя отождествляют. Таких терминов, хоть сколько-нибудь конкретных, употребляются два: "интеллигенция" и "диссидентское движение".

Безусловно, авторы рассматривавшихся нами работ являются людьми "пишущими" и поэтому относятся к интеллигенции в любом понимании этого слова. Точно также те, к кому они обращаются — это читатели самиздата или люди, способные доставать выходящие на Западе русские журналы и, вероятно, также принадлежат к интеллигенции. Поэтому правдоподобно, что наш "Малый Народ" составляет какую-то часть интеллигенции. Однако отождествлять его со всем словом "образованных людей", например, "лиц с высшим образованием" — нет никакого основания. Жизненные взгляды миллионов учителей, врачей, инженеров, агрономов и т. д. совершенно иные. Но, к сожалению, мы унаследовали еще от 19 века дурную привычку рассматривать интеллигенцию только как единое целое. Если это суждение принимать точно, то от интеллигенции пришлось бы отчислить славянофилов, Достоевского, Соловьева, Мусоргского (да и почти всю русскую музыку), Менделеева (который из-за своих националистических, консервативных убеждений даже не был избран в Академию Наук). А ведь они для кого-то писали, имели своих читателей и слушателей — не окажется ли, что большинство интеллигенции к ней не принадлежит? В русской публицистике к интеллигенции часто применяли термин "орден". Например, Анненский писал: "Интеллигенция представляет собой как бы воюющий орден, который не имеет никакого письменного устава, но знает всех своих членов, рассеянных по нашей земле, и который по какому-то соглашению всегда стоял поперек всего течения современной жизни".

Очень странно было бы применять этот образ к земским врачам, учителям гимназии или инженерам. Не естественно ли предположить, что авторы имели в виду некоторый очень специфический круг внутри образованной части общества, весьма напоминающий "Малый Народ"?

Тогда надо признать, что термин "интеллигенция" дает совершенно неверную интерпретацию интересующему нас "Малому Народу". Но следует помнить, что термин этот тем не менее в литературе самого "Малого Народа" широко используется. Поэтому, встречаясь в анали-

зируемой литературе с термином "интеллигенция", мы можем понимать его как "Малый Народ".

Щрагин и Янов (и, кажется, только они) пользуются иногда термином "диссиденты" для обозначения того течения, с которым они себя отождествляют. Термин этот еще менее определенный, чем "интеллигенция". И пуцен-то он в обиход иностранными корреспондентами, в нашей жизни очень мало разбирающимися. Но при любом его понимании как раз ни Янова, ни Щрагина диссидентами не назовешь: пока они жили здесь, они были типичными "работниками идеологического сектора". Также не являются диссидентами четыре анонимных (и до сих пор не проявившихся) автора в № 97 "Вестника РСХД" и тем более — Р. Пайнс.

Другие термины, которые применяет, например, Померанц: "элита", "избранный народ" — еще более расплывчаты. Так что мне представляется, что та терминология, которой пользуются сами идеологи "Малого Народа", не дает возможности этот "народ" сколько-нибудь точно локализовать. Мы должны искать какие-то другие пути для решения этой задачи.

6. Национальный аспект

Направление, в котором надо это решение искать, может указать одна очень ярко заметная особенность разбираемой литературы: ее насыщенность национальными и в особенности противорусскими эмоциями. Авторы, по-видимому, выступая как объективные исследователи, ищущие истину мыслители — историки, философы или социологи, часто не выдерживают своей линии и срываются в чисто эмоциональные, никак не логические выпады не только против русской истории, но и против русских вообще. Быть может, читатель уже отметил эту особенность приведенных выше цитат ("Вселенская русская спесь", "отсутствие чувства собственного достоинства у русских", "холуйская смесь злобы и зависти"). Вот еще несколько образцов, которые можно было бы объединить заголовком "ОНИ О НАС":

"Россией привнесено в мир больше Зла, чем какой-либо другой страной." ("NN".)

"Вековой смрад запустения на месте святом, рядившийся в мессианское "избранничество". (Он же).

"Собственная национальная культура совершенно чужда русскому народу." ("Горский".)

"(На Руси) христианские глубины практически всегда переплетаются с безднами нравственной мерзости." (Померанц.)

"Страна, которая в течение веков лущится и расползается, как кислое тесто, и не видит перед собой других задач." (Амальрик.)

"Страна без веры, без традиции, без культуры." (Он же.)

"А что самим русским в этой тюрьме сквернее всех, так это логично и справедливо." (Щрагин.)

"(В дореволюционной России) "трудящиеся массы пропитаны при-

обретательским духом худшего буржуазного пошиба в сочетании с нравственным цинизмом и политической реакционностью." (Пайпс).

"...традиционная преданность народа "Хозяину". (Янов.)

Вообще, в литературе этого направления изо всех народов претензии предъявляются только русскому. Например, "национализм" без всяких оговорок подразумевается русский (См. хотя бы сборник цитат "Спектр неонационализма" в "Демократических альтернативах"). И при этом Плющ еще заявляет: "Неморальным мне кажется подсчитывать, кто на сколько процентов сделал пакостей русским за тысячу лет", — это в сборнике, где подобные "подсчеты" и упреки адресованы только русским!

Чтобы не создавалось впечатления, будто здесь какую-то особую роль играет слово, приведем два примера, где те же чувства порождаются средствами живописи.

1 На обложке журнала "Третья волна" (№ 6, 1979), издаваемого А. Глезером, напечатана репродукция картины художника Влад. Овчинникова: избушка и мужичок изображены на фоне кладбища, покрытого крестами. Картина называется: СОБАЧЬЕ КЛАДБИЩЕ.

2 В роскошно изданном каталоге выставки под названием "Современная русская живопись" репродуцирована картина Александра Злотника "Тяжелое небо". На картине какое-то существо без головы. Из существа течет моча, целое озеро мочи, рождающее реку, которая втекает, в качестве ночного горшка, — в собор Василия Блаженного.

Особую брезгливость вызывают у этих авторов крестьяне. Мы уже упоминали мнение Р. Пайпса о поговорах русских крестьян, смысл которых, по его мнению, "примитивно прост: заботиться только о себе и не думать о других". А Амальрик пишет:

"Если язык — наиболее полное выражение народного духа, то кто же более русский — "арачонок" Пушкин и "жиденок" Мандельштам или мужик, который у пивной размазывая соплю по небритым щекам, мычит: Я, б..., русский!"

Этот список можно было бы продолжать и продолжать... Чувства, которые движут авторами, трудно иначе характеризовать как РУСОФОБИЮ (причем, вполне подходят оба смысла, вкладываемые в термин "фобия" — страх и ненависть). А ненависть к одной нации, скорее всего, связана с обостренным переживанием своей принадлежности к другой. Не делает ли это правдоподобным, что авторы находятся под действием какой-то мощной силы, коренящейся в их национальных чувствах? Я предлагаю принять такой тезис, как рабочую гипотезу, и посмотреть, не поможет ли она понять все явление.

Если, приняв эту "рабочую гипотезу", спросить: Чьи же национальные чувства здесь проявляются? — то для человека, знающего жизнь нашей страны, ответ, думаю, не вызовет сомнений. Есть только одна нация, о заботах которой мы слышим чуть ли не ежедневно. Еврейские национальные эмоции лихорадят и нашу страну, и весь мир, влияют на переговоры о разоружении, торговые договоры и международные связи ученых, вызывают демонстрации и сидячие забастовки и всплывают чуть ли не в каждом разговоре. "Еврейский вопрос" приобрел

непонятную власть над умами, заслонил проблемы украинцев, эстонцев, армян или крымских татар. А уж существование "русского вопроса", по-видимому, вообще не признается.

То, что рассматриваемые нами авторы часто находятся под влиянием сильных еврейских национальных чувств, подтверждается многими чертами этой литературы. Например, тем, какое место занимают в ней вопросы, волнующие сейчас еврейское националистическое движение: проблема отъезда и страх антисемитизма — они всплывают почти в каждой работе. Еще более универсальным и характерным является другой признак. Рассматриваемые работы могли бы создать впечатление, что их авторам чужд и даже антипатичен национальный аспект жизни вообще. Но вот что поражает: хотя авторы в большинстве являются евреями, они НИКОГДА не пытаются примерить к СВОЕМУ народу и ЕГО государству те упреки, которые они адресуют русским и России. Например, почти все авторы обвиняют русских в "мессианстве", в гордыне "избранничества". Есть ли у русских такие черты и насколько сильно они проявились — вопрос спорный. Но ведь "Мессия" — не русское слово! Бердяев говорил, что любой мессианизм есть лишь подражание еврейскому. Именно у евреев представление о себе как "Избранном Народе" и ожидание Мессии составляет несомненную основу их религии, а религия — основу государства Израиль — и ни один из авторов в ЭТОМ не видит ничего болезненного или неестественного.

Ярче всего эти стороны выступают в работах Янова (что Янов — еврей, подчеркивает Бреслауер в предисловии к одной из его книг, считая это очень важной чертой для характеристики Янова). Он очень искренне описывает свою растерянность и недоумение, когда в 60-е годы в СССР "наступили новые и странные времена": вместо того, чтобы отдыхать в санаториях Крыма и Кавказа, интеллигенты начали бродить по деревням, собирая иконы и даже выражая беспокойство по поводу того что крестьянское население исчезает! Как он старался убедить всех "честных и мыслящих людей", что, склоняясь к русскому национализму, они вступают на опасный и темный путь! Но, по-видимому, ему не казалось странным, что его соплеменники в то же самое время отправлялись не в близкую деревню, а в далекую тропическую страну — не в отпуск, а навсегда — и притягивали их не иконы, которым молились еще их отцы, и деда, а Храм, разрушенный почти 2000 лет назад! Или вот, Янов описывает русскую националистическую группу, провозгласившую в своей программе неприкосновенность свободы личности, свободу всех методов распространения истины, демонстраций и собраний и т. п. Тем не менее Янов считает, что это — начало пути, который неизбежно приведет к деспотизму — только потому, что они говорили о духовном возрождении и русском пути, употребляя выражение "Великая Россия", и предлагали обеспечить особую роль Православия в будущей России. Но ведь все эти черты — и не в виде мечтаний 30 молодых людей, а в реальности — можно наблюдать в государстве Израиль! Считает ли Янов, что оно неизбежно пойдет по пути деспотизма? Однако Израиль упоминается в его

книгах лишь однажды — и как пример демократического государства! Янов полагает, что традиционный образ мышления русских заключается в том, чтобы по любому поводу спрашивать "кто в этом виноват?", пытаться свалить вину на других, в "презумпции национальной невиновности". (Заклучение не безусловно убедительное — часто ведь отмечается и склонность к *покаянию*, типичная для русских, сказавшаяся в типах "кающегося дворянина" и "кающегося интеллигента", в помощи русских польскому восстанию 1830 г. и т. д.). С другой стороны, в его книгах и статьях исключительно большую роль играет концепция "антисемитизма". Но ведь содержание этой концепции и выражается лучше всего его термином: "презумпция национальной невиновности", вопросом "кто виноват в злоключениях евреев?" и ответом: "все остальные", от жителей древней Элефантины или античной Александрии до современных русских. И Янов не видит здесь никаких параллелей!

Лишь предположение о националистически-еврейской подоплеке может объяснить загадку опубликования статьи Янова о славянофилах — в Тель-Авиве! Увы, славянофилами и в Москве-то мало кто интересуется, кому до них дело в Тель-Авиве? Но с предлагаемой точки зрения ситуация становится понятной. Автор хочет сказать: "Не доверяйте свободолюбивому, духовному облику, который имеет русское национальное движение! В конце концов оно приведет к вредным для нас результатам. Так было раньше, так будет всегда". И действительно, мотив "антисемитизма" возникает на последней странице статьи.

Наконец, и у самих идеологов "Малого Народа" нередко заявления, которые, если воспользоваться известным нам тождеством: "интеллигенция" = "Малый Народ" — приобретают смысл прокламирования особой, центральной роли, которую играет в современном нам "Малом Народе" его еврейское ядро. Так, Н. Я. Мандельштам (вдова поэта) пишет: "...Евреи и полукровки сегодняшнего дня — это вновь зародившаяся интеллигенция... Все судьбы в наш век многогранны, и мне приходило в голову, что всякий настоящий интеллигент всегда немного еврей".

Мысль, по-видимому, не случайная, так как мы встречаем ее и у других авторов. Например, Борис Хазанов (псевдоним, автор сообщает, что живет здесь), говорит: "Такова ситуация русского еврейства, какой она мне представляется. Я не вижу противоречия между моей "кровью" и тем, что я говорю по-русски; между тем, что я иудей, и тем, что я русский интеллигент. Напротив, я нахожу это сочетание естественным. Я убежден, что быть русским интеллигентом сейчас неизбежно значит быть евреем".

Автор не принимает эмиграции как выхода (по крайней мере для себя). Тем не менее он заявляет: "...торжественно ставлю крест на теории ассимиляции... Я принимаю как нечто законное то, что я чужой здесь, и в этом состоит мое освобождение. (...) Я не осознаю себя блудным сыном, которому пора вернуться под отчий кров, мой кров всегда со мной, где бы я ни скитался, мне нет надобности осознавать себя евреем, я и так еврей с головы до кончиков ногтей. Вы скажете: а

почва? Как можно жить, имея под ногами бездну? Но удел русских евреев — ступать по воде".

Заявляя, что он не собирается уезжать, автор говорит: "Патриотизм в русском понимании слова мне чужд. Та Россия, которую я люблю, есть платоновская идея, в природе ее не существует. Россия, которую я вижу вокруг себя, мне отвратительна."

Вместе с тем, автор берется указать некоторую миссию, особую роль русского еврейства (или, по крайней мере, какой-то его части): "Заменяв вакуум, образовавшийся после исчезновения(!) русской интеллигенции, евреи сами стали этой интеллигенцией. При этом, однако, они остались евреями".

Также и Шрагин подчеркивает национальную окраску своего понимания интеллигенции ("Малого Народа"): "Национальный склад русского интеллигента имеет мало общего с национальным складом крестьянства, рабочего или бюрократа".

Да и Янов, излагая свой проект духовной оккупации и преобразования России "западным интеллектуальным сообществом", не забывает добавить, что для осуществления этого грандиозного плана понадобится "Новый Барух или Маршалл" (еврейская фамилия маршала происходит от слова "маршалик" — шут в гетто).

Особенно поучительной представляется мне мысль, высказанная Померанцем: "Даже Израиль я хотел бы видеть не чисто еврейским государством, а убежищем для каждого "перемещенного лица", для каждого человека, потерявшего родину, центром международной диаспоры (которая растет и ширится)".

Интересно было бы понять, что это за "перемещенные лица"? Вероятно, образ этот применяется не буквально, например, это не арабские беженцы из Палестины. Скорее, здесь подразумеваются люди, утратившие почву, по аналогии с "потерявшими родину". Образ Израиля, как столицы или Ватикана, объединяющего "международную диаспору" людей "без корней", утративших почву и родину, вполне соответствует концепции "Малого Народа", в нашу эпоху находящегося под доминирующим влиянием одного из течений еврейского национализма.

Очевидно, еврейские национальные чувства являются одной из основных сил, движущих сейчас "Малый Народ". Так, может быть, мы имеем дело с чисто национальным течением? Кажется, что это не так — дело обстоит сложнее. Психология "Малого Народа", когда кристально ясная концепция снимает с человека бремя выбора, личной ответственности перед "Большим Народом" и дает сладкое чувство принадлежности к элите, такая психология не связана непосредственно ни с какой социальной или национальной группой. Однако "Малый Народ" "воплощается": использует определенную группу или слой, в данный момент имеющий тенденцию к духовной самоизоляции, противопоставлению себя "Большому Народу". Это может быть религиозная группа (в Англии — пуритане), социальная (во Франции — третье сословие), национальная (определенное течение еврейского национализма — у нас). Но, как во Франции в революции играли видную роль дворяне и священники, так и у нас можно встретить многих русских

или украинцев среди ведущих публицистов "Малого Народа". В подобной открытости и состоит сила этой психологии: иначе все движение замыкалось бы в узком кругу и не могло бы оказать такого влияния на весь народ.

По-видимому, в жизни "Малого Народа", обитающего сейчас в нашей стране, еврейское влияние играет исключительно большую роль: судя по тому, насколько вся литература "Малого Народа" пропитана точками зрения еврейского национализма, естественно думать, что именно из националистически настроенных евреев состоит то центральное ядро, вокруг которого кристаллизуется этот слой. Их роль можно сравнить с ролью фермента, ускоряющего и направляющего процесс формирования "Малого Народа". Однако сама категория "Малого Народа" шире: он существовал бы и без этого влияния, хотя активность его и роль в жизни страны была бы, вероятно, гораздо меньше.

(Окончание в следующем номере)

Рукопись прибыла по каналам Самиздата и публикуется без ведома автора. Незначительные сокращения, сделанные редакцией, имели целью облегчить ее чтение.

КНИГОТОВАРИЩЕСТВО "МОСКВА—ИЕРУСАЛИМ"

Новая книга

НИНА ВОРОНЕЛЬ. "ШЕСТЬЮ ВОСЕМЬ — СОРОК ВОСЕМЬ"

(сборник фантастических пьес)

Один из критиков назвал эти остроумные, веселые и торжествующе-добрые пьесы "поучительным чтением для взрослых мизантропов". Но это прежде всего — увлекательное чтение для всех, кто любит юмор и игру, независимо от возраста.

Цена — 14 долл.

При предварительном заказе в издательстве цена 11 долл. Заказы и чеки принимаются по адресу: "Moscow-Jerusalem", P. O. B. 7045, Ramat-Gan, Israel.

КУЛЬТУРА И СОВРЕМЕННОСТЬ

В Тель-Авивском музее с большим успехом прошла выставка произведений русского авангарда начала XX века из коллекции М. Гробмана. Выставка вызвала множество откликов израильской и международной прессы и вновь привлекла внимание к вопросу о роли авангарда в искусстве и литературе. Мы публикуем две статьи, по-разному отвечающие на этот вопрос. Хотя их авторы высказывают одинаково крайние точки зрения, мы полагаем, что их аргументы побудят читателей к самостоятельному размышлению и плодотворной дискуссии.

Михаил Гробман

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О РУССКОМ АВАНГАРДЕ

Сталинский железный занавес не просто отгородил Россию от всего мира, он нанес огромный ущерб европейскому искусству. Россия начала 20 века — это огромный экспериментальный котел, где вырабатывались новые волшебные эстетические средства нашей цивилизации. Во всех областях искусства и литературы были начертаны линии, ведущие в 21 век. Три долгих века училась Россия у Европы, чтобы в итоге выдать на гора. Новый Ренессанс, который, как ураган, вторгся в культурную генетику мира. Но очарованная Европа не успела воспользоваться плодами русского Ренессанса, не успела его осмыслить, не успела переварить. Некоторые формальные элементы русского авангарда осели в сознании Европы, но его философия, его религия, его логика, его прорыв в будущее остались недоступными для европейского общества, Европы, и за ней Америка, остались с Достоевским, Львом Толстым и прочими бородатыми пионерами новой русской культуры, даже не подозревая о том, что они только предвестники качественно иного мира будущей культуры. Русская бюрократия, раздавив революцию, отгородилась от Европы утысяченной китайской стеной. Русский авангард ушел в марраны. Европе, для подтирания человеколюбивых слез, были брошены сопливые тряпки Горького. Но вскоре после этого, Европе, раздавленной совместными усилиями Чемберлена и Гитлера, уже было не до культуры — последние слабые знания о русском авангарде бесследно растворились в европейском сознании.

После 2-й мировой войны европейско-американское искусство находилось в периоде расцвета и даже более того в некоторых областях интуитивно повторило достижения русского авангарда в начале века. В частности, основы того, что потом стало называться ташизмом, пол-артом — были заложены русскими художниками за много лет до этого. Должны были пройти долгие

годы, чтобы атлантическое искусство почувствовало кислородную недостаточность, и тогда наново оно открыло для себя русский авангард начала века. Это произошло в 1960-х годах, с оговорками и скрипом, причем торговцы — эти подлинные творцы искусства нашего времени — намного быстрее, чем художники, поняли взрывчатую силу этого забытого периода европейской культуры. Но было поздно. Атлантическая культура, до этого неправильно расшифровавшая для себя русскую революцию, не смогла понять и усвоить русское искусство того времени. Дыра, образовавшаяся в европейском сознании, привела к торможению творческих процессов, и на сегодняшний день можно наблюдать тотальную передачу власти в искусстве в руки городской и правительственной бюрократии, которая диктует направление художественной мысли, диктует стиль, диктует тему, диктует даже количество, технику и размеры. Диктат бюрократии привел к соскальзыванию современного атлантического искусства в сторону повторения классических приемов, в сторону эклектики, компиляции и иллюзионистских трюков. Оголтель и наглый фигуративизм вновь воцарился в искусстве. Мы живем в эпоху реакционного реванша реализма в искусстве, и у этой контрреволюции есть свои певцы и адвокаты. И одной из самых популярных и лживых выдумок является теория постмодернизма. Эта теория, на радость рынку, перекраивает историю художественных идеологий так, что все выброшенное европейским авангардом начала века на помойку истории, снова обретает легитимацию. Художественный упадок нашего времени сравним разве что только с эпохой, в которой жили и с которой боролись импрессионисты (и постимпрессионисты).

Какова была высота взлета русского авангарда начала века, такова была глубина падения русского искусства в период сталинизма. Разложившийся реализм на долгие годы стал официальной религией советского художника. Но русский авангард продолжал существовать так, как существуют подземные реки и озера, и он вышел на поверхность, но уже в совсем ином виде, во 2-й половине 50-х гг. (то есть во времена Хрущева). Логика развития нового русского авангарда иногда была параллельной творческой мысли Запада, иногда же резко отличалась от нее. В некоторых областях русские художники опередили западное искусство. В первой половине 60-х гг. уже существовало русское концептуальное искусство (И. Кабаков и др.), когда Запад еще занимался хеппинингами — Л. Нусберг с его группой "Движение" уже создал свои первые перформенсы, В. Яковлев наряду с абстрактными вещами создал новый фигуративный экспрессионизм (его работы 25-летней давности поражают сегодня своей актуальностью). Автор этих строк в середине 60-х гг. наряду с концептуальными вещами, работал над семиотической системой нового символизма. Русский авангард начала века редко влиял стилистически на новый авангард, но существовала преемственность интеллектуальная, мировоззренческая и духовная. Но самым забавным в этой ситуации было то, что между поколением дедов и внуков полностью отсутствовало поколение отцов. Неизвестно, что было с Христом, но русский художественный авангард 1960-х точно зародился от Святого Духа.

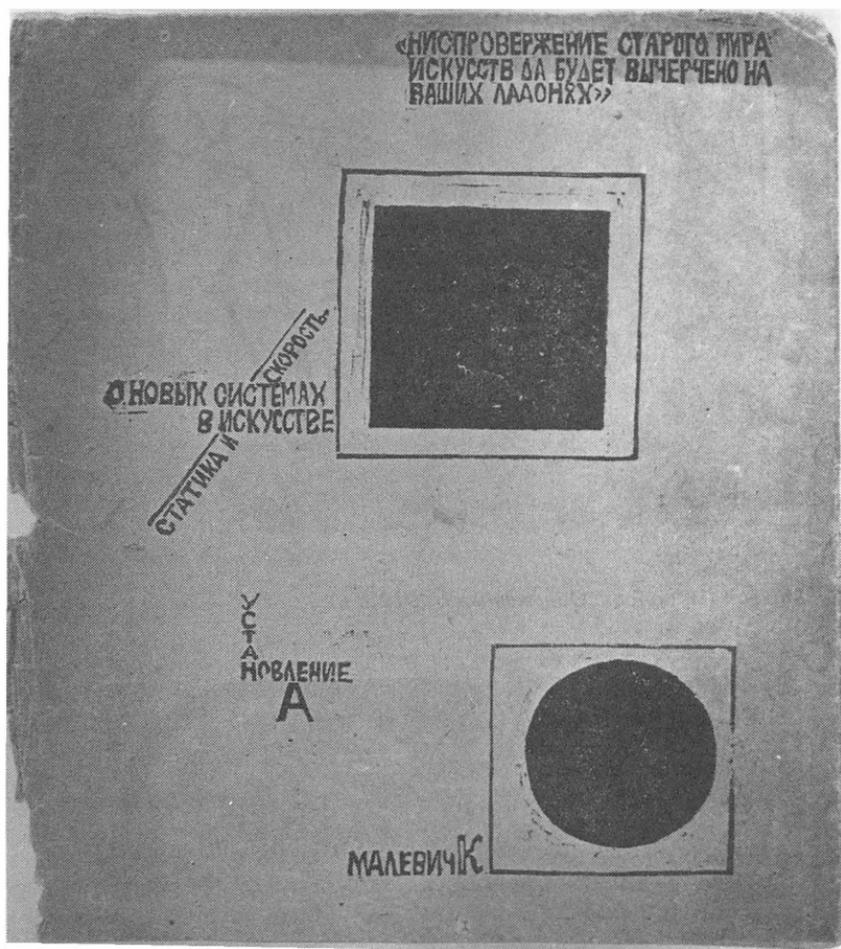
Сегодняшний русский художественный авангард обширен не только по объему разрабатываемых проблем, но и количественно и географически

(за счет эмиграции): Москва, Нью-Йорк, Европа, Израиль. Острием современного авангарда является искусство политико-социальное. Интересно сравнить некоторые аспекты западного и русского искусств сегодня. В Европе и Америке мы наблюдаем симмуляцию стилей или же просто вещей, в русском искусстве происходит симмуляция идеологических структур: симмуляция мифов, символов, общественных понятий. На Западе искусство — это игра сытых и богатых, русское искусство — активный участник исторического процесса. Западное искусство стремится быть монументальным в своей симмуляции (от подражания предмету, до подражания целой фабрике, дому и т. д.) — разбуханию способствует не идея, но жирные бюджеты богатых фирм. Русское искусство интимнее, человечнее, если его не толкает идея, оно старается не выходить из пропорции ежедневной человеческой жизни. В русском искусстве много поэзии и это нисколько не мешает его атакующему интеллектуализму. Западное общество ведет свое современное искусство, русский художник является ведущим в своем обществе. Впрочем, коммерциализация русского авангарда сегодня тоже идет полным ходом, и только время покажет нам, какова степень устойчивости потомков русского футуризма.

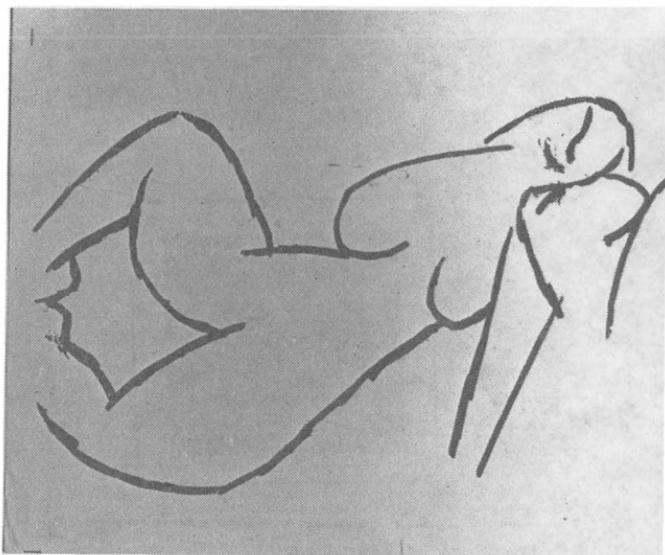
Как это ни парадоксально, но та сила, которая стерла достижения русского искусства 20-х гг., та же самая сила привела к новому взлету русского авангарда. Русская империя, последняя империя в мире, не просто объединяет в себе десятки стран и народов, но и имеет центр, мозг, Москву, куда, вот уже много-много лет, стекается со всей империи вся наиболее активная и ищущая часть интеллигенции. Когда мы употребляем термин „русское искусство“, мы не имеем в виду искусство только русского народа, ибо на сегодняшний день представители многих народов участвуют в единой культуре империи. В частности, евреи занимают ведущую роль в современном авангардном русском искусстве наряду с собственно русскими. Евреи внесли в имперское искусство ироничность, отстраненность и анализ. Еврейские художники были практически пионерами в деле использования официальной советской культуры, как материала, материала не просто легитимного, но важного, как воздух, в зарождении новых художественных концепсий. Таким образом, агрессивная и реакционная официальная советская эстетика, задувив ранний авангард, сама стала жертвой и пищей нового русского авангарда.

Западная культура, ослабленная тепличными условиями бесплатной свободы, инфантилизировалась, и ее вновь осеняет жалкий дух Чемберлена. Русская интеллигенция не только выжила в годы террора и тотального мрака, она сохранила свой творческий дух и во враждебной среде смогла создать новую философскую структуру литературы и искусства. Новейшая русская эмиграция на Западе является первой ласточкой объединения двух дочерних культур, но если этот синтез не произойдет, то есть опасность, что свет не только не придет с Востока, но и навсегда останется на Востоке.

М. Гробман — художник, поэт, основатель художественной группы „Левиафан“ и редактор одноименного журнала; живет в Тель-Авиве.



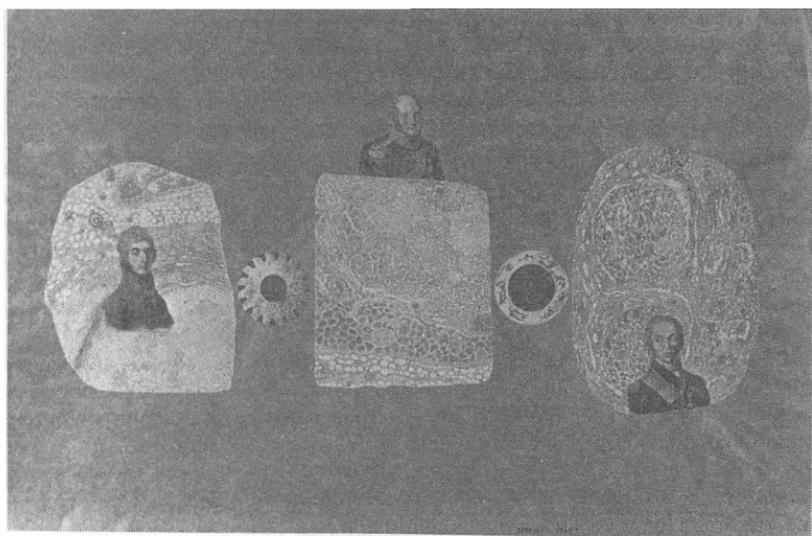
Эль Лисицкий. Обложка к книге Малевича. 1919 г.



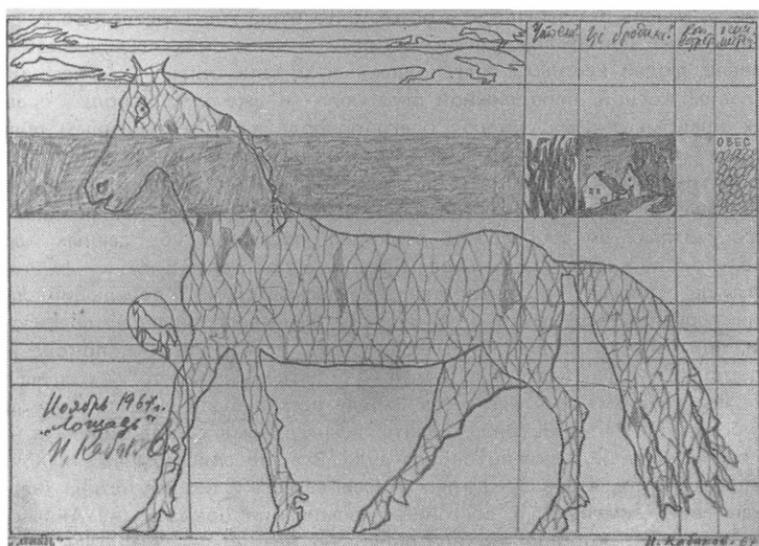
Михаил Ларионов. "Обнаженная". 1912 г.



Наталья Гончарова. Из цикла "Мистические образы войны". 1914 г.



Михаил Гробман. "1812 год". 1964 г.



Илья Кабаков. "Лошадь". 1967 г.

ГАРВАРДСКИЙ СИНДРОМ В ЭСТЕТИКЕ

1

Одним из важнейших событий в литературной полемике последних лет представляется мне спор об авангардизме между В. Аксеновым¹ и Б. Хазановым², состоявшийся в конце 1985 года. Спором (и событием) делает его реплика Хазанова на заметку Аксенова. Аксенов пропел несколько невнятный гимн авангардизму; Хазанов, с неожиданной для зарубежной русской печати отчетливостью, произнес над этим эстетическим течением надгробное слово; тезис Хазанова: тень, знай свое место.

Обе статьи если и не прошли незамеченными, то, во всяком случае, большого оживления не вызвали. Молчаливое большинство было, несомненно, с Аксеновым, чья позиция — по меньшей мере — привычна по эту сторону границы. Предмет спора едва ли устарел, и мне хочется возразить обоим писателям, в особенности же Хазанову — и как раз потому, что в *принципе* я с ним согласен. Его статье *Прощание с авангардом* суждена, мне кажется, долгая жизнь в русской литературе.

Аксенов хвалит авангардизм, попутно утверждая, что это эстетическое течение враждебно революции по самой своей природе. В первый момент такое противопоставление кажется всего лишь оригинальничаньем. Затем приходит на ум, что на нем настаивали советские критики, говорившие от имени марксистской революции: Аксенов лишь поменял в их тезисе плюс на минус. Мысль эта забылась — потому что была государственной и, следовательно, не принималась всерьез. Среди ее советских сторонников недоставало людей честных, подготовленных и талантливых³. Авангардизм был гоним косной, неподвижной властью, — и уже этим хорош и прав в глазах инакомыслящих. Вопрос о его природе казался решенным обеим сторонам: и приправительственной критике, и литературе нравственного сопротивления. Потом этот вопрос и вовсе был вытеснен подъемом религиозных и национальных настроений. В *эпоху разрядки*, в процессе общего *разжижения социализма*, с уходом последних убежденных марксистов, — он, по видимости, перешел в разряд второстепенных.

Хазанов отвергает противопоставление авангардизма и революции, справедливо полагая, что критики, в меньшей мере поработанные предвзятостями, притом как *левые*, так и *правые*, вот уже в четырех поколениях единодушно признают эти два явления родственными, что "не случайно вожди авангардизма и у нас, и на Западе всегда были людьми радикальных убеждений", что, наконец, адепты авангардизма всегда видели в нем одно из проявлений революционного духа. Все это слишком верно. Хочется лишь добавить, что в суждениях Аксенова есть и важная истина (не названная своим именем) и достойная упоминания новизна (не Аксенову принадлежащая). Хорошо это или плохо, но Аксенов — "вещатель общих дум", которые он не сумел или не захотел внятно сформулировать.

Упомянутая истина-новизна состоит в том, что слово *революция*, опо-

этизированное двухвековой европейской традицией, владевшее великими умами, так много значившее для наших отцов, дедов и прадедов, — теперь утрачивает последние черты своей привлекательности. Для одних оно сделалось пустым, для других — одиозным. Поэтому-то авангардизм для Аксенова — уже не искусство революции и не революция в искусстве, и революция — не алтарь свободы, а “древняя пошлятина”, “нечто чингизхановое”, — хотя темперамент писателя не оставляет, по-моему, ни малейших сомнений в том, с кем он был бы в 1920-е годы. Недаром Аксенов все же полагает, что революционная эпоха была эпохой великого искусства — правда, лишь вследствие случайного совпадения.

Я согласен с Аксеновым в том, что большевистская революция была отмечена не только жестокостью и культурным помрачением, но и пошлостью (я бы сказал: банальной вторичностью). Не вижу вреда и в запальчивости его суждений: эта запальчивость указывает направление общественной мысли. Весы должны качнуться в другую сторону. Некогда революция нашептывала нечто гордое уму и сердцу, теперь же в связи с нею поневоле думаешь в первую очередь о невосполнимых утратах, о катастрофической реакции, о том, стоила ли игра свеч. Не вызывает у меня протеста и мысль о древности революции, хотя следовало бы, скорее, говорить о древней грезе социальной справедливости и вызываемых ею по временам “очистительных бурях” (Хазанов), бунтах бессмысленных и беспощадных. Воспевать эти бунты после всего нами пережитого и передуманного — неосмотрительность, тоже, пожалуй, родственная пошлости. Никто, впрочем, этого уже и не делает.

Наоборот, для Хазанова революция сохранила какую-то долю очарования, во всяком случае, — не вовсе скомпрометирована. Ход его мысли более традиционен, а в наше время, с учетом перемены ветра, — и более рискован. “Художественный авангард, — пишет он, — был слабым подобием социальной революции. Дух революции, дух свирепой и агрессивной молодости, — был и его духом... Но революция привела к власти тоталитарную партию (здесь, как видно из формулировки, Хазанов оставляет место для альтернативы), и все краски стали линять. Новому режиму авангардное искусство было не нужно, ибо оно было революционно... Можно назвать дату окончательной гибели авангарда: 1930, смерть Маяковского...” Речь, следовательно, ведется об авангардизме в литературе, в поэзии.

Я не авангардист, скорее пассивист: истина тем любезнее мне, чем древнее. Поэтому не традиционность смущает меня в этих словах Хазанова, а расстановка акцентов. Во-первых, новому искусству вовсе отказано в самостоятельности: оно — “слабое подобие”, притом — совсем как у марксистов — явлений социальных. Почему бы не предположить здесь связь не столь однозначной? Например, взаимовлияния, при происхождении от одного корня? Во-вторых, “авангардное искусство ... было революционно” звучит как затасканная (вследствие своей очень не новой и напыщенной поэтики) похвала. Что же: с режима краски начали линять, а слабое подобие революции в эстетике продолжало сиять свежими красками? Вообще: хорошо ли революционное искусство?

Теперь коснемся деталей, по видимости второстепенных. Год 1930 ед-

вв ли годится в качестве даты “гибели авангарда”. Обереуты набирали силу, Заболоцкий еще был на пути к себе (“Столбцы” вышли в советском издательстве в 1929), Крученых здравствовал, ему предстояло увидеть еще целых два поколения своих новых читателей. Пастернак еще был ранним Пастернаком, тяготел к футуризму. Авангардизму в поэзии противостояли те, кто противостоял ему и в 1911: Ходасевич и Ахматова.

Затем и Маяковский — не только в год своей гибели, но и в целом, — едва ли может быть признан авангардистом. Вернее всего было бы видеть в нем реалиста, притом с первых же его шагов в литературе. Реализм Маяковского был плоско материален, духовной реальности не допускал, но в те годы именно так реализм и понимали. В сознании современников авангардистом Маяковского делали его собственные декларации да присущая ему грубая агрессивность — элемент в авангардизме если и не обязательный, то все же характернейший, выражающий сокровенную природу этого течения.

Но мало того: смерть Маяковского вообще не кажется теперь вехой в русской поэзии. Непомерный пиетет, которым окружили это имя, не оправдался. Оставшиеся после Маяковского тексты не живут, не читаются; ему просто нечего сказать нам. В его холодных, за столом сочиненных стихах не хватает душевных движений, а значит — личности, индивидуальности. Время вульгарного реализма прошло.

С другой стороны, тома восторженных воспоминаний современников, преклонение Пастернака и Цветаевой, — все это говорит не только о настроениях эпохи, о качестве общественной экзальтации, но и о незаурядном магнетизме Маяковского. Приходится, однако, допустить, что магнетизм этот был реальностью, внешней по отношению к литературе. Эта нелитературная одаренность Маяковского, гармонично дополнявшая его большой, но вполне расхожий поэтический дар, как нельзя лучше соответствовала тогдашним представлениям о поэте. Игра, поза, артистизм; гигантомания вместо естественности, литературные афоризмы вместо мировоззрения, экзальтация вместо духовности, — вот чего ждали от поэта и что находили в Маяковском.

Маяковский не был нов. Прозорливейшие из его современников — Бунин, Ходасевич, ранний Чуковский, — лишь немного сгущая краски, отмечали, что за вычетом Некрасова, Андрея Белого и тогдашних площадных фельетонистов от Маяковского остается ровно желтая кофта. Они же писали о его человеческой малости, незначительности.

Недавняя книга Ю. Карабчиевского⁴ как бы накладывает лупу на эти мысли представителей либерального консерватизма в эстетике. Талант и новизну Маяковского автор, по-моему, преувеличивает. Удача и сила книги Карабчиевского в том, что она показывает Маяковского в свете новых ценностей эпохи постмодернизма, о которых (с оговоркой о том, что всякой эпохе свойственно желание абсолютизировать свои истины) я решаю думать, что они — ближе к неискаженному, негипертрофированному в духе женеvского мечтателя гуманитарным универсалиям европейской цивилизации, чем ценности модернизма. Вспомним: ведь именно эпоха модернизма фетишизировала витальную силу и новизну как самодовлеющую ценность, а с талантом впервые связала представление о насилии —

над человеком, природой, словом; именно она выдвинула (возьмем для наглядности политику) таких гениев как Сталин и Гитлер; именно она на все лады обыграла мысль о том, что цель оправдывает средства⁵. Прежде слово *талант* вызывало скорее представление о страсти к высокому, о красоте и духовности (а иногда — и subtilности): вообще о качествах, позволяющих приблизиться к вневременному абсолюту.

Продолжая свою мысль о вторичности эстетического авангардизма по отношению к политическому (к революции), Хазанов пишет: “Можно изумляться первозданно свежему чувству слова у гениального дикаря Хлебникова”. Это правда: можно, хотя многие (среди них — Блок, Гиппиус, Андрей Белый, Брюсов, Волошин, Гумилев, Ахматова, не говоря об уже упомянутых ранее, — список этот легко расширить) и не изумлялись. Изумлялись преимущественно литературоведы, вообще люди мысли, более подверженные идеологическим поветриям, из поэтов же — за несколькими (пусть даже блистательными) исключениями — лишь те, кто сами теперь оказались в кусткамере литературы: дыр бул щил, привязанный к Хлебникову партийно-литературными интересами и социальной ущемленностью. Но можно изумляться и другому: стойкости призрачного авторитета Хлебникова, чем-то неуловимо напоминающей стойкость другого призрака, некогда бродившего, теперь же обосновавшегося в Европе, а бродящего — в Африке, Азии и Латинской Америке.

С Хлебниковым прочно связано видение революционным образом обновленного искусства. Гениальность Хлебникова — общее место, символ веры литературного (и окололитературного) поколения 1950-х, для которого ничтожество советской литературы стало открытием, заработанным кровью. Память Хлебникова священна для противников “догматического сна”. Однако давно замечено, что один догматический сон с успехом подменяется другим. И вот — я решаюсь думать, что утверждение о гениальности Хлебникова поддерживается тем же, чем держалась тяга к революции: инерцией мысли, комплексом голого короля. Против этой гениальности, собственно, нечего возразить: нас она ни к чему не обязывает. И я принимаю это утверждение с готовностью, оговорив лишь, что как поэт Хлебников, с моей точки зрения, не состоялся — и в этом смысле он совершенно ординарен, подобен тысячам других в каждом поколении. Реализовавшийся талант или гений — вообще скорее исключение, чем правило.

Тот же Карабчиевский напомнил нам, что в русской литературе всегда существовало и по сей день присутствует другое отношение к Хлебникову. Отдавая должное прозренческому лингвистическому чутью будетлянина, либеральный консерватизм находил и находит его собственно литературный дар робким, слабым. Литература не сводится к замыслам, не довольствуется набросками. Филология, идеология, визионерство — могут служить ей, но бессильны заменить ее. Собравшись с духом, отстранив на минуту расхожую легенду, перечитаем Хлебникова, — но только теми же глазами, какими читаем Гете или Ахматову. Для многих, я уверен, этот опыт даст неожиданный результат. Король окажется — нет, не вовсе гол, но полудет. Обнаружатся вялые ритмы, непонимание законов композиции, дребезжащий звук, расслабленная и претенциозная мысль, обывательский нарциссизм, наконец, и просто глупость — вроде:

Я вижу конские свободы
и равноправие коров...

притом глупость идеологизированная в духе анархической революционности.

Легенда о Хлебникове, о непризнанном гении, явившемся осчастливить современников, но ими отвергнута, возникла и удержалась в умах людей, всерьез полагающих, что их время — венец истории, что они умнее своих дедов, не выдавших аэроплана, и что после них — вообще ничего не будет. Есть такие люди — и есть эпохи, когда людей этого типа становится много. По своему происхождению хлебниковская легенда — пародия на историю Христа. После Хлебникова она была повторена в десятках удешевленных версий, став стандартной социальной нишей неудовлетворенного честолюбия неудачников.

2

Но вернемся к спору о революции. Оба писателя (и я вслед за ними) согласны в том, что "искусство лишь в малой степени связано с политической" (Аксенов). Хазанов, сверх того, делает очень многозначительную ремарку: "Революция Семнадцатого года, ее приближение и взрыв были чем-то гораздо большим, чем политическое событие", они "не были делом рук какой-то одной политической группы, заговором бесов или аферой мошенников". По мнению Хазанова, революция — "грозовой разряд энергии, копившейся в толще народа десятилетия, если не века" (обратите внимание на эмоциональную окраску этого более чем традиционного лексического ряда).

На этом Хазанов обрывает "надоевший спор". Мне же этот спор не кажется исчерпанным. Он затрагивает самые основы нашей жизни, нашего способа мыслить, а значит — нашего будущего. Наконец, он актуален: в современном мире, в первую очередь — в России, уже начал действовать эффект конца столетия, не раз заявлявший о себе в Европе: ускорение социальных процессов под воздействием психологии круглой календарной даты. Вопрос о том, хороша или плоха революционность, может ли она прититься ко времени или к месту, может ли быть плоха в политике — и хороша в эстетике, — вопрос этот не сходит со сцены.

Предметом неустанным недоумения людей, вырвавшихся из СССР, является социалистическая (иногда — прокоммунистическая, пробольшевистская) ориентация западных интеллектуалов и истеблишмента, вообще публики достаточной и образованной. Столь же неустанны и попытки выехавших переубедить эту публику. Человек, знакомый с русской историей, склонен думать, что "все это уже было": террор со стороны одержимых (бескорыстных и не совсем бескорыстных) одиночек и групп, под экстремистскими и по видимости идеальными лозунгами, при поголовном одобрении "мелкой буржуазии". Русский видит преемственность между этой кустарной самодеятельностью и массовым террором XX века, с миллионами бессмысленных жертв. Ему кажется, что Запад фатальным

образом повторяет катастрофический русский опыт. Он кричит, срывая голос: "берегитесь социализма", — его не слышат.

Но социализм не беспочвенен. Картина всеобщего равенства в бесконфликтном обществе и впрямь притягательна. Она имеет власть над совестью людей, выросших в довольстве. Она льстит человеку, заслоняя все практические неудачи на пути ее тотального воплощения. Отдадим должное этой *мечте*: она принесла человечеству столько горя, сколько ни одна другая, — но идеей ее было счастье. Природа этого представления о счастье прелюбопытна. Бросим взгляд на одну из гипотез о ней.

Рассуждают так. Упомянутая мечта сделалась реальной общественной силой, лишь когда на земле стало тесно, когда в силу вступили статистические закономерности, закон больших чисел. С начала XX века европейский мир стремительно демократизируется. Рука об руку с демократизацией выступила и родственная ей стихия — профанация, разрушение и опошление вековых ценностных структур. И многим стало приходиться на память второе начало термодинамики, закон накопления энтропии, пророчества Клаузиуса о тепловой смерти вселенной. Неожиданным оказался лишь уровень проявления этих сил: социальный, а не молекулярный.

Так сложилось, быть может, самое остроумное из всех суждений о социализме: тяга к социализму есть подсознательное стремление человечества к самоубийству. Разработка этой идеи принадлежит Игорю Шафаревичу⁶. Как недостаток его книги отмечают обычно то, что слово *социализм* он трактует с недопустимой общностью, подводя под него явления, слишком непохожие друг на друга. Зато приняв гипотезу Шафаревича, мы с соблазнительной легкостью объясним себе все кошмары двадцатого века, мировые войны, лагеря смерти, большевизм и нацизм, а также сегодняшнее ядерное противостояние. Все это, говорит "схема Шафаревича", пришло с социализмом. В нем человечество грежит об окончательном успокоении, готовит себя к смерти, подводит — к самоубийству.

Я беру идею Шафаревича в качестве рабочей гипотезы — с тем, чтобы пересадить ее из политики в эстетику (где поневоле обойдусь с терминами, выражающими левизну в эстетике, столь же непринужденно, как Шафаревич — с социализмом). Пусть Шафаревич прав, а западные интеллектуалы слепы, заражены бациллой левизны. Пусть прав и Авторханов⁷ в своем рассказе об анекдотической предвзятости знаменитой Гарвардской экспедиции, работавшей в Германии после капитуляции нацистов. Экспедиция эта была социологическая; она опрашивала пленных и беженцев с целью понять и объяснить недоумевающему Западу, что же это такое: государство победившего социализма. Авторханов пишет, что людям, прошедшим небывалые в истории ужасы, предлагали вопросник, составленный с циничной тенденциозностью. Профессора были *левые*. В итоге эти умные, превосходно образованные, но совершенно ослепленные люди получили тот ответ, которого домогались: СССР — государство социальной справедливости. Такого рода *левизну* я буду называть гарвардским синдромом.

Итак, Хазанов видит в литературном авангардизме "слабое подобие социальной революции". Наоборот, Аксенов уверяет, что нет в природе вещей более далеких друг от друга, и — в качестве курьеза — приводит

слова Наума Коржавина о сущностном сходстве авангардизма и большевизма. Мне жаль, что я не слышал этих слов прежде. Они — уже почти в точности то, что я хотел бы поставить на обсуждение.

Можно предложить следующую *схему*. Авангардизм относится к породившему его модернизму примерно так же, как большевизм (нацизм и другие крайние социалистические течения, рвущие с традицией) к социализму. Тяга к модернизму (авангардизму) и тяга к социализму (большевизму, нацизму), столь возросшие в эпоху демографического взрыва, — суть проявления *единого процесса накопления энтропии*, ведущего к деструкции человечества. Социализм и модернизм выступают как равные и независимые (вопреки мысли Хазанова о “слабом подобии”) проекции этого процесса, соответственно, в политику и в эстетику. Они в равной мере самоубийственны.

Здесь, наконец, приходится заняться определениями. Под модернизмом обычно понимают совокупность течений в литературе и изобразительном искусстве, господствовавших в Умах со второй половины XIX века по вторую половину XX века. Но столь же часто под этим словом понимают и *esprit nouveau*, самую атмосферу, вызвавшую к жизни все эти течения. Затруднительно указать, кто первый загорелся идеей тотального обновления и кто первый стал от нее скучать. Напомню, что парижская *Figaro* еще в 1876 называла импрессионистов безумцами. Московская послесталинская выставка Пикассо (тоже — *еще*) воспринималась многими как глоток свежего воздуха после многолетней затхлости (а авангардистские стихи о ней Савелия Гринберга — “жив был пока Сосо — не могло быть выставки Пикассо” — до сих пор находят сочувственную аудиторию). Представление о модернизме хорошо разработано.

Наоборот, об авангардизме большинство энциклопедий молчит, но образ этого эстетического движения имеется у всех образованных людей. Точнее, впрочем, было бы говорить о спектре взглядов, очень размытом — и потому живом. Возможно, энциклопедии щадят плодотворную неопределенность этого понятия, давая ему работать. Мне авангардизм представляется пеной на поверхности модернизма, той *передовой* его частью, которая вполне порвала с гуманитарной природой европейской цивилизации, вывернула наизнанку гуманизм — или, если угодно, придала гуманистическому мифу последнюю полноту и завершенность. Доопределить понятия модернизма и авангардизма я попытаюсь методом сопоставления.

Как и социализм, модернизм грезит свободой, — понимая ее в смысле материальном, физиологическом, а не духовном. Оба течения, зная силу идеологизированных слов, *говорят* о духовном, но интересуются предметным. Оба грезят обновлением, поклоняются молодости и заискивают перед молодежью. Оба выводят из свободы идею некоего естественного совершенства форм, внутренних и врученных человеку самой природой, идею устранения предрассудков и догм. Исполнителями всего этого великолепия являются на сцену уже не мечтатели, а насильники: их подручные — большевизм (нацизм) и авангардизм. Свобода, подразумеваемая и на первых порах даже реально доставляемая этими течениями, вскоре оборачивается для народа последним и окончательным рабством: порабощением

духа, запретом инакомыслия. Формы, совершенные в своей простоте, быстро эволюционируют в полный хаос. Здравый смысл изгоняется, торжествует "иррациональный зов". Человек, ради которого весь этот новый мир затевался; человек, в котором, вопреки Хлебникову, только и возможно осуществление каких бы то ни было свобод, — окончательно выносится за скобки. Этим господам просто не до него.

Свобода неизменно связывается с разрушением структур, внешних и внутренних. Социализм перестраивает классовую иерархию общества, модернизм — ценностную иерархию душ, эстетику. Этика и мораль, тесно связанные с эстетикой, находятся в сфере интересов обоих хищников и тоже перестраиваются. Все перестройки имеют целью упрощение, оплощение. Это чистый случай накопления энтропии.

Свобода осуществляется также путем пресечения преемственности поколений. Социализм и модернизм одинаково нетерпимы к прошлому, к традиции, к религии. Большевизм и авангардизм доводят эту нетерпимость до крайности. История пересматривается. (Поэтому словосочетание "традиции авангарда" из статьи Аксенова представляет собою знаменательный курьез, родственный пышной революционной фразеологии самой неподвижной политической системы современности.)

Другой общий для этих течений знак — равенство. У социалистов оно начинается казнью монарха, у модернистов — сбрасыванием классиков с парохода современности. Если внутренним двигателем гуманизма была совесть, идея равенства перед Богом, то внутренним двигателем течений эпохи кризиса гуманизма становится зависть, идея уравниловки, действующая в пользу энтропии. Поскольку внешняя свобода и полное материальное равенство в реальной человеческой жизни, как в политике так и в эстетике, одинаково утопичны и невоплотимы, стремление к ним необходимо подразумевает насилие над людьми и природой, а значит — жестокость.

Равенство тесно связано со свободой. Социализм и модернизм домогаются физиологического раскрепощения, поэтому в своих крайних формах (большевизм/нацизм, авангардизм) они выводят из-под контроля дочеловеческое в человеке, становятся бесчеловечны. Большевизм (нацизм) обесценивают человеческую жизнь, авангардизм — художественную индивидуальность. На словах оба течения утверждают нечто противоположное. Ложь, обман и самообман, — их неотъемлемые черты.

Декларируемая естественность новых течений оказывается умственной игрой, ибо опровергается жизнью. Тогда — жизнь, а не идеология, объявляется нечистой, подлежащей исправлению. Искусственность идеологии приводит к неизбежности насилия над человеком и природой, — и рождает внутри социализма и модернизма идею партии, одно из самых мрачных изобретений XX века. Партия как инструмент подчинения и подавления осуществляет новую элитарность: "некоторые животные более равны, чем другие". Сначала это дело внутрипартийное, но в случае торжества партии элитарным становится все общество. Права элиты закреплены теперь не только и не столько индивидуальными качествами и игрой случая (как в старом мире), но в первую очередь принадлежностью к партии, которая все более становится кастой. Партийный вождь подменяет Твор-

ца. Человеческое участие в творении, живое творчество — все более уступает место интерпретированию, режиссуре. В политике все это давно отмечено, но то же, если взглядеться, происходит и в эстетике. Лишь в XX веке появились художественные кружки с представлениями о централизме и партийной дисциплине, с претензиями осчастливить все человечество, агрессивные и назойливые.

Общая мечта большевиков и авангардистов — сверхчеловек и сверхчеловечество. Отсюда их этатизм, отсюда же берут начало свойственные адептам новых течений нетерпимость, несдержанность. Член партии мыслит себя не парламентарием с голосом решающим или совещательным, но Большим Братом, Председателем Земного шара. Он готов встать в очередь за этим титулом, но на меньшее — не согласен. Если монарх (вспомним: поэт — царь) ограничен законами и моралью, то генсек освобожден от них, свободен в своем служении высшей цели. Так же точно и в сознании авангардиста высшая воля сменяется высшей целью и открывает шлюзы хаосу...

Сопоставления можно продолжить. Конечно, они разве лишь иллюстрируют, и уж во всяком случае никак не доказывают предложенный тезис. Его доказательство и не входило в мои планы. Я не верю в абсолютное зло или в абсолютное добро. И я был бы авангардистом, если бы упустил из виду, что все эти рассуждения — лишь схема, если бы утверждал, что мои построения безукоризненны и полны. Как всякая модель, они по необходимости односторонни.

Но если эта модель верна хотя бы отчасти, то почему же, скажут мне, тоталитаризм так злобно преследует своего природного союзника? Вопрос этот не нов. В 1932 году парижский журнал *Cahiers d'art*, вестник кубизма, писал по поводу гонений на модернистов в Германии: "Национал-социалистическая партия, по причинам нам непонятым, обнаруживает решительную враждебность к подлинно современному искусству. Такая враждебность кажется тем более парадоксальной, что эта партия хочет привлечь к себе молодежь. Допустимо ли впитать элементы юные, полные энтузиазма, витальной силы, творческих способностей, чтобы снова погрузить их в лоно устаревших традиций?"

На этом вопросе построена и вся аргументация Аксенова, который просто душно сражается с ветряной мельницей: с социалистическим реализмом. На этом недоумении держится и наша давнишняя, устоявшаяся, из юности вынесенная (с тех пор не перечитывали) симпатия к футуризму: раз *они* его гонят — значит, он *им* враг. Но отчего же не брат? Не парадоксально, а только логично гнать взашей конкурента, выступающего с той же претензией на человеческие души, с тем же наследственным правом. Я вижу тут династический спор. Советский и нацистский режимы преследовали авангардизм с ожесточением чисто родственным. Так Каин убивает Авеля: вдвоем им тесно. Так вавилоняне под корень вырезают братский народ ассирийцев. Так большевик Сталин убивает большевика Троцкого.

Как идея, авангардизм, может быть, столь же древен, сколь и социализм. Его живым воплощением является дзен-буддизм на Востоке, его присутствие угадывается в эстетике еврейского хасидизма⁸. Принцип "без царя в голове" как вкрапление в полифонию общества всегда допускался и

часто давал вполне позитивные результаты. Продолжая "схему Шафаревича", можно сказать, что как дозированное присутствие болезнетворной флоры способствует здоровью организма, так присутствие деструктурирующих сил в обществе и в искусстве, пока они слабы, может быть и безопасно, и даже полезно: эти силы не допускают расслабленности, служат для создания иммунитета. Нужно только не забывать, что их биологическое задание — погубить организм, что они тяготеют к неограниченной экспансии. (Не это ли качество — всепожирающую, тоталитарную природу авангардизма — невзначай выдает Аксенов репликой "Авангардно все, что живо"? *Существительное* в ней — все.)

Верна "схема Шафаревича" в эстетике или нет, но гарвардский синдром у современной русской творческой интеллигенции — несомненен. Большинство тех, кто противопоставил себя советскому режиму, сделались правыми (иногда крайне правыми) в политике, — в эстетике же как раз они часто остаются на крайних левых позициях. Это, по меньшей мере, непоследовательно. Затем, это еще и неплодотворно — как вообще всякий душевный комфорт, всякая инерция мысли. Плодотворна, решаюсь думать, *умеренность*. Я специально беру это скомпрометированное, высмеянное романтиками всех мастей слово. За ним мерещится мещанство, буржуазность, — но если так, то почему не вспомнить и всех тех качеств, которые обнаружены самыми энергичными борцами с буржуазностью? Умеренность для меня — не заплывшее жиром самодовольство, а признание неустранимой ограниченности человека, отказ от фальшивой подстановки его на место Бога. Мне кажется, что Гораций был очень серьезен, когда провозгласил: *Est modus in rebus*, есть мера в вещах.

Эту же мысль легко сформулировать и в сниженных терминах, без религиозной поэтики. Прка в единоборстве совести и зависти побеждает совесть, гуманизм не извращен, и нет почвы для уродливого гигантизма, будь то политика или эстетика. "Чистый" же авангардизм — и там, и тут, — питается завистью. В отличие от политических авангардистов, эстетические авангардисты нигде не добились (и теперь уже вряд ли где-либо добьются) тотального господства. Поэтому их вклад в историю культуры скорее всего останется "консервами для доцентов литературы", по остроумному замечанию Хазанова.

В заключение — несколько цитат из давней статьи Михаила Лифшица "Почему я не модернист?"⁹. Статья была написана в 1963 году, автор — убежденный марксист, более того, честный и страстный апологет советского режима. Попробуем, однако же, прочесть его статью заново, с учетом тех изменений в семантике, которые накопились в языке за четверть века.

"Мне кажется, что модернизм — это величайшая измена служителей духовного ведомства... Обывательское приспособление профессоров и литераторов к реакционной политике империалистических государств — это мелочь по сравнению с евангелием нового варварства, заключенном в самых искренних и невинных исканиях модернистов. Ибо первое есть как бы официальная церковь, основанная на соблюдении традиционных обрядов, второе же — это общественное движение, добровольное мракобесие... Не может быть двух мнений о том, что опаснее для людей".

“... не торопитесь ликвидировать наследие эпохи Возрождения и свободной мысли XIX века. Не повторяйте вместе с толпой современных мещан, что это болотные огни в темной ночи тысячелетий, а не зарницы, освещающие путь в будущее. Не обращайтесь к новому средневековью, подобно пророкам регресса, — или не жалуйтесь, если вас заставят верить в абсурд и укажут вам, что именно следует считать прекрасным, во избежание палки или чего-нибудь похуже”.

“Да, “современное искусство” — более философия, чем искусство. Это философия, выражающая господство силы и факта над ясной мыслью и поэтическим созерцанием мира. Жестокая ломка реальных форм означает порыв слепой озлобленной воли. Это месть раба, его мнимое освобождение от ига необходимости, простая отдушина. И если бы только отдушина! Существует фатальная связь между рабской формой протеста и самим угнетением. Согласно всей новейшей эстетике искусство действует гипнотически, травмируя или, наоборот, отупляя и успокаивая лишенное собственной жизни сознание. Короче, это искусство толпы, управляемой посредством внушения, способной бежать за колесницей цезаря. Перед лицом такой программы я голосую за самый посредственный, самый эпигонский академизм, ибо это — меньшее зло. Ну, разумеется, идеал мой в другом, как может догадаться читатель”.

Не поставим в вину марксистскому философу не совсем точное обращение с термином *модернизм*. Смысл его слов понятен — и заслуживает того, чтобы в него взглянуться. Из его слов вытекает, между прочим, что я не сказал ничего нового, — разве лишь переформулировал то, что понимали уже очень давно, применил старое правило к новому времени. И я рад этому, ибо поиск оригинального — не моя добродетель.

Но, быть может, и М. Лифшиц сказал не так уж много нового. Евгений Боратынский писал за сто сорок лет до него:

Из нас, я думаю, не скажет ни единый
Осине: дубом будь, иль дубу — будь осиною;
Меж тем как странны мы! Меж тем любой из нас
Переиначить свет задумывал не раз.

Выстраданный экзистенциализм, светящийся сквозь эти строки, мог бы, мне кажется, и сегодня служить хорошим ориентиром — как в политике, так и в эстетике.

1986–1988,
Иерусалим

Примечания

1. В. Аксанов. В авангарде — без тылов. *Обзорение*. № 15, 1985.
2. Б. Хазанов. Прощание с авангардом. *Страна и мир* № 8, 1985.
3. Исключение, кажущееся мне счастливым, — книга М. Лифшица и Л. Рейнгардта “Кризис безобразия”, М., 1968. Она заслуживает того, чтобы

быть прочитанной с учетом внесенных временем корректив. Марксистская позиция и фразеология авторов не должны помешать этому чтению. Наоборот, они-то и делают его важным и поучительным.

4. Ю. Карабчиевский. Воскресение Маяковского. Изд. "Страна и мир", 1985.

5. Та сила, с которой эта мысль прозвучала в Коммунистическом манифесте К. Маркса и Ф. Энгельса, делает этот документ в моих глазах еще и манифестом эпохи модернизма.

6. И. Шафаревич. Социализм как явление мировой истории. ИМКА-Пресс, 1977.

7. А. Авторханов. Мемуары. Посев. 1983.

8. В России историю авангардизма в поэзии следовало бы, вероятно, начинать с А. Е. Адамовского (1788–1868). Этот автор был старшим современником Пушкина и пережил его, оставив нам несколько прелюбопытных книг. Вот образец его поэтического творчества:

*Полетела роза
На зердутовых крылах
Взявши вертуоза
С ним летит в его руках.*

Эти стихи, вероятно, понравились бы А. Крученыху или А. Введенскому. Они нашли своих читателей и почитателей в среде ленинградской второй литературы в 1960-х годах (Л. Аронзон и др.).

9. М. Лифшиц. Почему я не модернист? — В книге: М. Лифшиц и Л. Рейнгардт. Кризис безобразия. М., 1968.

Ю. Колкер — поэт, основатель "Ленинградского еврейского альманаха"; живет в Иерусалиме.

КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО "МОСКВА—ИЕРУСАЛИМ"

Новая книга

О. КУСТАРЕВ. "ВАЛЬС" (повести и рассказы)

200 стр.

Цена 14 долл.

В книге собрана художественная проза автора, обладающего насмешливым и точным взглядом, который позволяет ему запечатлеть особенности современной советской жизни.

Заказы и чеки принимаются по адресу: "Москва—Иерусалим", п/я 7045, Рамат-Ган, Израиль.

РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД ТЕКСТОМ

Проблема авторства романа "Тихий Дон" — проблема не простая. И первый вопрос, на который необходимо ответить, — обосновано ли утверждение, что автор этот — не Шолохов?!

Все, выдвинутые до сих пор возражения против шолоховской кандидатуры ("случай, небывалый в мировой литературе...", "материал, далеко превосходящий жизненный опыт и уровень образованности (4-х-классный) ...", "художественная сила, которая достижима лишь после многих проб опытного мастера...", "слишком много чудес!" — А. Солженицын), являются умозрительными.

От таких вопросов можно уйти (и уходят) с легкостью: если Шолохов — автор романа, тогда он — гений! А гению закон не писан!

Остается, однако, главный свидетель обвинения — роман "Тихий Дон". Роману рот не заткнешь! Продолжим же слушание показаний романа...

Столыпинский галстук

Сюжет главы 14-ой части первой несложен: Степан Астахов, извещенный об измене жены, возвращается домой: после лагерных сборов; дома он зверски избивает Аксинью; расправе пытаются помешать два брата Мелеховы — Петро и Григорий... Финал главы:

Зеев Бар-Селла

"ТИХИЙ ДОН" ПРОТИВ ШОЛОХОВА

(Текстология преступления)

*(Продолжение; начало
см. "22", № 60)*

“С этого дня в калмыцкий узелок завязалась между Мелеховым и Степаном Астаховым злоба.

Суждено было Григорию Мелехову развязывать этот узелок два года спустя в Восточной Пруссии, под городом Столыпинам”.

И, действительно, согласно 4-ой главе части 4-ой, в бою под городом Столыпинам Григорий Мелехов спасает Степану Астахову жизнь.

Рассказ об этом спасении включен в занимающее три страницы изложение воспоминаний Григория о военных событиях 1915–16 годов (майские бои под деревней Ольховчик; июльские – под Равой-Русской; стычка под Баянцем; город Столыпин; Луцкий прорыв в мае 1916-го) ...

Никаких противоречий здесь, вроде бы, не обнаруживается. Разве что захочется задать один вопрос.

Рава-Русская, Луцк, Баянец, Восточная Пруссия, Столыпин... Стоп! Нет такого города. Рава-Русская есть, Луцк имеется, а Столыпина нет. Был, правда, один – Столыпин, Петр Аркадьевич. Да только он не город, а председатель Совета Министров...

Зайдем с другой стороны. Когда состоялся этот бой? С. Н. Семанов, составивший биографию Г. П. Мелехова, относит его к 1915-му году*. Действительно, в тексте рассказ помещен после воспоминаний о боях летом 1915 года и перед мыслями о Луцком прорыве в мае 1916-го. Значит, Восточная Пруссия, лето 1915-го? Но летом 1915-го никаких боев в Восточной Пруссии не было. Что ж было? А было то, что после Августовской оборонительной операции русская армия Восточную Пруссию оставила. Имя же свое Августовская операция получила не по времени (месяц август), а по месту – город Аугустов. Началась же эта операция 25 января и закончилась 13 февраля 1915 года (7 – 26 февраля по новому стилю). Вернуться в эти места русские смогли ровно через 30 лет – в январе 1945-го.

Прекрасно! А что мы видим в тексте?

“Казачьи кони копытили аккуратные немецкие поля...” (ч. 4, гл. 4)

Не снег на полях, а поля! Но если поле снегом не занесло, зимой следа на нем не оставишь, промерзшая земля под копытом не вдавливаются, а звенит!

* Семанов, С. Н. Григорий Мелехов (Опыт биографии героя романа М. Шолохова “Тихий Дон”). – альм. “Прометей”, т. 11. М., “Молодая гвардия”, с. 112.

“Ветер сорвал с Григория фуражку...” (ч. 4, гл. 4).

Фуражку, а не папаху, как положено по уставу! А ведь в русской армии по сию пору переход на зимнюю форму одежды происходит в октябре. Значит, для Григория Мелехова и всего 12-го казачьего полка лето 1915-го года наступило в январе?!

Существует ли какое-то объяснение этому разгильдяйству? Да, и ключ к загадке — город Столыпин.

“Суждено было Григорию Мелехову развязывать этот узелок два года спустя в Восточной Пруссии, под городом Столыпиним” (ч. 1, гл. 14).

Дело в том, что по внутренней хронологии романа (с этим согласен и С. Н. Семанов — Указ. соч., с. 108) драка братьев Мелеховых со Степаном Астаховым произошла в середине лета 1912 года. И, следовательно, слова “два года спустя” означают — **лето 1914-го года!** Тут, как нельзя кстати, “город Столыпин”. Это четкое и недвусмысленное указание на один единственный день — 4 (17) августа 1914 года.

Города Столыпин на карте Восточной Пруссии нет и не было. Был город Stallupönen, в нынешнем русском написании Сталюпенен или (более близком к немецкому оригиналу) — Шталлюпенен. На русских же штабных картах 1914–1915 годов город этот назывался: С т а л у п е н е н ь. Он дал имя первой в европейской войне наступательной операции русских войск — Сталлюпененское сражение.

Для чего пришлось перекожеживать славное в истории русского оружия имя? Ведь “Столыпиним” он назван дважды, причем не в речи персонажей, а в авторской! А правильно он вообще ни разу не назван!

Причина — Шолохов. Он не сумел прочесть название города в рукописи и, переписывая, поставил, вместо правильного (в том числе и грамматически) :

“под городом Сталупенен”,

свое дурацкое:

“под городом Столыпиним”.

Нас поджидает, однако, еще один сюрприз: дело в том, что Григорий Мелехов никоим образом не мог спасти Степана Астахова в Сталлюпененском сражении, поскольку с июля по август 1914 года безотлучно находился в рядах 8-ой армии, действовавшей на Юго-Западном фронте (ч. 3, гл. 5, 10–13, 16, 17, 20), откуда по ранению (ч. 3, гл. 20) отбыл прямо в московский госпиталь (ч. 3, гл. 21, 23).

Как это все понять, объяснить? Объяснение одно: замысел романа сформировался не сразу, и Автор какое-то время колебался, на какой фронт — Северо-Западный или Юго-Западный — послать своего героя. Иными словами, Автор не сразу решил какой роман писать — “Тихий Дон” или “Август Четырнадцатого”.

Отправив Григория Мелехова в Галицию, Автор, тем не менее, захотел сохранить эпизод его встречи со Степаном Астаховым. Он перенес этот фрагмент в начало следующей части и поместил его среди воспоминаний о событиях 1915–1916-го годов. Автор не преуспел в одном: не успел выправить датировку в части 1-ой (“два года спустя”) и не устранил приуроченность эпизода к Сталюпененскому сражению.

Шолохов так никогда и не понял, какую ловушку смастерил ему Автор; в издании 1945-го года он отважился лишь на одну поправку: заменил “ы” на “о”, так что теперь читается: “под городом Столыпинном”.

Беглец

Вторая подглавка 2-й главы 4-й части повествует о дальнейшей судьбе Ильи Бунчука, дезертировавшего в главе 1-й:

“Через три дня, после того, как бежал с фронта, вечером Бунчук вошел в большое торговое местечко, лежавшее в прифронтовой полосе. В домах уже зажгли огни. Морозец затянул лужи тонкой коркой льда, и шаги редких прохожих слышались еще издали. Бунчук шел, чутко вслушиваясь, обходя освещенные улицы, пробираясь по безлюдным проулкам. При входе в местечко он едва не наткнулся на патруль и теперь шел с волчьей торопливостью, прижимаясь к заборам, не вынимая правой руки из кармана невероятно измазанной шинели — день лежал, зарывшись в мядоле в мякину.

В местечке находилась база корпуса, стояли какие-то части, была опасность нарваться на патруль, поэтому-то волосатые пальцы Бунчука и грели неотрывно рубчатую рукоять нагана в кармане шинели”.

Вчитаемся во второй абзац — что нового мы узнали? Ну, например, что “в местечке находилась база корпуса”, а потому “была опасность нарваться на патруль”. Но указание на эту умозрительную опасность, призванное объяснить осторожность Бунчука, для читателя не обладает такой уж непреложной ценностью. Ему — читателю — достаточно было бы информации, полученной из первого абзаца:

“При входе в местечко он едва не наткнулся на патруль”.

Так наткнулся или не наткнулся, умозрение или реальность? И то и другое, потому что — два варианта:

“При входе в местечко он едва не наткнулся на патруль и теперь шел с волчьей торопкостью, (...) не вынимая правой руки из кармана невероятно измазанной шинели”

“В местечке находилась база корпуса, стояли какие-то части, была опасность нарваться на патруль, по этому-то волосатые пальцы Бунчука и грели неотрывно рубчатую рукоять нагана в кармане шинели”.

Нетрудно обнаружить, что второй абзац дублирует заключительную часть первого.

О цели такой авторской щедрости говорить, по-видимому, не приходится — один из вариантов черновой и отброшенный. Какой из двух? На этот вопрос нам дает ответ глава 28-я части 5-й (в первых изданиях глава 29-я). Она повествует о пленении восставшими казаками экспедиции Подтелкова. Жизни Бунчуку остается еще на две главы, и заготовки к описанию его идут в дело:

“Бунчук подошел к своей бричке, стоявшей возле амбара, кинул под нее шинель, лег не выпуская из ладони рубчатую револьверную рукоять. Вначале он подумал было бежать, но ему претили уход тайком, дезертирство...”

В этой фразе нашли свое место и “шинель” и “рубчатая рукоять” нагана (наган, как известно, пистолет револьверного типа). Не случайно вспыхивают у Бунчука мысли о бегстве и дезертирстве — они навеяны ему 2-й главой 4-й части.

Подчеркнем одно важное обстоятельство: отброшенные варианты Автором сохранялись, с целью возможного их использования в будущем. Отброшенные фрагменты не вымарывались, что и явилось причиной введения их М. Шолоховым в беловой текст.

1812

Очень редко, да и то, говоря лишь о персонажах, казачеству чуждых, автор “Тихого Дона” позволяет романному слову расстаться по генеалогическому древу. Таков, например, рассказ об отце сотника Листницкого:

“Старый, давно овдовевший генерал, жил в Ягодном одиноко. Жену он потерял в предместье Варшавы в восьмидесятых годах прошлого столетия. Стреляли в казачьего генерала, попали в генеральскую жену и кучера, из-

решетили во многих местах коляску, но генерал уцелел. От жены остался двухлетний тогда Евгений. Вскоре после этого генерал подал в отставку, перебрался в Ягодное (земля его — четыре тысячи десятин — нарезанная еще прадеду за участие в Отечественной войне 1812 года, находилась в Саратовской губернии) и зажил чернотелой, суровой жизнью” (ч. 2, гл. 14).

Таков облик текста в издании 1956 и последующих годов. По сравнению с изданиями 1928–1953 годов в нем произведены два изменения. Первое касается польских дел (ранее в генерала стреляли не “в предместье”, а “в предместьях” Варшавы); второе — землевладения: до 1956 года земля в Саратовской губернии нарезалась прадеду генерала за участие не “в Отечественной войне 1812 года”, но “в Отечественной **1812 года войне**”.

Сочетание “война 1812 года” получено простым изменением порядка слов и, действительно, не режет ни глаз, ни слух, чего не скажешь о “1812 года войне”. Быть может, необычным последнее сочетание стало лишь в наши дни? Ничуть не бывало, сошлемся лишь на заглавия двух книг: М. Богданович “История Отечественной войны 1812 года по достоверным источникам. Составлена по Высочайшему повелению” (тт. I–III. СПб., 1859–1860) и сборник “Генерал-квартирмейстер К. Ф. Толь в Отечественную войну 1812 года” (СПб., 1912). Так что, порядок слов издания 1956 года был правильным и в 1928, и в 1868 годах.

Правильным, но не единственно возможным. Приведем для примера две другие книжные публикации: Н. Дубровин “Отечественная война в письмах современников (1812–1815)” (СПб., 1882) и В. И. Гомулицкий (Гео) “Отечественная война. Работы по обнаружению документов” (Варшава, 1902). Итак, во второй половине XIX и в начале XX веков употреблялись два обозначения. Были ли они равноправны? Видимо, нет. Полная форма — Отечественная война 1812 года — была принадлежностью официальной публицистики (трехтомник М. Богдановича, например, был составлен “по Высочайшему повелению”). Массированное вторжение официального наименования в язык можно с уверенностью датировать 1912 годом — празднованием столетия Отечественной войны, когда прессу и книжный рынок захлестнул мощный поток юбилейной литературы.

Но в тексте “Тихого Дона” мы обнаруживаем не “Отечественную войну”, не “Отечественную войну 1812 года”, а какой-то странный гибрид двух форм: “Отечественная 1812 года война”!

Единственным разумным объяснением этого казуса может быть лишь допущение, что в первоначальное написание:

“ (...) земля его (...) нарезанная еще прадеду за участие в Отечественной войне, находилась в Саратовской губернии” — была внесена **надстрочная правка**:

1812 года

“ (...) за участие в Отечественной войне, находилась (...)”.

Шолохов, копируя рукопись, просто на просто вставил слова “1812 года” на неподходящее место.

Но, сделав такое допущение, мы обязаны ответить и на вопрос: чем была вызвана правка? Ведь до того, как началась другая Отечественная — Великая, 1941—1945 годов, автор, написавший “Отечественная война”, мог быть уверен, что его поймут правильно. А вставка в текст была произведена заведомо раньше 1928 года!

Обратимся поэтому к другому времени и к другой войне. С 1914 по 1918 год на пространствах Европы и Передней Азии шла война, которую мы называем Первой Мировой, а современники именовали Великой, европейской, германской, империалистической... Существовал, однако, краткий период, когда со всеми этими наименованиями конкурировало другое: с июля 1914 по 1915 в России войну официально называли Второй Отечественной... (см., например, коллажи из газетных заголовков в “Августе Четырнадцатого” А. И. Солженицына: “Думайте теперь же о Музее Второй Отечественной войны!” и др.).

Только в этот период и имело смысл уточнять, о какой Отечественной войне идет речь.

Из вышесказанного следуют два вывода:

1. Правка вносилась в текст, написанный **до июля 1914 года**;
2. В 1916 году наименование “Вторая Отечественная” полностью исчезает из языка. Следовательно, правка вносилась в текст **не позднее 1916 года**.

На основании этих двух выводов мы приходим к заключению:

К июлю 1914 года две части первой книги романа были в основном написаны. Не позднее 1916 года Автор приступил к переработке романа.

Русский дух

В ноябре 1916 года на побывку с фронта прибыл в хутор Татарский Митька Коршунов — “друзьяк” и шурин Григория Мелхова:

“Митька пробыл дома пять дней. (...) Как-то перед вечером заглянул и к Мелеховым. Принес с собой в жарко натопленную кухню запах мороза и незабываемый едкий дух солдатчины” (ч. 4, гл. 6).

Какой странный эпитет – “незабываемый”... Кто не мог забыть этот запах? Митька? Но он-то уж точно к своему запаху привык. В курене Мелеховых Митьку встретили Дарья, Ильинична и Пантелей Прокофьевич. Однако, про Пантелея Прокофьевича сказано, что он “сидел, не поднимая опущенной головы, будто не слышал разговора”; значит, и резињянции по поводу запаха исходят не от него. Что же касается женщин, то они войны еще и не нюхали (до гражданской остается целый год). Странно и загадочно!

А вот Григорий и Петро Мелеховы, бросив два развалившихся фронта – германский и противобольшевистский, дождались прихода красных:

“И сразу весь курень наполнился ядовито-пахучим спиртовым духом солдатчины, неделимым запахом людского пота, табака, дешевого мыла, ружейного масла, – запахом дальних путин” (ч. 6, гл. 16).

Тут бы Петру и Григорию самое время вспомнить этот запах, ан нет... Разобраться в ощущениях героев нам помогает другой фрагмент, описывающий вернувшегося из плена Степана Астахова, мужа Аксиньи:

“Наутро – Степан еще спал в горнице – пришел Пантелей Прокофьевич. Он басисто покашливал в горсть, ждал, пока проснется служивый. Из горницы тянуло рыхлой прохладой земляного пола, незнакомым удушливо-крепким табаком и запахом дальней путины, каким надолго пропитывается дорожный человек” (ч. 6, гл. 7).

Займемся сравнительной одорологией – сопоставим характеристики запахов:

ч. 4, гл. 6	ч. 6, гл. 16	ч. 6, гл. 7
дух солдатчины	дух солдатчины	
едкий	ядовито-пахучий спиртовой	
	запах людского пота	
	табака	удушливо-крепкий табак
	дешевого мыла	
	ружейного масла	
	запах дальних путин	запах дальней путины

За пределами сопоставления остались две незначительные характеристики: “незабываемость” в части 4-й и замечание о том, что “запахом дальней путины (...) надолго пропитывается дорож-

ный человек" в 6-й части; при этом сам "запах дальних путин" является неотъемлемой принадлежностью "духа солдатчины" (гл. 16 части 6-й).

Разгадка "незабываемого" духа здесь и лежит: это тот запах, "каким надолго пропитывается" солдат. И, значит, запах этот не "незабываемый", а неотвязный, неистребимый, неустранимый, неизбывный, н е и з б ы в а е м ы й!

Именно слово "неизбываемый" и не сумел прочесть в рукописи дура Шолохов:

"Митька пробыл дома пять дней. (...) Как-то перед вечером заглянул и к Мелеховым. Принес с собой в жарко натопленную кухню запах мороза и н е и з б ы в а е м ы й едкий дух солдатчины".

Да не упрекнут нас в крохоборстве: речь не идет об опечатках или ошибках чтения, речь вообще не идет об одном слове. Дело в принципе — принципе Авторской поэтики. А поэтика эта в значительнейшей степени построена на столкновениях, на конфликтах, на неуживающихся друг с другом качествах. Этот единый принцип организует описания людей, животных, растений и запахов. Как, например, в данном случае:

жарко натопленная кухня — запах мороза;

Запах мороза Митька принес с улицы, запах солдатчины он носит с собой зимой, летом, всегда. Свежесть мороза обманчива, затхлость есть сущность — "дух".

По поводу мокрого снега

Эпопея корниловской армии, отступившей, чтобы сражаться и победить, уже современниками рассматривалась как великое деяние. И хотя гражданская война дала в дальнейшем новые примеры "ледяных походов" (отступление колчаковской Якутской армии, гибельный "отступ" в Персию Уральской Казачьей армии), история запомнила первый — Корниловский. Трагедия армии, уходящей на верную смерть, слишком эпична, чтобы мимо нее мог пройти хотя бы один, писавший о войне на Юге. Не прошел и автор "Тихого Дона", поместив в эту заведомо неказачью массу единственного из первостепенных персонажей, социально близкого отступавшим, — сотника Евгения Листницкого.

Итак, начало "Ледяного похода" — книга II-я, часть 5-я, глава 18-я;

"Накапливались сумерки. Морозило".

Все, как будто, верно: поход — “ледяной”, значит, уместен и мороз. Но вслед за этим — продолжение:

“От устья Дона солоноватый и влажный подпирал ветер”.

“Влажный ветер” ни при какой погоде не может “морозить”, а если “морозит” не ветер, то сам ветер не может оставаться влажным.

Дальше — больше:

“— Господин командир! — окликнул Неженцева подполковник Ловичев, ловко перехватывая винтовку. (...) Прикажете первой роте прибавить шаг! Ведь этак и замерзнуть немудрено. Мы **промочили ноги**, а такой шаг на походе...”

“На взрыхленной множеством ног дороге кое-где просачивались лужи. Идти было тяжело, **сырость** проникала в сапоги”.

“— Россия всходит на Голгофу...”

Кашляя и с хрипом отхаркивая мокроту, кто-то пробовал иронизировать:

— Голгофа... с той лишь разницей, что вместо кремнистого пути — снег, притом **мокрый**, плюс чертовский холодище”.

Значит, все-таки холодно. Но холод — он бывает разный: бывает мороз, а бывает и пронизывающая сырость. Замерзнуть можно и тогда, когда кругом слякоть и лужи. Но если подморозит — луж нет, они затягиваются льдом. А мы что видим: “кое-где просачивались лужи”, то есть типичная оттепель, да и ветер влажный. На морозе ноги мерзнут, но не промокают; при морозе снег бывает всякий: легкий, тяжелый, пушистый, хрустящий, но только не мокрый. А в тексте прямо сказано: “снег, притом **мокрый**”! В чем причина такой противоестественности описания?

За ответом обратимся к тексту первых изданий романа, но не к процитированному отрывку, а к другим “метеорологическим” фрагментам:

“**Моросил изморозный дождь**, фонари кидали на лужу мерклые дорожки света” (ч. 3, гл. 22);

“В этот день **изморозный дождь** сеялся с полдня” (ч. 5, гл. 2);

“Ветер клубил за перелеском **морозную пыль**” (ч. 4, гл. 21).

В первых двух случаях ситуация понятна — речь идет о морозящем дожде, и, следовательно, читать надо не “изморозный дождь”, но “изморозный дождь”. С третьим случаем положение иное, поскольку “морозной пыли” предшествует сообщение, что Мишка Кошевой и Алексей Бешняк “таились в ярке возле покинутого обвалившегося колодца, вдыхая разреженный **морозом** воздух”.

Становится ясно, что в первых изданиях “Тихого Дона” и “изморозный” в значении “изморосный”, и “морозный” в значении “морозный” одинаковым образом писались через “З”.

Такая орфография противоречила правилам, достаточно сослаться на написание в “Толковом словаре” Вл. Даля. Тем не менее, “изморось” через “З” — не выдумка Шолохова.

Андрей Белый, роман “Серебряный голубь”, Москва, издательство “Скорпион”, 1910 год:

“(...) **изморось** дышала на него своей пылью: вокруг **изморось** крутилась — все пространство (...) казалось, плясало в **слезливом** ветре (...) А окрест — мразь да грязь: плясал **дождик**, на **лужах** лопались **пузыри** (...)” (с. 73–74);

“А **изморось** хлестала — пуще да пуще (...)” (с. 81).

Сергей Есенин — 1924 год:

“Я усталым таким еще не был...

В эту **серую морозь** и **слизь**...”

Итак, написание через “З” — установленный факт. Но А. Белый позволяет нам заглянуть еще дальше, в корни орфографической, пусть и распространенной, но ошибки:

“А окрест — **мразь** да **грязь**: плясал **дождик**, на **лужах** лопались **пузыри** (...)” (с. 81)

“(...) бешенной **дождливая** заметалась **мразь** (...)” (с. 77).

Логично предположить, что основание ошибки — псевдоисторическое, а именно, построение ложного уравнения:

М Р А З Ъ — М О Р О Ъ — И З М О Р О З Ъ
М Р А З Ъ — М О Р О З Ъ — И З М О Р О З Ъ

Затруднений с чтением “изморозь”, как **и з м о р о с ь**, естественно, не возникало — на конце слова любой звонкий согласный оглушается. Затем вступали в действие навыки исторической орфографии: **м о р о з ь** — **м о р о з и т ь** вполне соответствовало паре **м о р о з** — **м о р о з и т ь**.

Истина, однако, в том, что церковно-славянского М Р А З Ъ не существует. “Мразь” — слово сугубо русское, диалектное (костромское, тверское, ярославское), и значит вовсе не “мелкий дождь, ситничек”, а “мерзость”.

Переводя “Тихий Дон” на новую орфографию, Шолохов хорошо справился со словом “**м о р о з и л**”, потому что рядом стоял “изморозный дождь”. Еще проще было, когда глагол вовсе отсутствовал: “изморозный дождь” — не “град”, понятное дело, а “**и з м о р о с н ы й дождь**”. А вот с “Ледяным походом” затычка вышла...

А вы сами попробуйте чужой роман без ошибок переписать, чтобы получилось, как у Автора:

“Накапливались сумерки. Моросило. От устья Дона солоноватый и влажный подпирал ветер”.

Таинственный спутник

Среди множества вымышленных персонажей (начиная с главных героев) в романе действуют и исторические лица: Каледин, Корнилов, Краснов, Алексеев, Подтелков, Лукомский... В двух эпизодах появляется император Николай II: в первом он вручает георгиевскую медаль Кузьме Крючкову; во втором — последний раз в жизни покидает здание Ставки в Могилеве. Свидетелем этого последнего события становится Евгений Листницкий:

“Бледная, с глубочайшей волнующей яркостью воскресил он в памяти февральский богатый красками исход дня, губернаторский дом в Могилеве, чугунную запотевшую от мороза огороду и снег по ту сторону ее, испещренный червонными бликами низкого, покрытого морозно-дымчатым флером солнца. За покатым свалом Днепра небо крашено лазурью, киноварью, ржавой позолотой, каждый штрих на горизонте так неосяземо воздушен, что больно касаться взглядом. У выезда небольшая толпа из чинов ставки, военных, штатских... Выезжающий крытый автомобиль. За стеклом, кажется, Фредерикс и царь, откинувшийся на спинку сиденья. Обуглившееся лицо его с каким-то фиолетовым оттенком. По бледному лбу косо черной полукруг папахи, формы казачьей конвойной стражи.

Листницкий почти бежал мимо изумленно оглядывавшихся на него людей. В глазах его падала от края черной папахи царская рука, отдававшая честь, в ушах звенел бесшумный холостой ход отъезжающей машины и унижительное безмолвие толпы, молчанием провожавшей последнего императора” (ч. 4, гл. 10).

В этом фрагменте сразу бросаются в глаза пушкинские реминисценции: “унижительное безмолвие толпы” имеет своей причиной “Бориса Годунова” — “Народ безмолвствует”, а сцена бег Листницкого, со звоном молчания в ушах и видением императорской руки, отсылает к “Медному Всаднику” —

И он по площади пустой
Бежит и слышит за собой —
Как-будто грома грохотанье —
Тяжело-звонкое скаканье...

Но бедный, бедный мой Евгений...
Увы! его смятенный ум
Против ужасных потрясений

Не устоял. Мятёжный шум
Невы и ветров раздавался
В его ушах...

Простерши руку в вышине,
За ним несется Всадник Медный
На звонко-скачущем коне...

Заметим, что, в отличие от поднятой руки Петра I, рука Николая II падает. Отметим и еще один момент многозначительного сходства: Листницкого зовут Евгений! Это то, что касается литературной истории*.

Что же касается истории, то и эта сторона не вызывает нареканий: Ставка русского Верховного Главнокомандования находилась в Могилеве; неделю, следующую за отречением, Николай, действительно, провел в Ставке (прибыл в Могилев вечером 3 марта и отбыл навсегда 8 марта 1917 года); среди сопровождавших императора лиц находился отец обер-гофмейстерины Нарышкиной, министр двора и уделов, канцлер Империи граф Владимир Борисович Фредерикс, прозванный при дворе "Щелкунчиком" ("Nussknacker") и переживший своего императора на 9 лет. Правда, вскоре после прибытия в Могилев Фредерикс исчез и был обнаружен (и арестован) лишь спустя несколько дней в Гомеле. Тем не менее в Ставке он был. Это факт.

Вообще, Фредерикс в качестве спутника царя личность известная, а после "Заговора императрицы" П. Е. Щеголева-А. Н. Толстого даже популярная. Например, его видел во сне Остап Бен-

* Этим, конечно, не исчерпывается литературоведческий анализ. Так, например, необходимо отметить и используемый здесь прием оксюморона: "Бледная..." — "с глубочайшей ... яркостью ... воскресил в памяти" (столкновение цветовых характеристик, одинаково приложимых к описанию человеческого лица и качества воспоминаний); "...штрих ... так неосознано воздушен, что больно касаться взглядом..."; "...холостой ход отъезжающей машины" (столкновение неподвижности ("холостой ход") и движения ("отъезжающая машина"), ср. выражение — "машина на холостом ходу"); при этом звук, издаваемый машиной, назван "бесшумным", но сам этот "бесшумный ход" звенит в ушах. Прием оксюморона позволяет опознать еще одну реминисцентную линию: "унизительное безмолвие толпы" — это безмолвие восставших; таким образом, безмолвие толпы соотносимо не только с "Борисом Годуновым", но и с "мятежным шумом" "Медного Всадника". Продолжая анализ, мы отмечаем и то, что "небо крашено лазурью, киноварью и ржавой позолотой". Понятно, что в основе такого цветового ряда лежит не непосредственное восприятие, а иконопись. С учетом этого получает новый смысл и портрет императора: "По бледному лбу косой черной полукруг папаху" — перед нами лик Спасителя со смертным венчиком вокруг чела.

дер: "Государь-император, а рядом с ним, помнится, еще граф Фредерикс стоял, такой, знаете, министр двора" ("Золотой теленок", ч. 1, гл. 8).

Но все-таки одно недоумение остается — дело в том, что в первой (журнальной) публикации "Тихого Дона" императора сопровождал не Фредерикс, а Д и т е р и х с !

Опечатку видеть здесь вряд ли возможно. Во-первых, и наборщики, и машинистки практически всегда заменяют незнакомое слово более известным, а Фредерикс, несомненно, был более известен. Во-вторых, невозможно представить себе такое написание фамилии Фредерикс, чтобы ее можно было спутать с "Дитерихс": строго говоря, совпадает в этих двух фамилиях лишь последовательность трех букв — "— е р и —". Поэтому, в имени "Дитерихс" следует видеть ошибку Авторского текста. Именно ошибку, поскольку никакого Дитерихса в феврале-марте 1917 года в Ставке не было.

А был ли сам Дитерихс?

В советской литературе существует еще одно произведение, в котором упоминается этот загадочный человек — роман Дмитрия Нагишкина "Сердце Бонивура". В романе описываются трудные дни 1922 года на Дальнем Востоке и, в частности, последний правитель Белого Приморья. Нагишкин его по имени-отчеству так до конца романа и не называет, но сообщает о нем следующее (в главе 12 "Рождение диктатора") :

"Генерал Дитерихс, бывший в том возрасте, который из вежливости называют преклонным, в революции потерял все".

Надо полагать, видимо, что речь идет о сенильном старце, тем более, на следующей же странице Нагишкин прямо пишет: "выживший из ума старый Дитерихс...".

Сколь же велико будет наше удивление, когда Гэй Ричардс в своей книге "Охота на царя" при имени Дитерихс сочтет нужным добавить: "в период 1-ой мировой войны он одно время был самым молодым генералом русской армии..."* Действительно, ну и генералы были — выживший из ума старик — самый молодой! Ничего нельзя понять...

Кто же он был на самом деле, этот молодой старик?

Генерал Михаил Константинович Дитерихс родился в 1874 году, так что Нагишкин мог позволить себе не бравировать чрез-

* Richards G., The Hunt for the Czar, NY, A Dell Book, 1971.

мерной вежливостью — в 1922 году генералу Дитерихсу не было и 50-ти. Был он молод и в годы Первой Мировой — к началу войны ему исполнилось 40. А. А. Брусилов, приняв командование Юго-Западным фронтом, характеризует его, как генерала “очень способного и отлично знающего свое дело”. Был он заметной фигурой и в гражданскую войну: в 1918 принимает участие в чехословацком выступлении во Владивостоке, затем получает назначение начальником штаба ген. Я. Сырового; после ухода генерала Р. Гайды назначается командующим Сибирской Армией, а затем, после отставки Лебедева, становится главнокомандующим фронтом и начальником штаба Верховного Правителя. Впрочем, вскоре на Дитерихса возлагают ответственность за неудачи на фронте, отрешают от должности и назначают на его место ген. Н. П. Сахарова. Дитерихсу же поручают возглавить следственную комиссию по делу об убийстве царской семьи. Вместе с комиссией он отступает из Сибири, добирается до Харбина, оттуда едет во Владивосток, где публикует двухтомное собрание материалов “Убийство царской семьи и членов Дома Романовых на Урале” (Владивосток, типография Военной академии, 1922). Во Владивостоке же он избирается (после падения правительства братьев Меркуловых — так называемого “черного буфера”) единоличным Правителем Приморья и Воеводой Земской Рати. Он объявляет “крестовый поход” на Москву за восстановление на престоле “законного хозяина Земли Русской, помазанника Божия из Дома Романовых”, но 25 октября 1922 года на борту японского миноносца покидает Владивосток. Из Японии он направляется в Китай, где становится во главе Восточного отделения Русского Обще-Воинского Союза (РОВС). В 1937 году генерал Дитерихс скончался*.

Обратимся, однако, к интересующим нас временам, к 1917 году. Так вот, ни в феврале, ни в марте Дитерихса в Могилеве не было, не было его и в России вообще, поскольку в это время он командовал дивизией, отправленной на помощь союзникам и сражавшейся на Салоникском фронте. В Россию же М. К. Дитерихс вернулся лишь в июне 1917 года. И вот тут-то обнаруживается самое замечательное: вернувшегося в Россию генерала

* Брусилов, А. А. *Мои воспоминания*. (Изд. 5-е) М., 1963, с. 205; Грачев, Г. *Якутский поход ген. Пепеляева*. — “Сибирский Архив”, (Прага), Изд. Об-ва Сибиряков в ЧССР, 1929, т. 1, с. 25–26; Stephan, J. J. *The Russian Fascists. Tragedy and Fate in Exile*, London, Hamish Hamilton, 1978, p. 188.

Дитерихса назначают генерал-квартирмейстером Ставки в Могилеве. Должность эту он получает, видимо, по представлению А. Ф. Керенского*, после похода генерала Крымова на Петроград ("Корниловский мятеж").

Попытаемся разобраться. Весной 1917 года Дитерихса в Ставке не было. Следовательно, ни в каких исторических источниках, описывающих низвержение самодержавия, мы имени Дитерихса не найдем. Перед нами несомненная ошибка, но какого рода? Это не ошибка невежды, не умеющего разобраться в разногласии архивных и мемуарных свидетельств: не могло попасть ни в архивы, ни в мемуары имя человека, не имевшего никакой связи с событиями.

Но все станет на свои места, если допустить, что перед нами ошибка человека, бывшего не очевидцем, но современником событий. Если допустить, что Автор "Тихого Дона" ознакомился с деятельностью Ставки в краткий промежуток времени между отставкой Корнилова и убийством Духонина (5 сентября — 20 ноября ст. ст.), то описывая пребывание императора в Ставке и не имея возможности опереться на мемуары (еще ненаписанные!), он легко мог ошибиться, сочтя, что нынешний генерал-квартирмейстер Ставки остался от старого режима. Заслуживает внимания еще одна характерная неточность: император посетил Ставку в марте (3—8 ст. ст.), а Евгений Листницкий вспоминает "февральский богатый красками исход дня" (ссылка на разницу старого и нового стилей только усугубляет дело — 3 и 8 марта старого стиля соответствуют 16 и 21 нового).

Близнец в тучах

В 1956 году Б. Л. Пастернак был, как и в предыдущие два десятилетия, озабочен проблемой "первого поэта":

"Были две знаменитые фразы о времени. Что жить стало лучше, жить стало веселее, и что Маяковский был и остался лучшим и талантливейшим поэтом эпохи. За вторую фразу я личным письмом благодарил автора этих слов, потому что они избавляли меня от раздувания моего значения, которому я стал подвергаться в середине тридцатых годов, к поре Съезда писателей. Я люблю свою жизнь и доволен ею" ("Люди и положения" —

* Катков, Г. М. Дело Корнилова. (пер. с англ. Н. Г. Росса). Париж, YMCA-PRESS, 1987, с. 91.

в кн.: Б. Пастернак *"Воздушные пути (Проза различных лет)"*. М., 1982, с. 458).

Слова "Я люблю свою жизнь", в свете всем известных обстоятельств смерти Маяковского, усиливают, конечно, юмористическое звучание приведенного фрагмента. Но перед этим Пастернак рассуждает более чем серьезно и вписывает гибель Маяковского в общую картину гибели литературы:

"В последние годы жизни Маяковского, когда не стало поэзии ничьей, ни его собственной, ни кого бы то ни было другого, когда повесился Есенин, когда, скажем проще, прекратилась литература, потому что ведь и начало "Тихого Дона" было поэзией, и начало деятельности Пильняка и Бабеля, Федина и Всеволода Иванова (...)" (Указ. соч., с. 457).

Обратим внимание на положение "Тихого Дона" в этой фразе: вокруг него имена — Маяковский, Есенин, Пильняк, Бабель, Федин, Вс. Иванов, а "Тихий Дон" стоит безымянный. С одной стороны: "начало деятельности" Пильняка, Бабеля, Федина и Вс. Иванова, а в другой — "начало "Тихого Дона", лишь романа, а не деятельности А. М. Шолохова (на возражение, что "Донские рассказы" не заслуживали высокой оценки и потому не упомянуты, можно ответить, что началом деятельности Пильняка Пастернак тоже считал не рассказы 1917 года в "Ниве", а началом Бабеля — не сотрудничество в горьковской "Летописи" 1916 года, но их книги: "Гольый год" и "Конармию").

Еще один штрих: начало романа "Тихий Дон" (книги 1-я и 2-я) вышло в 1928 году, то есть "в последние годы жизни Маяковского", как раз тогда, "когда (...) прекратилась литература". Тем не менее, Пастернак ставит начало "Тихого Дона" в один ряд с началом деятельности Пильняка, Бабеля, Федина, Вс. Иванова, то есть относит роман к самому началу 20-х, в любом случае ранее 1925 года ("когда повесился Есенин"). Мало того, все перечисленные писатели относятся к одному поколению, они, практически, сверстники (1892 — Федин, 1893 — Маяковский, 1894 — Пильняк, Бабель, 1895 — Есенин, Вс. Иванов). Шолохов с его 1905 годом рождения до самых молодых не дотягивает десяти лет!

Короче говоря, Пастернак отказывает "Тихому Дону" как в праве быть написанным во второй половине 20-ых, так и в праве именоваться произведением Шолохова.

Основанием такого отвода служит поэтика романа, а именно характерная для него ориентация на поэзию. К сожалению, Па-

стернак не счел нужным уточнить, какую именно поэзию он имел в виду.

Попытаемся ответить на этот вопрос. Откроем “начало романа” — книгу II-ю, часть 4-ю, главу 6-ю:

“В прозрачном небе, в зените стояло малиновое недвижимое облачко, за Доном на голых ветках седоватых тополей черными горелыми хлопьями висели грачи”.

Нужно приложить большие усилия, чтобы не вспомнить:

Где, как обугленные груши,
С деревьев тысячи грачей,
Сорвутся в лужи и обрушат
Сухую грусть на дно очей.

Это — “Февраль. Достать чернил и плакать!..”. Впервые стихи были опубликованы в сборнике “Лирика” (М., 1913, с. 42) с посвящением Константину Локсу, а затем вошли в книгу “Блинец в тучах” (М., Книгоиздательство “Лирика”, 1914). Примечательно, что в первой публикации строфа несколько разнилась от приведенной выше:

Где, как обугленные груши,
На ветках тысячи грачей...

Ср.: “за Доном на голых ветках седоватых тополей черными горелыми хлопьями висели грачи”.

Стихи Пастернака, помещенные в сборник “Лирика”, возможно проливают свет и на “седоватые тополя”:

И, как в неслыханную веру,
Я в эту ночь перехожу,
Где тополь обветшало-серый
Завесил лунную межу.

Эти стихи — “Как бронзовый золой жаровень...” — отделены от “Февраля...” всего двумя страницами (сб. “Лирика”, с. 45).

Мы никогда не узнаем, вспомнил ли Пастернак свои ранние стихи, читая “Тихий Дон”. Гораздо важнее другое — Пастернак узнал в авторе “Тихого Дона” своего сверстника: писателя 10-ых годов.

(Окончание следует)

3. Бар-Селла — лингвист и литературовед, постоянный автор “22”; совместно с М. Каганской, — автор книги “Мастер Гамбс и Маргарита”; в настоящее время готовит к печати книгу о поэзии И. Бродского и завершает текстологический анализ “Тихого Дона”.

СУДЬБЫ ИДЕЙ

Шамбала! Только “Пришельцы из космоса” да, пожалуй, пресловутый “Бермудский треугольник” могут сравниться в популярности с этим мистически-многозначным понятием. Вот уже почти столетие не утихают вокруг него споры и страсти. С годами интерес к Шамбале в мистических кругах западного мира постоянно возрастает, а в среде русских оккультистов эта загадочная земля стала сегодня вообще чуть не символом земного рая. И как здесь не вспомнить об увлеченности Шамбалой высших руководителей нацистского Рейха, в частности — самого Гитлера? Как не вспомнить, что, согласно “устной традиции” (иначе не скажешь), за “идею Шамбалы” в одно и то же время на разных — и противоположных — фронтах воевали (в буквальном смысле этого слова) такие люди, как “черный барон” Унгерн-Штернберг, “красный богатырь” Сухэ-Батор и волею судьбы вознесенный до командарма бывший уголовник “легендарный” Котовский! Невероятно? Это, однако, еще не все. В нашем “шамбалическом архиве” имеются и куда более пикантные сведения о парадоксальных метаморфозах древней идеи таинственной Шамбалы и исповедующих ее современных “шамбалистов” (о чем мы еще непременно

Владимир Гусман

ШАМБАЛА И ШАМБАЛИТЫ

расскажем ниже). Так что же? Не пришло ли время по существу разобраться в том, что такое Шамбала и каково ее место в современной духовной (если можно так выразиться о мистике и оккультизме) культуре?

Начнем с истории. Впервые идея Шамбалы проникла в Европу из популярной буддийской мифологии. Семантически слово "Шамбала" происходит из санскритского "шамбари", что означает "волшебство", "колдовство", а потому обычно переводится просто как "волшебная страна". Согласно буддийской традиции, четыре части тайной иогической доктрины (т. н. "махаяанской тантры") сложились в четырех разных частях света — на западе (в Пенджабе), на севере (в Кашмире), на востоке (в Бенгалии) и на юге (в Декане). Та часть йоги, которая возникла на севере, называется "калачакрой". Это единственная дошедшая до нашего времени в относительно целостном виде часть; все остальные либо полностью исчезли в результате мусульманского завоевания Индии, либо слились с другими, более поздними направлениями тантризма. Примерно в десятом веке учение калачакры проникло из Индии в Тибет, а отсюда постепенно распространилось на огромную территорию, вплоть до Алтая и Южной Сибири. В основе этого учения лежали древние верования, сложившиеся даже до появления индо-европейской цивилизации. К примеру, последователи калачакры считают, что мир основан не на четырех "первозлементах" (огонь, земля, вода, воздух), как в индо-европейской мифологии, а на пяти (металл, дерево, огонь, земля и вода). В ритуале калачакры присутствуют элементы древнего шаманизма. Как считают ученые, все эти особенности характерны прежде всего для верований древних жителей Центральной Азии. Поэтому калачакре не случайно приписывалось "северное" (по отношению к Индии) происхождение (а позже, в Китае, — "западное"). Проникнув из Центральной Азии в Индию, система калачакры была чисто внешним образом переписана на буддийский лад и включена в доктрину тантры. А позднее из Индии, как мы только что рассказали, она вернулась на свою родину, в Тибет, — уже в составе развитой буддийской доктрины.

Со временем — после искоренения буддизма в самой Индии — этот "северный буддизм" утратил связи с местом становления и переродился в особую "тибетскую" религию со своим особым пантеоном богов, демонов и святых. Главным объектом поклонения в ней стал уже не будда Шакъямуни — исторический основа-

тель буддизма, а некто "Майтрея", который считался "буддой грядущего исторического цикла", то есть чем-то вроде буддийского мессии. Культ Майтреи был окончательно канонизирован тибетским реформатором XV века Цзонхавой. С тех пор эта религия известна, как "желтая вера", или ламаизм.

Именно в ламаизме впервые и возникает идея Шамбалы. Это название закрепляется за некой мифологической "землей Майтреи" — своеобразным ламаистским вариантом "небесного Иерусалима". Постепенно меняется и география этой земли. Поскольку ее по-прежнему помещали "на севере", а по отношению к Тибету "север" — нечто иное, нежели для Индии, то теперь Шамбала стала отождествляться с районами северного Тибета (откуда, кстати, был родом и реформатор Цзонхава). Такое отождествление было призвано укрепить культ Цзонхавы, который встретил сильную оппозицию именно на юге Тибета. Ведь все эти религиозные изменения и вызываемые ими споры представляли собой всего лишь богословское прикрытие жесточайшей борьбы различных феодальных кланов Тибета за власть и влияние в регионе.

С XIX века начинается интенсивное проникновение европейцев в пределы Цинской империи, частью которой в то время являлся и Тибет. Китайские власти, отлично понимая разведывательный характер большинства европейских (в том числе и русских) экспедиций, пытались, сколько возможно, чинить им препятствия. Особенно опасаясь за богатые минеральными ресурсами районы Центральной Азии, цинские императоры распорядились, чтобы местные ламы всячески препятствовали появлению "белых людей" в определенных районах Тибета. Ламы не замедлили объявить эти районы "священными" и запретными для "иноверцев". Постепенно эти запреты обросли народными суевериями и фантастическими легендами. Одна из таких легенд, в частности, утверждала, что северные районы Тибета и Синцзяна запретны потому, что там находится священная "земля Шамбалы". Это поверье нетрудно объяснить, если вспомнить, что именно на севере Тибета располагались, как мы уже говорили, места, связанные с религиозной историей ламаизма и его святынями (как, например, дерево, отмечавшее место рождения Цзонхавы).

Именно с этого момента европейские путешественники, возвращающиеся из Азии, начинают рассказывать о неких "загадочных городах" и "таинственных святынях" в отдаленных, а главное (что особенно разогревает любопытство и слухи) — запрет-

ных для посещения районах Азии. Эти рассказы были подхвачены жадными ко всему таинственному оккультно-мистическими кругами. Первую достаточно крупную сенсацию в этих кругах произвели писания Е. П. Блаватской. В своих книгах эта знаменитая русская оккультистка утверждала, будто в силу особых обстоятельств сумела проникнуть в некие "секретные" центры так называемого "Белого Братства" — своеобразной сверх-ложи, члены которой, укрывшись в недоступных горных районах Азии, управляют оттуда судьбами планеты. В этих "центрах" она, якобы, познакомилась с особой магической технологией, утраченной на Западе со времен Атлантиды. Здесь, утверждала она, ей было открыто также секретное, эзотерическое (только для "посвященных"), сверхъестественное знание, скрываемое гималайскими Повелителями от простых смертных. "Сведения", полученные от учителей "Белого Братства", Блаватская изложила в книге "Тайная доктрина", которая стала библией основанного ею теософского движения (от слов тео и софия — божественная мудрость). Теософское общество, возникшее с легкой руки Блаватской и ее компаньона, американского полковника Олькотта, быстро обрело широкую популярность в псевдо-интеллектуальной среде западного оккультизма, и вскоре идея существования "где-то в Тибете" особого братства "суперменов", обладающих "высшим знанием" и тайно управляющих человечеством, стала рассматриваться в этой среде как абсолютный и непреложный факт. Этому теософскому мифу способствовало еще одно обстоятельство. Еще со средневековых времен в Европе существовала традиция отождествлять Восток с источником священных знаний. Так, в среде розенкрейцеров поддерживалась легенда о "Великих Учителях Востока", тайно управляющих человеческой историей, а в масонских кругах — аналогичная легенда о существовании "на Востоке" таинственной Великой Ложы. Однако в этих легендах "Восток" был не чем иным, как Иерусалимом; теософы же впервые отождествили этот, чисто символический, "Восток" давней европейской традиции с Востоком географическим, с Центральной Азией, куда легче было отнести все загадочное и таинственное в разгар просвещенного и уже относительно осведомленного XIX века.

Хотя в принципе теософы претендовали больше на культурное, нежели на политическое влияние, их политическая активность тоже была достаточно высока. К примеру, прямая наследница

Блаватской в иерархии теософских авторитетов, Анни Безант, не раз попадала в руки британских властей в Индии за свою антибританскую деятельность. Теософское руководство к тому времени вступило — при посредничестве некоторых французских масонов — в контакт с французскими колониальными властями в Пондишери, этой единственной французской колонии на Индийском полуострове, и пыталось использовать англо-французские противоречия на субконтиненте в собственных амбициозных целях. Играя на стремлении нарождавшейся индийской буржуазии ближе познакомиться с западной наукой и культурой, теософы стали вести в ее рядах усиленную пропаганду своих идей, выдавая их за “вершину” западной мысли. Нельзя исключить, что в глобальной перспективе некоторые теософские руководители всерьез мечтали подчинить своему духовному и политическому влиянию лидеров индийского национально-освободительного движения, чтобы с их помощью создать в будущей независимой Индии нечто вроде теософского государства во главе с “Белым Братством”. Надо сказать, что определенных успехов на этом пути теософы добились. Под их влияние подпала, например, семья Неру: Индира Ганди всю жизнь считала Анни Безант своим “гуру”, то есть духовным наставником. Пондишери на какое-то время превратился в один из главных центров антибританской и одновременно теософской деятельности. И даже в наши дни неподалеку от Пондишери, в Ауровилле, все еще функционирует один из крупнейших в мире теософских “ашрамов” (духовных центров), основанный Ауробиндо Гошем, которого все современные теософы и шамбалиты считают принадлежавшим к членам “Белого Братства”. Одно время амбиции теософов настолько возросли, что они даже намеревались выдвинуть в мир собственного “мессию” по имени Альцион и с этой целью стали воспитывать на такую роль специально подобранный индийский мальчишка. “Мессия”, однако, неожиданно порвал с воспитателями и отказался от навязанной ему шутовской роли; впоследствии, под именем Кришнамурти, он стал известен во всем мире как один из выдающихся современных проповедников йоги.

Перенесемся теперь из Индии в Россию. Сюда теософия пришла из Европы. Пришла и сразу же нашла своих пылких адептов в литературно-богемной среде, более того — нашла и своего собственного фанатичного пророка, а еще лучше сказать — пророчицу. Ею оказалась Елена Шапошникова — жена известного русско-

го художника Николая Рериха. Свою общественно-литературную деятельность Шапошникова начинала как страстная почитательница чудесных оккультных способностей своей тезки и соотечественницы Елены Ивановны Блаватской. Шапошникова даже намекала, что находится в “контакте” с тем же “астральным гуру” Мория, который некогда давал советы и знаменитой основательнице теософии. А несколько позже Шапошникова пришла к мысли, что и сама может проникнуть в Гималаи и Тибет и там получить непосредственные “откровения” от махатм “Белого Братства”, минуя посредничество Блаватской.

Сказано – сделано! “Обработав” своего мужа, до тех пор пребывавшего в абсолютном русофильстве, Шапошникова убедила его предпринять трансгималайское путешествие к “источникам психической энергии человечества”. Современные теософы-шамбалиты до сих пор ссылаются на материалы этого путешествия, как на основное доказательство существования “где-то в Центральной Азии” некоего тайного центра психической деятельности “Белого Братства”, укрывающегося в “запретной” Шамбале. В действительности, здесь имеет место двойная мистификация. С одной стороны, явной мистификацией занимались супруги Рерихи. С другой – они и сами были определенным образом мистифицированы. Кем же и как?

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо несколько углубиться в историю российской внешней политики в Азии, а также в некоторые “тайны российского двора”.

Еще в конце прошлого столетия в определенных придворных кругах России стала вызревать колоссальная геополитическая интрига. Ее вдохновителем и организатором был “доктор тибетской медицины” некто Петр Александрович Бадмаев (настоящее имя – Жамсаран) – крестник Александра Третьего и человек, близкий к царской семье. Преследуя собственные цели (во многом совпадавшие с целями стоявших за ним тибетских феодальных кланов), Бадмаев пытался толкнуть своего крестного, а затем его сына, Николая Второго, на головокружительную международную авантюру, в случае успеха которой вся территория одряхлевшей Цинской империи должна была перейти под власть русской короны. По плану Бадмаева Россия должна была для этого поддержать определенные антицинские силы в самом Китае, прежде всего – монгольскую чингисидовскую верхушку (с которой Бадмаев состоял в тесном родстве), а также влиятель-

ные круги ламаистского духовенства в Тибете, стремившиеся к преодолению зависимости от Пекина. По инициативе Бадмаева из России в Центральную Азию были направлены специальные миссии, ставившие своей целью заручиться поддержкой влиятельных феодалов и лам на местах и одновременно сорвать планы английских и японских агентов, также действовавших в этих районах.

Бадмаевские миссии в Тибете вели тайную агитацию в пользу "белого царя" и, естественно, облекали ее в доступную местному населению традиционную форму. "Белый царь" и его владения связывались с распространенным в Тибете представлением о Шамбале ("северном царстве") и ее "Белом Братстве", а тайно создаваемая и вооружаемая монгольская конница (которая, по мысли Бадмаева, должна была в подходящий момент выступить против Пекина) — с "тайным воинством Шамбалы" во главе с "непобедимым Ригден Джапо". Особая пикантность всей этой ситуации состояла в том, что Бадмаев и стоявшие за ним круги вовсе не собирались завоевывать новые земли для русского самодержавия: они хотели всего лишь использовать военно-политическую силу России для достижения гегемонии чингисидовских феодальных родов в Центральной Азии. Низвергнув — руками России — владычество Цинской империи, чингисиды могли рассчитывать на восстановление своей власти в Тибете, Синцзяне и обширных районах Южной Сибири, а быть может, кто знает — и в самом Китае. Так Шамбала, доселе чисто религиозно-мистическое понятие, неожиданно стала символом тайной центрально-азиатской интриги, в которую были замешаны Россия, Китай и некоторые европейские державы.

Следует добавить, что, как это часто бывает, возрожденный в чисто политических целях миф в определенной степени поработил своих создателей. В монгольских феодальных (чингисидских) кругах вскоре стали всерьез связывать элементы буддистского мифа о Шамбале со своими собственными родо-племенными верованиями: основатель былого монгольского величия Чингисхан стал отождествляться с индийским богом Брахмой, а будущий "мессия" из рода чингисидов — с тибетским Майтреей. Неудивительно поэтому, что, оказавшись в Центральной Азии, Рерихи сразу же столкнулись с массой пророчеств и особых мистических ожиданий, связанных с Шамбалой и приходом "нового мира". (О тех же пророчествах и ожиданиях писал также Оссен-

довский, посетивший ставку барона Унгерна в Монголии). Будучи, однако, непосвященными в истинную суть дела, Рерихи все принимали за чистую монету. Вдобавок, все эти слухи как нельзя лучше совпадали с эксцентричными ожиданиями Шапошниковой. И вот в болезненном воображении этих изощренных представителей русской богемы возникают картины, поразительно сходные с теми, которые в те же годы возникали в примитивном сознании некоторых темных пастухов-ойротов типа Сухэ-Батора. Только в случае Сухэ-Батора, попавшего в сеть большевистской пропаганды, мифы о Шамбале уже связываются... с русской революцией, а "посвященные" (махатмы) из "Белого Братства" — с Лениным и Марксом! Однако и Рерихи ведь были современниками революции. И вот уже в очередном своем бредовом мистическом опусе "Община" (напечатанном, кстати говоря, в конце двадцатых годов в Урге, то есть нынешнем Улан-Баторе) новоявленная пророчица Шамбалы Шапошникова вещает, что и Маркс, и Ленин, и вообще вся русская революция были инспирированы тайными психическими влияниями шамбалических махатм, а Ленин вроде бы и сам получил статус махатмы. И вот уже появляется малоизвестный рериховский портрет Ленина, где последний изображен в ламаистской шапке; а на другой работе Рериха будда Шакъямуни уже соседствует с пятиконечной красной звездой. И как не вспомнить в этой же связи и то знаменитое "Послание махатм", которое Рерих — уже в конце двадцатых годов — привез Чичерину в Москву вместе с ларцем гималайской земли "на могилу брата нашего, махатмы Ленина". Можно только догадываться, какие чувства обуревали Чичерина, когда тот узнал, что любимый вождь был всего лишь ставленником индийских факиров, а перспектива мировой революции стоит в прямой зависимости от иррациональной блажи тех же факиров. Вот несколько цитат из этого пресловутого "Послания".

"На Гималаях мы знаем совершаемое Вами... Мы остановили восстание в Индии, когда оно было преждевременным... Мы также признали своевременность Вашего движения и посылаем Вам всю нашу помощь, утверждая Единение Азии..."

Откуда эти мысли о "единении Азии"? Совершенно явно — из чингисидской легенды о пришествии нового великого хана, призванного восстановить древнюю империю, — легенды, которую Рерихи наверняка слышали в Монголии, хотя, скорее всего, уже в народном, вульгаризированном варианте. Нет ничего удиви-

тельного в том, что народные массы выражали свои социальные чаяния в привычных формах поверий о близком приходе шамбалического "революционного" преобразования мира. Уж куда удивительнее, что эта примитивная мистико-фантастическая сказка увлекла изощренных Рерихов и многих других представителей тогдашней русской интеллигенции...

Гораздо более посвященным в скрытые мотивы, обусловившие возрождение шамбалической легенды и ее популярность в массах населения Центральной Азии, был уже упоминавшийся нами "черный барон" Унгерн-Штернберг. Это был белый офицер, личный знакомый Бадмаева, вошедший при его посредничестве в близкий контакт не только с монгольским богдо-гегеном (главой ламаистской иерархии Монголии), но и с самим Далай-Ламой Тринадцатым в Лхассе. В годы революции барон Унгерн с созданным им отрядом конников обосновался на центрально-азиатских просторах, пытаясь привлечь к себе тамошние массы с помощью шамбалических поверий. Барон Унгерн тоже утверждал, что воюет за Шамбалу, только не за "красно-ойротскую" Шамбалу Сухэ-Батора, а за Шамбалу нового Чингис-хана Майтреи, и это не было только пропагандистским приемом, потому что некогда "черный барон" был посвящен в эзотерический культ Майтреи непосредственно самим богдо-гегеном. Здесь не место подробно обсуждать весь комплекс пан-евразийских идей, которыми был увлечен "черный барон"; ведь в конечном счете его планы не получили поддержки ойротов, а его отряд был разгромлен и изгнан из Монголии. Но судьба воодушевлявших его идей и планов оказалась иной. Их подхватил (придя к ним своим, независимым путем) другой известный глашатай особого "пан-евразийского единства", человек, которому суждено было стать главным геополитиком Третьего Рейха — Карл Хаусхофер. Спустя несколько лет Хаусхофер выдвинул собственную оригинальную версию все того же шамбалического мифа, и именно в его версии этот миф прочно связался с целями глобальной стратегии Гитлера на востоке.

Сегодня в определенных оккультно-мистических кругах широко распространены слухи, будто бы нацисты, в особенности — нацистская верхушка, имели какие-то "особые связи" с Тибетом. Главным вдохновителем таких слухов является французский публицист (и один из лидеров современных "новых правых") Луи Повель. В своей книге "Господин Гурджиев" Повель пишет,

что внутри нацистского движения существовало некое "тайное эзотерическое ядро" под видом мистического "Ордена Туле" и что руководители этого ордена заимствовали свои идеи из мистической и "секретной" тибетской книги "Дзиан", что они, якобы, планировали нацистскую военную стратегию с помощью гадания на "тибетских картах" и что сам символ нацистской свастики был некогда предложен Гурджиевым, вроде бы лично знакомым не только с Гитлером, но и со Сталиным (с которым он в свое время, якобы, учился в одной семинарии). У Повеля эту легенду о Гурджиеве подхватил Нигель Пенник в своей книге "Секретная наука Гитлера". Далее Повель рассказывает о двух "тайных" тибетских городах — Агарте и Шамбале, являющихся, якобы, мистическими центрами духовной и физической власти над планетой. В другой своей книге, широко известной и в русском самиздатском переводе, "Утро магов" (ее идеи были изложены в одном из номеров "22"), Повель утверждает, что нацисты находились в "контакте" с некими гигантами, живущими в гималайских пещерах, и что после взятия Берлина на его улицах были, будто бы, обнаружены трупы "людей гималайской расы" в немецкой военной форме. В оккультных кругах на Западе — и даже в России — все эти измышления Повеля принимаются на полном серьезе, и вот уже в своем предисловии к избранным статьям Рериха (вышедшим в СССР!) известный советский шамбалист, открыто пропагандирующий в советской печати мистику Рериха-Шапошниковой-Блаватской, поэт и публицист В. Сидоров (мы еще к нему вернемся) с невозмутимым апломбом пишет: "Известно (!), что мистическая основа фашизма, прорывающаяся временами в полубезумных откровениях Гитлера, уходит корнями в Тибет. Свастику — вернее, ее обратное изображение — фюрер взял оттуда".

Это прекрасный пример того, как оперирует склонное к мистике сознание. Кто-то подхватывает миф, кто-то наращивает на него вымышленные подробности, а еще кто-то уже пересказывает эти вымыслы как достоверные факты. Попробуем разобраться в сообщениях Повеля-Сидорова. Во-первых, книга "Дзиан" вовсе не является "тибетской" — она целиком и полностью принадлежит перу Е. П. Блаватской и представляет собой напыщенное подражание древним космогоническим текстам, пересыпанное псевдо-тибетской терминологией. Вряд ли крайне прагматичные руководители тайной нацистской политической организации могли клю-

нуть на эту белиберду. Во-вторых, так называемые “тибетские карты” никакого отношения к гаданию не имеют, а представляют собой всего лишь своеобразную игру, изобретенную около тысячи лет назад и предназначенную для лучшего запоминания монахами некоторых древних мифов. Трудно представить себе, что нацистское руководство интересовалось запутанными тонкостями тибетской мифологии. Свастикку — в качестве эмблемы ордена “Тулэ” — ввел вовсе не Гурджиев, а основатель этого ордена барон Шеботтендорф. (Кстати говоря, он же изобрел и приветствие членов ордена: “Хайль унд зиг”, то есть “счастье и победа”, которое позже превратилось в нацистское “Зиг хайль”.) Разговоры об “обратном изображении” свастики нацистами — абсолютная галиматья, поскольку во всех культурах — от Испании до Индии и Японии, — где встречается этот символ, свастика с одинаковой частотой изображается как в “прямом”, так и в “обратном” направлении (кстати, “обратное изображение” свастики использовали и теософы, ничего общего с нацистами не имевшие). Гурджиев не имел и не мог иметь ничего общего со Сталиным: он учился в Карсе, а Сталин — в Тифлисе. Не был Гурджиев и знакомым Гитлера; в лучшем случае он был знакомым Хаусхофера — об этом в частности сообщает такой эрудированный в вопросах тайных механизмов современной истории автор, как Э. Кармин, в своей книге “Гуру Гитлер”. Кармин утверждает, что Гурджиев и Хаусхофер встречались на Востоке еще до первой мировой войны. Если вспомнить, что Гурджиев в то время был агентом российской разведки в тех местах и работал преимущественно против англичан, а Хаусхофер — там же и тогда же — активно преследовал германские интересы, тоже мало совпадающие с английскими, то не исключено, что два этих примечательных человека действительно встречались и тогда вполне могли бы найти общий язык.

Сам Хаусхофер провел несколько лет на германской дипломатической службе в Японии и именно в это время совершил несколько поездок по Китаю и Тибету. Весьма вероятно, что эти поездки имели полуразведывательный характер, и потому Хаусхофер с особым интересом собирал всю информацию, касавшуюся всевозможных слухов о надвигающихся переменах. Мы уже говорили выше, что некоторые идеи, развитые впоследствии Хаусхофером в его геополитике, оказались весьма родственны идеям “черного барона” Унгерна — и это, конечно, неспроста. Вероятно, дело

здесь было в том, что многие люди из ближайшего окружения Унгерна (в частности — члены основанного “черным бароном” еще до первой мировой войны, в Петербурге, тайного офицерского “рыцарского” союза) состояли в тесной близости с последней русской императрицей, которая была родной сестрой германского кайзера Вильгельма. Известно, что русский двор не прекращал тайных сношений с германским двором даже в разгар войны, и посредническую роль в этом играл как раз бадмаевско-распутинский кружок (Распутин, как известно, был против войны России с Германией), в который входили люди Унгерна. Весьма знаменательно и то, что уже после заточения царской семьи в Екатеринбургскую тюрьму несколько офицеров — именно из унгерновского кружка (по своему происхождению — балтийских немцев) — организовали неудавшуюся попытку освободить царя, его жену и детей из большевистского плена. А спустя полтора десятка лет мы видим тех же офицеров в числе членов оккультного окружения Гитлера! Думается, вся эта запутанная российско-центральноазиатская интрига разворачивалась не без прямых контактов бадмаевских людей с тайными германскими эмиссарами, к числу которых, несомненно, принадлежал и Хаусхофер.

Однако, вслед за столь многое сулившим падением Цинской империи последовало падение империи Российской, а через год — и Германской. Постепенно рушились и планы чингисидов в отношении будущего Центральной Азии. Тем временем в Германии зарождается нацистское движение. Складывается и его “арийская” идеология. Вскоре после революции 1918 года приехавший из Турции Шеботтендорф создает оккультно-мистическое “Общество Туле”, в которое несколько позднее входит и Хаусхофер. Базируясь на заимствованном у масонов ритуале Шеботтендорф разрабатывает идеи особого “арийского масонства”, тогда как Хаусхофер развивает “пан-арийскую концепцию” по геополитическим линиям, выдвигая доктрину арийской гегемонии в Евразии. Именно в этой доктрине окончательно кристаллизуется нацистская версия Шамбалы. А точнее говоря — версия не столько Шамбалы, сколько сложившееся (на базе всех услышанных Хаусхофером в Азии легенд) представление о некоей мифической, древней — теперь уже “арийской”, — цивилизации, некогда существовавшей в центре азиатского континента, где в настоящее время располагается пустыня Гоби. К слову говоря, упоминания о “цивилизации Гоби” можно найти также в писаниях

Блаватской, Гурджиева и многих других мистиков и оккультистов той эпохи.

Особое внимание, которое нацистская геополитика уделяла Центральной Азии, как области неких специфических “жизненных интересов” Рейха, имело два аспекта: культурологический и политический. В плане культурологическом нацистская идеология провозглашала, что все культурные и научные достижения человечества имеют общее происхождение в некоем арийском “первоисточнике”. Первым, кто выдвинул эту “пан-арийскую доктрину”, был современник Маркса, французский дипломат граф Гобино. Но хотя в своих сочинениях Гобино приписывал “арийское влияние” даже цивилизациям древнего Египта и Китая, он все же еще остерегался объяснять этим влиянием развитие древних культур Нового Света. Нацистские же культурологи, ничтоже сумняшеся, утверждали, что и основателями всех древнеамериканских цивилизаций, от майя до инков, были европейские викинги, то есть древние германцы, иными словами – все те же “арийцы”!

Самым существенным для нашего рассказа является тот факт, что историческим центром этой “всемирной арийской экспансии” нацистские культурологи объявили именно Центральную Азию. Надо думать, что сделано это было неспроста. Нацистская культурология следовала здесь напрямую за нацистской геополитикой, помогая обосновать ее претензии на азиатский материк. Обоснование это опиралось на действительно имевший место факт – существование древнего европеоидного населения на территории Центральной Азии и Южной Сибири. Спекулируя на этом, нацистские культурологи объявили, что курганные погребения, относящиеся к культурам той эпохи (вероятно, скифо-сарматского происхождения), – это могилы древних “арийских героев”, которые, по их утверждению, были предками троянцев, готов и викингов (в культурах которых тоже встречается впоследствии этот тип погребения). Такой упор на погребения понятен. Ведь центральный тезис нацистской культурологии формулировался именно как “блут унд боден” (“кровь и почва”). Под этим понималось, что жизнестойкость расы стоит в прямой зависимости от территорий, ею населяемых, а качество территорий, в частности, определяют именно могилы предков, которые, якобы, передают “почве” некую мистическую “силу” своей “крови”. В свете этих и подобных толкований становится вполне

очевидным, насколько шаткой была так называемая “научно-историческая основа” официальной нацистской политики завоевания новых “жизненных пространств” на Востоке.

Весьма вероятно, что свою идею “крови и почвы” Хаусхофер заимствовал из древних шаманистических верований о мистической связи между племенными предками (и их захоронениями) и плодородием почвы и скота, а также судьбой самого племени. С этими верованиями он мог познакомиться во время своего пребывания в Азии. Известно, что такие верования до сих пор имеют хождение в Японии, не говоря уже о Китае, где официальная конфуцианская идеология возвела культ предков в некий ритуалистический абсолют.

С точки же зрения текущей политики немцы, параллельно с японцами, проявляли повышенный интерес к Тибету тоже неспроста. “Державы оси” пытались использовать в свою пользу существующие в этом регионе антибританские настроения и в некоторый момент даже планировали сделать Тибет плацдармом для японского вторжения в Индию. Кстати, что касается “тайных нацистских экспедиций” в Тибет, то экспедиции эти были вовсе не тайными, а как раз напротив – явными, пропагандистскими и шумно разрекламированными. Речь идет о двух попытках восхождения немецких альпинистов на одну из гималайских вершин, патетически названную “Судьбой Германии”. Обе они провалились: дойти до вершины не удалось и большое количество участников погибло при восхождении. Попутно заметим, что идея подобного “символического восхождения” была использована нацистами также и на Кавказе, где они водрузили знамя со свастикой на Эльбрусе, который был объявлен одним из “священных центров” все той же “древней арийской культуры” – “вершиной Ахура-Мазды”.

Остается сказать о “гигантах, дремлющих в гималайских пещерах” и готовых проснуться, чтобы дать начало новой расе сверхлюдей. Совершенно очевидно, что этот мотив нацисты (а за ними – современные оккультисты) заимствовали (прямо или опосредованно) из романа “Грядущая раса” английского писателя Бульвер-Литтона (кстати говоря, члена ложи “Золотой рассвет”, руководство которой одно время находилось в контакте с “Обществом Туле”). Впрочем, рассказы о великанах, спящих в пещерах, можно встретить и в фольклоре многих народов. Вероятно, идея гигантов каким-то особым субъективным образом возбуж-

дала Гитлера лично: не случайно она время от времени прорывалась в его, говоря словами В. Сидорова, “полубезумных откровениях”. Вряд ли однако следует возводить эту идею в ранг “официальной” нацистской идеологии. Вообще, мы полагаем, что есть огромная разница между Гитлером — автором “Майн кампф” (то есть начинающим националистическим романтиком) — и Гитлером-фюрером — шаманом-визионером, объявившим “джихад” человеческому разуму, и эту разницу всегда следует учитывать при анализе феномена национал-социализма в целом и гитлеризма в частности.

Подводя итог описанию “тибетских загадок” нацизма, выясним еще, кто же были те таинственные незнакомцы “гималайской расы”, трупы которых были обнаружены на берлинских улицах в майские дни сорок пятого года. Действительно, это были “гималайцы”, но вовсе не таинственные “ламы-посланцы Шамбалы”, а попросту солдаты индийского эсэсовского батальона, представлявшего в Берлине “армию” Субхаса Чандра Боса — бывшего руководителя Индийского Национального Конгресса, занявшего прогитлеровскую линию и создавшего свои подразделения, которые воевали в Бирме и Ассаме на стороне японцев против англичан. Кстати говоря, в Берлине вообще были представлены все воевавшие на стороне Германии силы, вплоть до русских (власовская армия). Известно, например, что рейхс-канцелярию защищали эсэсовцы-французы, а вообще в битве за Берлин особым рвением отличились эсэсовцы-испанцы.

Итак, Берлин пал, но идеи, воодушевлявшие нацистскую геополитику и нацистскую мистику, пережили этот крах и продолжают существовать, адаптируясь к новым условиям нашего времени. Как правило, всякая мистическая идея неизбежно имеет и свою курьезную сторону. Не является исключением и идея Шамбалы. Продолжая наше повествование, рассмотрим теперь и эту сторону “шамбалических поверий”, а затем уже подведем окончательные итоги.

Мы уже говорили об “ойротской интерпретации” Шамбалы Сухэ-Батором, воевавшим именно за буддийскую идею, хотя и в своем, “революционном” понимании. Еще более идиотическим образом идею “гималайских махатм” представлял себе легендарный Котовский. Случайно столкнувшись когда-то с популярными в то время дешевыми оккультными изданиями типа журнала “Исида”, Котовский с тех пор считал себя “избранником

судьбы”, состоящим в магической связи с тайными “учителями Востока”. Эту историю мне рассказывал сын человека, служившего у Котовского “консультантом по эзотеризму” и отвечавшего – головой! – за сохранность целого воза оккультной литературы, которую возили за красным командармом повсюду в его походах. К области курьезов мы целиком и полностью относим и шамбалическую версию столь распространенной в настоящее время в России среди инженеров и школьных учительниц “Агни-йоги” – многотомного, в самом дурном вкусе подражания “Тайной доктрине” Блаватской, целиком и полностью вышедшего из-под пера все той же Шапошниковой, но выдаваемого ее обожателями (начиная с самого Н. Рериха) за энциклопедию истинных поучений “гималайских махатм”, якобы сконцентрировавшую в себе “вековую мудрость Индии”. Насколько известно, этот бессовестный трюк еще никогда не был открыто разоблачен в печати и до сих пор является (особенно в СССР) источником самых диких и невежественных представлений не только о “мудрости Индии”, но и об истории человечества вообще. Впрочем, о происхождении “рериховской версии” Шамбалы мы уже говорили выше. Добавим лишь, что сегодня в России все более популярной становится кличка “рерихнутые”: она обозначает всех тех, кто обожествляет семью Рерихов и участвует в шамбалическом ажиотаже вокруг них и их “откровений”. В качестве примера такого ажиотажа достаточно упомянуть недавний случай, когда некая воронежская учительница математики организовала в городе кружок агни-йоги, в котором выдавала себя за жену владыки Шамбалы – Майтреи, который в “прежних своих воплощениях” последовательно был, якобы, Рерихом, Прометеем и Адамом. Соответственно, сама эта учительница утверждала, что в прежних воплощениях была женой Рериха (то есть Шапошниковой), женой Прометея и, наконец, – женой Адама, то есть самой праmaterью-Евой!..

Одним из наиболее рьяных пропагандистов агни-йоги является уже упоминавшийся поэт Валентин Сидоров. Его очерки, посвященные “особому характеру” советско-индийских отношений и пересыпанные цитатами из “Агни-йоги” (выдаваемыми, кстати, за “авторитетное мнение” традиционалистских индийских кругов!), а также псевдо-мистические стихи, адаптированные к уровню советского обывателя, постоянно будоражат воображение современных шамбалитов. И вот уже на поиски легендарной Шам-

балы (в русском варианте — Беловодья) отправляются как дикие энтузиасты, так и многочисленные организованные группы. Мне самому приходилось встречать этих романтиков на Алтае и в горах Средней Азии. Стоит, пожалуй, немного подробнее остановиться на теме современных поисков Шамбалы, потому что это проливает свет на процесс эволюции самой идеи.

Можно сказать, что за последние годы в СССР сложилось нечто вроде особой мифологии, объединяющей в себе элементы рериховской версии Шамбалы с элементами “УФО-логии” (“науки” о неопознанных летающих объектах, НЛО) и рассказами о “снежном человеке”. Основной ее смысл сводится к следующему.

Где-то в Азии существует страна мудрецов-суперменов, владеющих сверхъестественной магической технологией и мощными парапсихологическими (проще говоря — телепатическими и гипнотическими) способностями. Эта страна и есть Шамбала, и она связана с миром обычных смертных тайными подземными лабиринтами и особыми горными тропами. Все феномены появления НЛО связаны с Шамбалой, где и расположены космодромы “летающих тарелок”. “Снежные люди” (“йети”) — тоже посланцы Шамбалы. Иногда они пилотируют “летающие тарелки”, иногда являются сами по себе. Их внешность — всего лишь “биоскафандр”, защищающий посланцев Шамбалы от “враждебной радиации” ординарной действительности. Появление НЛО — знак особого благоволения Шамбалы к данной местности. Йети же являются лишь людям, готовым непосредственно принять “посвящение” в шамбалические тайны. Они — проводники в Шамбалу. Йети могут устанавливать с людьми телепатические контакты (не такой ли йети внушил Шапошниковой основные идеи агни-йоги?!). Шамбалические мудрецы, так же, как и их посланцы-йети, являются представителями “Ориона”, то есть, в конечном счете, существами внеземного происхождения. Их ближайшая к Земле космическая база находится на Венере. И главное — все проявления шамбалической деятельности постепенно смещаются... в Россию, потому что именно в России должно произойти явление Майтреи, и это предопределяет особую и центральную роль русского народа в мировой истории. Россия станет Шамбалой, то есть новым мистическим центром мира.

Разумеется, эта, с позволения сказать, мифология, имеет свои вариации, своих идеологов и пророков, утверждающих, что они непосредственно встречались с йети и даже побывали на борту

НЛО, в Шамбале, на Венере или даже на Орионе. Сложились даже своеобразные “школы”, основными из которых являются московская, ленинградская и киевская.

В среде советских шамбалитов широко дискутируется также вопрос о причастности к “шамбалическому знанию” Гитлера или других нацистов. Например, среди “ленинградцев” распространена легенда о том, что Гитлер, якобы, потому так рвался к Ленинграду, что где-то в районе Пулковских высот имеется один из “входов в Шамбалу”. Оказывается (!), кроме нацистских парапсихологов об этом секретном входе знал также и советский писатель-фантаст Иван Ефремов (произведения которого, особенно начиная с “Часа быка”, насквозь проникнуты оккультно-мистическими мотивами и мыслью об “особой” советско-индийской, даже шире — русско-арийской — связи). Ходят слухи, что сразу же после смерти Ефремова на его квартиру нагрянули агенты КГБ, которые опечатали все его архивы — именно потому, дескать, что у властей были серьезные основания полагать, что Ефремов был не кем иным, как особым, тайным посланцем тибетских (читай — шамбалических) магов в России!

Уж не является ли преемником Ефремова на этом “посту” нынешний В. Сидоров, открыто пропагандирующий в своих произведениях писания Блаватской и Шапошниковой в области “мистического знания” и проводящий мысль о некоем “особом внимании” самого Ленина к идее Шамбалы?! Во всяком случае, тот факт, что его произведения публикуются в таком “серьезном” советском журнале, как “Москва”, и притом без всяких комментариев, явно указывает, что В. Сидоров не одинок в своем шамбалическом увлечении.

Существуют, однако, в СССР и анти-шамбалические, если можно так выразиться, силы. Пожалуй, наиболее скандальной в этом отношении является “школа” гуру Вараверы — Валерия Аверьянова, бывшего члена КПСС, ушедшего в мистику и парапсихологию. Варавера объявил Шамбалу источником фашизма, а Гитлера — “ставленником крупной тибетской парапсихологической школы бон-по”, которая, якобы, применяет черную магию в общемировом масштабе. Себя Варавера считает “представителем Агарты” — мистического города-антипода Шамбалы (об Агарте как центре “медитации”, в противоположность Шамбале как центру “волевой концентрации”, писал Повель в “Утре магов”, откуда Варавера, вероятно, и заимствовал этот мотив). Термин

“Агарта” Варавера соединил с одним из псевдонимов знаменитого “мага” Калиостро — Ахарат, утверждая, что “Ахарат” как раз и означает “посланец Агарты” и что между “Ахаратом” и им, Вараверой, существует прямая мистическая зависимость. Так возникла школа “ахаратчиков”, ставящая своей целью утверждение в “астрале” идей... коммунизма и объявившая открытую войну Шамбале, а в лице последней — всему мировому фашизму. Попутно школа “ахаратчиков” объявила войну и мировому сионизму, поскольку гуру Варавера рассматривает евреев как неких “агентов Луны” (!), высасывающих земную энергию и переправляющих ее на Луну при посредстве тайных обрядов в честь “лунного бога” Яхве!!

Не будем утомлять читателя дальнейшим перечислением всех этих весьма разнообразных, но внутренне одинаково убогих вариантов особого шамбалического психоза, распространившегося в среде полуинтеллигентных советских обывателей. Думается, что не следует все же слишком строго судить обычного человека за проявляемое им порой стремление к экзотическому и экстравагантному. Ведь всем нам по-человечески знакомо и понятно это желание вырваться — хотя бы на короткий промежуток времени — из рутины быта и каждодневных забот. Вот здесь-то и выручает человека “желтая пресса” (не в ругательном, а в развлекательном смысле последней), клубы по интересу, романтические путешествия. За такую “Шамбалу мы — обеими руками. Но!.. Вот об этом “но” мы, в завершение всего, и поговорим.

Начнем с прессы. Ее роль в формировании общественного мнения понятна, особенно в наш век глобальной и транснациональной коммуникации. И понятно, что в условиях существующей на Западе свободы слова невозможно контролировать или административно пресекать весьма нередкие, к сожалению, попытки некоторых авторов протаскивать в серьезную печать определенные “желтые” — сенсационные и псевдонаучные — идеи. К счастью, однако, западное общество выработало своеобразные культурно-психологические барьеры против “желтизны”, и западный человек, в принципе, достаточно быстро отличает серьезное от несерьезного, чисто сенсационное от подлинного. Это не значит, конечно, что западные люди вообще лишены тяги к фантастическому, загадочному и романтическому или что там не могут возникнуть и приобрести достаточно широкую популярность соответствующие увлечения. Но, как правило, массовый человек на Западе не делает на фантастику

своей основной, так сказать — онтологической — ставки. И в условиях сложившихся на Западе общекультурных канонов книги типа повелевского “Утра магов” или фильма в роде даникеновского “Воспоминания о будущем” воспринимаются широкой общественностью как нечто хотя и экстраординарное, но все же увязанное с глубинным контекстом всей культуры, имеющим отчетливую рационально-прагматическую ориентацию. Этот контекст с неизбежностью порождает в сознании западного человека особую психологическую установку, которая принципиально ограничивает возможность воздействия на него любой фантастической идеи. Фантастика, воспринятая рационально-прагматически ориентированным сознанием, раскрепощает воображение, но не подчиняет его себе.

Иное дело, когда фантастика именно подчиняет себе человеческое воображение. Такие случаи мы действительно могли бы определить как “негативный гипноз” или, если угодно — как “черную магию”. Как правило, такая ситуация возникает там, где фантастика — часто в виде “желтых” идей — начинает проникать в область коллективных движений, политики или науки. Применительно к таким случаям можно уже говорить о наличии персонального, группового или даже коллективного психоза. Как же возникает подобная психотическая ситуация и какие силы используют ее для манипуляции людьми?

Прежде всего отметим, что подобного рода психозы могут возникать как спонтанно, так и будучи сознательно инспирированными. Сознательному контролю могут быть подчинены также психозы, вспыхнувшие ранее вполне спонтанно. Бывают и такие случаи, когда лицо или группа лиц, сознательно инспирировавшие — в каких-то своих целях — общественный психоз, затем сами становятся его жертвами. Можно думать, что движущей силой всех “великих инспираторов” всегда является то, что Ницше назвал “волей к власти”. Молах Власти — вот главный кумир в Храме Фантастической Идеи. Пророк грядущего сверхчеловека был абсолютно откровенен, когда выводил это всепоглощающее “воление” из отрицания всего объективного. Действительно, воля к власти в своем абсолютном значении не сводится всего лишь к желанию обладать властью политической, экономической или духовной — это действительная претензия на полное и бескомпромиссное подчинение себе всех областей бытия как такового, подчинение всех его аспектов своему субъективному капризу

и "хотению". Естественно, что такая претензия по существу отрицает объективность самого этого бытия, превращая его в нечто, свободно формируемое и переформируемое в воображении. Поэтому выйти в открытую против реальности эта безудержная и безграничная "воля к власти" попросту не может: она вынуждена маскироваться в форму мифа, а точнее — фантастической современной псевдо-мифологии. В то время, как реальный, исторический миф является вполне легитимной формой ритуально-эстетического видения космоса, то есть, по сути, особой, основанной на традиции, системой видения и понимания мира, псевдо-мифология всегда исходит из субъективного, "профанического" (в противоположность священному, "сакральному") источника и не имеет никакого отношения к традиции, передаваемой из поколения в поколение. Иногда, однако, псевдо-мифология может на время даже совсем вытеснить подлинную традицию, и явления такого порядка можно наблюдать на всем протяжении человеческой истории. Не будем, однако, и дальше углубляться в теорию: вернемся лучше к тем формам псевдо-мифологии XX века, о которых шла речь выше.

Не хочется повторять избитые слова о том, что периоды крушения империй и времена глубоких социально-экономических кризисов одновременно являются и периодами переоценки прежних духовных ценностей, то есть наиболее кризисными для подлинной традиции. Именно такие времена являются наиболее благоприятными для проникновения в общественную жизнь всевозможных "желтых" идей и зарождения фантастических псевдо-мифологий. Пожалуй, наиболее ярким примером глобального — хотя и временного — торжества такой псевдо-мифологии является феномен нацизма. Интеллектуальные лидеры этого движения сумели использовать в своих целях и интересах весь тот иррациональный материал, который вынесли к их ногам бурные волны исторических катаклизмов начала века. Они выдвинули не только свою "новую" социально-экономическую и "новую" расовую теории, но и заявили о создании совершенно новой "германской науки", вплоть до "арийской космогонии" Хербигера (о которой в журнале "22" уже писалось подробно). В своих наиболее далеко идущих стремлениях они пытались нащупать и изменить самую основу общечеловеческого генетического кода — ведь именно к этому сводились их планы "создания сверхчеловека". Нельзя сказать, что все эти идеи были чем-то новым в истории псевдо-

мифологии: мы уже говорили выше о нацистских заимствованиях из самых разных источников, от европейских до центрально-азиатских, — но в мифологии нацизма эти идеи были подвергнуты особой, целенаправленной интерпретации и включены в угрожающий общий контекст. И в результате, несмотря на свою явную абсурдность и несамостоятельность, нацистская мифология преуспела в овладении и манипулировании иррациональной энергией самых широких масс.

Говоря о псевдо-мифологии XX века, нельзя, конечно, обойти и феномен сталинизма. В отличие от нацистской, сталинистская мифология не претендовала на особую космогонию (если не считать отдельных курьезных попыток противопоставить теории относительности Эйнштейна некую “материалистическую теорию движения”); но зато выдвигала серьезные претензии на особую биологию, языкознание и т. п. Внешне мифология сталинизма всячески подчеркивала свою “строгую научность”, однако по существу содержала сильный мистический и магический элемент. Нам представляется возможным установить и прямую, хотя и далеко не простую, связь между этой мифологией и русским шамбализмом типа Агни-йоги. Попробуем проследить эту связь.

Весьма вероятно, что сам Сталин никогда ни о какой Шамбале и о чем-то подобном даже и не слышал. Но дело не в этом. Мы уже говорили, что с начала века в некоторых российских около-придворных и салонных кругах стала складываться особая идеология некоего “пан-евразийского единства”, в которой центральная роль отводилась России. Отдельные элементы этой идеологии получили отражение в русской литературе и искусстве того времени (достаточно вспомнить, например, знаменитое блоковское стихотворение “Гунны”). Можно сказать, что в этот период в элитарных кругах начала постепенно формироваться специфическая псевдо-мифология “евразийского будущего России” (в которой одним из существенных элементов был, в частности, миф о Шамбале). С общеисторической точки зрения эту псевдо-мифологию (в ее социально-политическом аспекте) можно рассматривать как последнюю попытку всей феодально-монархической Азии противостоять росту политико-экономического влияния капиталистической Европы. Русская революция пресекла процесс становления этой псевдо-мифологии, однако кое-что уже было тем не менее создано. Вот это “кое-что”, а точнее — его осколки — и всплыли в дальнейшем и в Монголии

богдо-гегена и Унгерна, и в Германии Гитлера и Хаусхофера. Но есть в этой теме и специфически русское звучание, некая продолжавшаяся "русская нить". Это, однако, вовсе не комично-пародийная "русская Шамбала" супругов Рерихов и их Агни-йоги, а совершенно иной и куда более серьезный феномен. Мы имеем в виду известную интерпретацию большевизма, разработанную Устряловым.

Сам Устрялов первоначально, видимо, находился под сильным влиянием Константина Леонтьева — известного русского славянофила-византиниста, считавшего, что путь России к евразийской гегемонии лежит через союз с азиатскими империями. Со временем, однако, Устрялов изменил свои взгляды, придя к выводу, что на текущем историческом этапе противостояния Востока Западу именно большевики являются той единственной силой, которая способна сохранить в неприкосновенности всю громадную территорию бывшей Российской империи. Устрялов почти пророчески предвидел, что большевики, будучи органичным явлением русской истории, станут со временем очередным звеном генетически единой и непрерывной русской традиции авторитарного правления и с неизбежностью выдвинут в будущем нового абсолютного диктатора, этакого "нового Чингисхана", который положит начало очередной самодержавной династии. Сделав, таким образом, ставку на национализм большевиков, Устрялов обратился ко всем белым эмигрантам (сам он в то время жил в Харбине) с призывом поддержать большевизм ради "русской идеи" и сам принял непосредственное участие в деле организации торговли с советской Россией. Взгляды Устрялова были сочувственно восприняты послеленинской большевистской верхушкой и, в частности, Сталиным и имели своих апологетов и проводников в советской печати; об этом подробно писал в своем исследовании "Идеология национал-большевизма" М. Агурский. Устрялова по праву можно считать одним из крестных отцов национал-большевизма, каковым, по существу, и был сталинизм. И хотя Сталин не стал основателем новой династии, сам сталинизм, в принципе, вполне соответствует по своей внутренней природе характеру устряловского предвидения. Более того, подорвав и без того шаткое христианское сознание России, сталинизм тем самым как бы открыл дорогу и унавоzil почву для возрождения древней языческой и, в частности, шаманистической ментальности, свойственной в недавнем прошлом

большинству народов, населяющих СССР, и тем самым подготовил ситуацию, в которой стало возможным появление самых крайних форм псевдо-мифологии, претендующих на глобально-мессианский характер.

И вот в современной России мы как раз и наблюдаем процесс постепенного развертывания такой псевдо-мифологии, зародившейся еще в начале века. "Единение Азии", провозглашенное в "Агни-йоге", начинает связываться с устряловской теорией необходимости нового авторитаризма; к ним добавляется мессианская национал-большевистская идея "предназначенного историей" духовно-политического лидерства России в глобальном масштабе; а в определенных культурологических кругах СССР уже слышны голоса, призывающие к "особому союзу" большевистской идеологии с индийской мистикой (вспомним тех же И. Ефремова и В. Сидорова). Необычайно показательно, что одновременно в советской исторической науке (в частности, в работах, посвященных т. н. "Велесовой книге"), и околонаучных популярных публикациях (см.opus В. Чивилихина "Память"), а также в художественной и научно-фантастической литературе все чаще и громче начинают звучать утверждения, что древние арийцы изначально происходят от населения южно-русских степей, а потому именно Россия — первичный центр всей арийской (а "следовательно" — и мировой) культуры; эта дохристианская, "арийская", мессианская Россия мистически противопоставляется "иудео-христианскому", "обреченному" Западу (обо всем этом в "22" подробно писала М. Каганская). Некоторые особо ретивые апологеты "русской идеи" типа Валерия Емельянова и иже с ним "доказывают" русское происхождение древней цивилизации этрусков и средневековой египетской династии мамлюков, древнеармянского царя Русы и индийских богов Вишну ("Вышень") и Кришны ("Крышень") и даже таких названий, как Палестина ("Палый стан") и Иордан ("Ярый Дон")! В этой связи остряки замечают, что город Вавилон есть, очевидно, не что иное, как "бабье лоно"... А чего стоят утверждения известного советского индолога Гусевой о том, что "русские говорят на одной из форм санскрита", или все того же В. Сидорова, что "пора объединить идеи Ленина и Рамакришны"?! Все это происходит не во времена мрачных сталинских гонений на "космополитов" и сопровождавшей их вакханалии "борьбы за русский приоритет", а сейчас, в наши дни "гласности и перестройки".

Добавим к этому такие более серьезные признаки, как увлеченность многих советских военных темой противостояния России “международным масонским и сионистским силам”, сочетающуюся с глубокой заинтересованностью в магической “силе вриля” (один из ключевых терминов всей “арийской науки”), а также все возрастающую активность общества “Память” — и станет очевидно, что все эти, на первый взгляд разрозненные и порой кажущиеся анекдотическими, явления представляют собой, на самом деле, отдельные звенья процесса формирования новой и вполне опасной псевдо-мифологии, и не только мифологии, но и особого социального слоя, на который эта мифология может в будущем рассчитывать.

Пока еще не вполне ясно, насколько этот процесс стихийен, а насколько — сознательно и целенаправленно инспирирован. Очевидно, однако, что в СССР существуют вполне реальные и влиятельные силы, которые хотят этот процесс использовать и поставить под свой контроль. Эти силы не обязательно должны быть специфически-русскими: они могут маскироваться под национальные движения и использовать стихию великорусского шовинизма ради своих собственных, иррационально-волюнтаристских целей. Можно напомнить, что и в нацистском движении почти все ведущие фигуры не были органически связаны с Германией: Гитлер был австрийцем сомнительного происхождения; австрийцем был и Хербигер — верховный законодатель “арийской космогонии”, создатель “теории космического льда”; Шеботтендорф, основатель “Общества Туле”, приехал из Турции, Рудольф Гесс, правая рука Гитлера, родился в Египте, а Розенберг, главный идеолог нацизма, — в Эстонии.

Несомненно, в условиях гласности и перестройки, вырвавших советское население из привычного состояния стагнации и психологического отупения, разворачивается острейшая борьба за умы и души людей. И вот перестройка в определенных кругах уже получает ярлык “третьего масонского переворота” (первый едва не произошел при декабристах, второй состоялся в феврале 1917 года). Два первых потерпели неудачу, — какова судьба третьего, нетрудно догадаться. И вот уже ходят слухи, будто сам (!) Святослав Рерих сидит в Кремле и отговаривает Горбачева от “масонской линии”, одновременно предлагая ему, в случае согласия, “помощь махатм” (тех самых, “письмо” которых отец Святослава некогда доставил Ленину) и их “био-энергетическую поддерж-

ку". Впрочем, уже упоминавшийся нами гуру Варавера еще в начале 70-х годов утверждал, что его "школа Ахарата" уже совершила "био-энергетическую революцию", последствия которой во много раз превзойдут результаты революции 1917 года. Так не "революция" ли Вараверы и явилась "подлинной", так сказать — "био-энергетической", основой нынешней перестройки?! Его ученики, во всяком случае, именно это утверждают.

Подведем итоги. Суммируя все вышесказанное, мы можем сформулировать следующие выводы:

1. Шамбала, как волшебная страна мудрецов, является целиком и полностью продуктом художественно-литературного вымысла ряда западных авторов (зачастую даже не связанных друг с другом), заимствовавших это понятие из восточной мифологии и обыгравших его в соответствии со своими субъективными вкусами и наклонностями.

2. Тема Шамбалы, став одной из ведущих в западном оккультизме XX века и получив свое отражение в западном искусстве и литературе, в настоящее время является одной из весьма распространенных тем современной фантастики и мистики.

3. Всякая попытка рассматривать идею Шамбалы как нечто, имеющее серьезную научную или фактическую основу, является заведомым нонсенсом.

4. Тем не менее сегодня имеют место (особенно в России) вполне серьезные попытки использовать миф о Шамбале в качестве элемента новой псевдо-мифологии с отчетливо выраженной политической и идеологической направленностью.

5. Очевидно, однако, что шамбалический миф уже в значительной степени исчерпал свою привлекательность, и нарождающаяся в новой советской действительности "нео-арийская" псевдо-мифология, скорее всего, в недалеком будущем выдвинет для своих оперативных нужд на центральную роль какое-либо иное, более емкое и свойственное ее характеру понятие. Сама же Шамбала, вероятно, займет надлежащее место в длинном списке отживших человеческих утопий.

В. Гусман недавно эмигрировал из СССР и живет в Зап. Берлине; его статья "Метафизика сталинизма" была опубликована в "22" № 60.

ЛЮДИ И КНИГИ

Михаил Хейфец

УРОКИ ПРОШЛОГО

“Очень современная книга”

В. И. Ленин

Итак, на русском языке появился “Кровавый посев” — новая книга Роберта Конквеста (автора знаменитого “Большого террора”), посвященная одному из самых малоизвестных и самых страшных этапов сталинского террора — раскулачиванию, коллективизации и голоду 1932—1933 гг.

Поражает колоссальный объем фактической работы, проделанной исследователем: библиография насчитывает сотню монографий, десятки периодических изданий на английском, русском и украинском языках. Поражает не потому, что историку пришлось много поработать — в конце концов, каждый добросовестный исследователь, охватывая большую тему, переворачивает горы материала. Случай Конквеста удивителен потому, что ему пришлось вгрызаться в пласты истории чужих и, в общем, не слишком известных народов. То есть, каждый факт, который нам, уроженцам той страны, представляется известным с детства или со школы, историку пришлось добывать горбом — сначала узнать про его существование, потом прочитать в источнике, потом сделать собственные выводы. Насколько тяжел и опасен такой труд, видно уже по тексту Конквеста: как только он отступает (в интересах полноты сюжета) от своей непосредственной и добротной изученной темы, от своего “периода”, в его книге мгновенно возникают, хотя и третьестепенные, но все же фактические ошибки. Конечно, редактор мог бы удалить подобные мелкие неточности одним росчерком пера; но в моих глазах, эти ошибки, как ни парадоксально, лишь украшают книгу: не имея, строго говоря, прямого отношения к проблематике и главным историческим сюжетам, эти мелочи выделяют, оттеняют, какую громадную работу пришлось проделать автору, чтобы поразить даже русского читателя (то есть, повторяю, того, для которого эти сюжеты привычны с детства) неимоверным количеством собранного нового материала и, главное, анализом документов, которые, как говорится, были у всех на виду и в которых никто ничего не понял (для меня лично шоком явилось истолкование Конквестом давно, со студенческих времен читанного письма Сталина Шолохову).

К числу особых достоинств Р. конквеста я отношу его удивительное чутье к нащупыванию и истолкованию важнейших подробностей сюжетов, которые по какой-то причине остались недоисследованы: может быть, оно —

это чутье — и составляет так называемый талант историка? Вот один из примеров. Р. Конквест уделяет немало места партийным “дефинициям” кулака, середняка и бедняка и со сдержанным британским остроумием иронизирует над попыткой партидеологов навести “порядок” среди сельско-пролетарских “овец” и буржуазных “козлиц”. Ему явно неизвестна концепция того из персонажей книги, которого он сам называет самым выдающимся российским экономистом той эпохи, А. В. Чаянова. Между тем, изучив жизнь деревни не в мгновенном ее срезе, но, напротив, в динамике развития. А. Чаянов пришел к выводу, что наличие бедняков, середняков и кулаков — не в традиционно-крестьянском смысле этих понятий, когда бедняком называли либо лодыря и пьяницу, либо несчастного мужика, сраженного болезнями, редкостным невезением и т. п., а кулаком того, кто существовал не “от земли”, а за счет посторонних и доходных промыслов, а скорее уж в партийном смысле этих терминов, — так вот; Чаянов выяснил, что, видимо, бедняки, середняки и кулаки представляли собой, как правило, разные фазы в развитии одной и той же крестьянской¹ семьи. Молодая пара начинала жизнь, естественно, как бедняцкая, потом появлялись дети, помощники в работе, хозяйство крепло и становилось середняцким; наконец, дети вырастали, женились, семья получала от “мира” дополнительный надел на новые “души”, становилась зажиточной (по-большевистски — кулацкой), потом женатые дети “выделялись”; и из большой кулацкой семьи возникало несколько малых бедняцких. Таков, по Чаянову, типичный цикл сельской жизни, и этот круг объясняет сложности, путаницу, неразбериху, парадоксы в трех крестьянских категориях, описываемых Р. Конквестом, — тех, в которых большевистские теоретики заблудились, как в трех соснах.

Кстати, это же объясняет, почему раскулачивание носило такой массовый характер, нанесло такой жуткий удар сельскохозяйственной экономике: из деревень изъяли не только лучших хозяев (и это, конечно, тоже), но и количественно самые большие и находившиеся на самом пике успешной хозяйственной деятельности трудовые семьи. Р. Конквест, видимо, не знал теорию Чаянова, но тем больше чести, что всем ходом своих рассуждений, всеми собранными им данными — и о семейном составе крестьян, и о величине их доходов, о товарности хозяйств — он подвел читателей к этим выводам, он поставил перед нами проблему и дал необходимые данные для ее решения.

Повторяю, главное достоинство его книги в том анализе, в той работе ищущей исследовательской мысли, которая делает труд важным и свежим, — свежим даже тогда, когда собранные автором факты перестанут быть новинкой для лишенного информации читателя. Здесь мне хочется сравнить ее с “Архипелагом ГУЛАГом” А. Солженицына, художественным исследованием, все непреходящее, гениальное величие которого стало ясно именно тогда, когда собранные писателем факты превратились в общеизвестные истины.

Со дня выходе “Кровавого посева” в свет на английском языке прошло два “перестроечных” года, появились статьи о голоде Ю. Черниченко, о коллективизации — других авторов, более того, издан первый в истории СССР закон о “реколлективизации”, то есть о праве крестьян на аренду

земли. Если бы книга Р. Конквеста выделялась сегодня только публикацией новой информации, она бы удачно влилась в поток "перестроечной" литературы и довольно быстро осела на его дне. Но не такая ждет ее судьба, по моему глубокому убеждению.

Р. Конквест — английский автор, а определение национальности автора обусловлено не кровью, текущей в его жилах, но тем, к какому читателю он обращается, с кем хочет общаться на страницах своей книги, кого мысленно видит, сидя за машинкой или держа в руке перо. Книга Конквеста обращена сначала к англичанам и, во вторую очередь, ко всем остальным жителям западного мира: он хочет разрушить предрассудки и аморальную позицию именно "своих", а не российских читателей. Но она оказалась написана так, что выглядит необходимой прежде всего читателю страны, о которой "сказ сказывается", — СССР. Во всяком случае, так это представляется мне, человеку, большую часть сознательной жизни бывшему российским историком и литератором.

Почему? Что представляется самым важным, почти шоковым выводом, поражающим даже сегодня и, убежден, неизвестным и чрезвычайно важным для любого российского читателя? Вот он: тройной удар по крестьянству начала 30-х годов (раскулачивание, коллективизация, террор голодом) *не имел никакого положительного социального смысла*. Эта фраза означает, что ни один социальный слой в стране, включая и партию, не получил никаких выгод от того, что были ограблены и погублены миллионы людей. Разве что считать выигравшими Кагановича, унаследовавшего место Бухарина, Молотова, перенявшего должность у Рыкова, Шверника, сменившего Томского, Хрущева, постепенно прибавшего к рукам углановские функции, и еще кучку политических дельцов, сделавших на этой катастрофе свои карьеры.

Р. Конквест справедливо отмечает, что не только сторонники Сталина, но и все его противники видели в "тройном ударе по мужику" некий огромный "замысел", некую (пусть сатанинскую) цель. В СССР и на Западе сторонники Сталина до сих пор говорят, что ценой этих миллионов жертв удалось форсированными темпами "превратить Россию в великую индустриальную державу", благодаря чему и была одержана победа над Гитлером, в конечном счете спасшая российскую нацию и весь мир! Именно по сему мифу книга Конквеста и наносит убийственный удар, попадая в центральный поток бушующих сегодня в Союзе дискуссий. Автор, опираясь на данные, опубликованные советскими экономистами типа Барсова, истолкованные западными специалистами вроде Миллара, пришел к выводу, что если брать не частную цифирь — количество зерна, отобранного государством у мужиков, а соединить все суммы, весь баланс расходов и доходов советской казны в совокупности, выяснится поражающая воображение картина: не только сельское хозяйство в общем итоге не дало казне (за счет реквизиций через колхозные каналы) дополнительных средств для развития промышленности, но, напротив, оно поглотило — пусть и небольшую — часть государственных доходов даже сверх того, что у мужиков удалось отобрать! Не только в социальном, значит, плане, когда в убытки следует занести гибель миллионов людей, то есть — потенциальных налогоплательщиков, потенциальных солдат (я умышленно учитываю только социальные и материальные убытки), или уничтожение луч-

ших “мастеров урожая”, как их называет сегодня советская пропаганда, то есть подрыв самой основы сельского хозяйства, но даже в плане примитивном, бухгалтерском, когда на одной половине страницы записаны доходы вследствие отобранного у производителей урожая, а на другой — расходы на создание платной администрации там, где ее раньше не было (и не было в ней нужды), или на машины, которые заменили уничтоженную тягловую силу, или на капитальные вложения в новые хозяйства взамен разрушенных старых, так вот — даже чисто бухгалтерски уничтожение миллионов людей принесло их палачам не доходы, а убытки! Или другой расчет, когда доходам от награбленного “кулацкого имущества” какой-то западный исследователь догадался противопоставить примерные расходы на депортацию миллионов людей (которые ведь не только перестали давать государству налоги и продукты, но которые, напротив, пусть впроголодь, но приходилось кормить “пайкой”, пока они не построят собственные дома — так же, как кормить вновь созданные комендатуры и прочих паразитов и т. д.) — и вдруг выяснилось, что расходы-то на депортацию едва ли не превысили доходы от грабежа “кулацкого” имущества... Коротче говоря, если в СССР 30-х годов и была создана новая индустрия, то *вопреки коллективизации*, а не благодаря ей (во всяком случае, в бухгалтерском аспекте этой проблемы) !

Не могу удержаться от рассуждения, уводящего несколько в сторону от прямого сюжета Р. Конквеста, но являющегося своеобразным продолжением его. Неосталинисты видят огромную заслугу Сталина в том, что благодаря его политике СССР выиграл войну против Гитлера. Но ведь на самом деле — и это становится ясным, когда в полную меру познаешь Запад здесь, за кордоном. — воины, скорее всего, просто не было бы (как, возможно, не было бы и Гитлера у власти), *если бы не политика Сталина!* Советские политологи справедливо видят важнейшую причину гитлеровских успехов в ошибочной политике западных демократий, в мюнхенской политике умиротворения агрессора с целью повернуть его волчью пасть на восток и стравить со Сталиным, они называют такую политику предательской по отношению к коллективной безопасности в Европе, тем самым оправдывая Сталина, в свою очередь предавшего собственных союзников и заключившего договор с Гитлером. Но при этом забывают, что западные политики, вроде Даладье и Чемберлена, тоже рассматривали безопасность Европы в *комплексе*, и уничтожение Сталиным командного состава РККА воспринималось ими не только как внутреннее дело СССР, но и как колоссальная *военная победа* Гитлера, без единого выстрела выведшего из строя едва ли не треть или более антигитлеровских вооруженных сил в Европе, одним махом ликвидировавшего — руками Сталина — почти весь Восточный союзный фронт. Не следует забывать, что это только нам казалось, будто весь мир обманут московскими процессами: на самом деле *политические* лидеры западных стран не могли не знать, что люди, уничтожаемые в СССР, точно не были их агентами — уж в этом-то их не могли убедить ни Вышинский, ни Бернард Шоу, они-то знали, кто на них действительно работает, а кто нет; кроме того, имея информатором руководителя германской военной разведки Канариса и других высших офицеров вермахта, руководители западных стран отлично знали, что подсудимые на московских процессах

и все прочие сталинские жертвы, ликвидированные одновременно с ними, не были германскими агентами тоже. Таким образом, *верить* московским прокурорам могла разве что наивная общественность, но европейские политики уже тогда знали правду: Сталин уничтожает в чудовищных масштабах собственный народ! На эти мысли меня навело то место в тексте Конквеста, где он рассказывает о корреспонденте "Нью-Йорк таймс" в Москве англичанине У. Дюранти. Будучи бесспорным дезинформатором читателей газеты, в которой он официально работал, Дюранти, оказывается, одновременно давал вполне достоверную информацию британскому посольству в Москве, и посольство, а вместе с ним и правительство Его Величества, ни в коем случае не заблуждались насчет сути и масштабов происходящего: об этом нам тоже сообщает Конквест, анализируя рассекреченные сегодня депеши посольства в Лондон. Отсюда явствует, что уже с начала 30-х годов Сталин и его помощники выглядели в глазах правителей Европы жуткими преступниками и убийцами миллионов советских граждан — стоит ли негодовать, что эти западные политики пытались отодвинуть опасность войны от своего порога, стравив два самых преступных правительства мира между собой! Эти европейские деятели, безусловно, ошибались, их политика оказалась близорукой, неумной — спору об этом нет! — но нельзя же забывать и огромной доли вины за Мюнхен тех политических дельцов, начиная со Сталина, которые создали СССР такую международную репутацию и вдобавок уничтожили собственную армию! Что я не придумываю такой вариант задним умом, что он обдумывался современниками уже тогда, доказывается недавно опубликованной в "Знамени" фразой маршала А. Василевского насчет того, что не будь тридцать седьмого — не было бы и сорок первого... А сегодняшний литературовед А. Ланщиков добавил: "Если бы не было коллективизации, то не было бы и лета 1941-го"*.

Возвращаясь к Конквесту, заметим, что некоторые западные советологи, особенно эмигрантские, усматривают некий "социальный смысл" коллективизации в том, что после нее вся без исключения частная собственность попала в государственные руки, и это-то позволило Сталину создать в СССР "тоталитарный режим". Нет нужды опровергать эту концепцию: ведь на наших глазах существовали тоталитарные режимы в Германии и Италии 30-х—40-х годов с нетронутой частной собственностью. Конечно, управлять страной, когда вся собственность захвачена государством, *проще*, это требует как бы меньшего искусства от политика, но зато ведь и невыгоднее: многочисленные экономические рычаги одновременно связывают руки политическому руководству.

Еще одно: восторги неосталинистов по поводу превращения аграрной страны в индустриальную выглядят со стороны невероятно наивными. По сути они сводятся к тому, что великая нация, обладавшая неисчислимыми природными и людскими ресурсами и многочисленными талантами, могла, оказывается, развить свое хозяйство на современный лад только потому, что во главе ее оказался гениально одаренный практической сметкой, но все же лишь безмерно волевой и расчетливый палач, который

* См.: "Вопросы истории", № 6, М., 1988, с 30.

бичом своего гнева загонял Россию в индустриальную революцию. Между тем Р. Конквест доказывает, что *любой* из возможных альтернативных лидеров России понимал необходимость индустриализации, и споры между ними шли лишь о темпах, о сбалансированности ресурсов и инвестиций и о возможностях получения источников для развития. Автор мимоходом разоблачает мифы, запущенные в советское общество еще при Сталине, якобы Бухарин был противником индустриализации; или, наоборот, якобы Троцкий, Зиновьев и Каменев были сторонниками беспощадной политики по отношению к крестьянам (из этого диссиденты раньше делали вывод, а некоторые "мыслители" выводят и теперь, будто Сталин просто украл и осуществил на практике троцкистско-зиновьевскую программу). Оказывается, Бухарин ясно понимал необходимость индустриализации, и Троцкий с Зиновьевым и Каменевым вовсе не планировали "ликвидации кулачества как класса". Всем им было ясно, что за индустриализацию страны должно заплатить население, и, конечно, главный счет должен лечь на плечи самой значительной его группы — крестьянства; однако эта ситуация не требовала обязательного разорения села: как доказывает тот же Конквест, и японские, и даже царские премьеры (Витте и Столыпин) давали возможность развиваться сельскому хозяйству, с тем, чтобы излишки средств выдавать из него в виде земельной ренты и налогов и тратить на развитие необходимых государству индустриальных проектов. Кроме того, существовал еще один рациональный и опробованный Россией путь: инвестиция иностранных капиталов. Правые и левые спорили между собой о том, какой вариант из возможных путей развития более выгоден, но и те, и другие не собирались покушаться на НЭП, и в этом смысле Сталин был абсолютно прав, утверждая истинное сходство позиций сочиненного им "право-троцкистского блока". И последнее соображение: защитники Сталина до сих пор утверждают, что, несмотря на всю его жестокость, сталинский план индустриализации и коллективизации был жизненно необходим СССР ввиду ограниченности сроков модернизации страны перед лицом грозящей войны. Анализ Р. Конквеста полностью опровергает эту концепцию неосталинистов: ведь если сельскохозяйственная разруха привела к тому, что не только нельзя было перекачивать средства из села в город, но, напротив, сельское хозяйство стало убыточным, значит, и промышленность тоже не могла не понести неизбежных при этом потерь. Если из общеэкономической сферы изымали тогда всех честных руководителей экономики, которые, как доказывает тот же Р. Конквест, великолепно понимали реальные возможности развития промышленности, если разрушали комплексный план индустриального развития, то стоит ли удивляться, что эпиграфом к этим главам Конквеста можно спокойно ставить фразу Солженицына из "Архипелага ГУЛАГа": "Будет же кто-нибудь скоро писать и *историю техники* этих лет!.. Оценит он вам все судороги вашей припадочной пятилетки в четыре года. Узнаем мы тогда, сколько народного богатства и сил погубило впустую. Узнаем, как все лучшие проекты были загублены, а исполнены худшие и худшим способом". Такая книга еще не написана, но краткие ее тезисы содержатся в "Кровавом посе-ве"...

(В этом месте статья, где говорится о потенциальной реальности "право-

троцкистского блока”, даже если организационно он, по-видимому, не существовал, мне, еврею и израильтянину, хочется отметить некий третьестепенный в книге и истории, но интересный лично мне (как писал Твардовский в “Теркине”: “что ж, а я — не человек?!”) сюжет с теми украинскими еврейскими деятелями культуры и политики, что поддерживали во второй половине 20-х — начале 30-х годов политику украинизации. Зачем Сталин, политик с поразительным практическим чутьем, дал указание ее проводить — этот вопрос еще ждет своего исследователя, как и то, почему он для такой цели выбрал именно Кагановича. Но как бы то ни было, Каганович не только выполнил заказ босса, но и сумел привлечь к этому делу значительные силы украинского еврейства. Сюжет оставлен у Р. Конквеста без продолжения, но вдруг, через несколько глав, в его описании разгрома украинской культуры и уничтожения самых, оказывается, опасных очагов вредительства возникает некий “троцкистско-националистический блок”. Достаточно немного копнуть источники, и обнаруживаешь, что троцкистами обозначали на Украине евреев, а националистами — украинцев, блоком же — их возникший реально союз по развитию местной культуры на украинском языке. В подвалах УкрГПУ и НКВД и на заснеженных полях Воркуты нашел бесследный конец этот сталинский социальный эксперимент, и только короткое замечание Р. Конквеста о реальной близости, вопреки укоренившимся мифам, правых и левых заставило меня поинтересоваться, что же это за такой “троцкистско-националистический блок” — и вдруг обнаружить неизвестную почти никому страницу истории моего народа.)

Главным отрицательным персонажем Р. Конквеста несомненно является Сталин, и тем выше следует оценить объективность автора: в его изображении Сталин — человек, который, как никто из его современников, умеет чувствовать, на что реально способна, чего в действительности хочет и что может осуществить его партия; он умеет чувствовать настроения руководимого им общества и с изумительным чутьем использовать их в своих интересах. Он повел за собой партийных ветеранов, типа Кирова и Калинина, он вдохновил молодых идеалистов типа Петра Григоренко или Льва Копелева, и если “политика есть искусство возможного”, то именно Сталин, в отличие от всех своих коллег, понимал и чувствовал, что возможно и нужно его партии делать. Он умел играть на ее идеалах и предрассудках, темпераменте и молодости. Он первым понял, что марксозна теория не соответствует реально возникшей в СССР исторической действительности, но он же первым понял, что отказ от нее означает политическое самоубийство партии, которого она вовсе не желала. Поэтому он отверг “перманентную революцию” Троцкого (истинную революцию!), потому что ничем, кроме неудачи, она и не могла завершиться, — и он же отверг прагматические оценки Бухарина, потому что если остаться прагматиками, тогда невольно и неизбежно возникает знаменитый вопрос: “Зачем мы убили царя и господина Рябушинского?” — ведь прагматично развивать страну могли и члены Учредительного собрания, для этого большевики вовсе не нужны. И. Сталин, во всяком случае конквестовский Сталин, изобретает ту “перманентную революцию”, которая привлекает к нему левых идеалистов — революцию, развивающуюся перманентно, но... только в одной стране, в Советской России. Перманентно изобретаются муляжи “врагов” — кула-

ки, подкулачники, украинские, прочие националисты, каждый год возникают все новые и новые враги народа и шпионы-вредители, на борьбу с которыми и мобилизуется революционная энергия масс. Троцкому и присниться не могла подобная "перманентность", обращенная на собственный народ! Здесь у меня снова невольно возникает параллель с нацистами, которые уничтожали евреев, уже изгнанных ими из науки, культуры, бизнеса, уже загнанных в гетто, уже лишенных голодом и террором политической воли — истребляли без всякой выгоды, напротив — с ужасным для себя ущербом: ведь истреблялись рабочие руки, занятые на военных предприятиях, на карательные функции отвлекались силы с фронта, крепла изоляция рейха в мире, подрывалась мораль граждан. Но инерция "перманентной революции" нацизма — вот что двигало Гитлером, Гиммлером и их подручными. Точно так же и Сталин вел свою партию на борьбу с перманентно возникавшими муляжами врага — с придуманным кулаком-эксплуататором, с мужиком-"итальянщиком", с украинскими лингвистами, с русскими писателями, еврейскими врачами и военнопленными всех национальностей: только, в отличие от Гитлера, он не стал рискованно осуществлять "перманентку" во всемирном масштабе, а обрушил ее на своих подданных — и потому вышел победителем из игры. А если ценой его победы оказались жизни, по Конквесту, двадцати миллионов соотечественников (это только до войны!). что ж, как пелось, "нам нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим". И здесь Р. Конквест примыкает ко взглядам Александра Зиновьева, который, ненавидя Сталина с юных лет, одновременно и бесстрашно признается: сила этого лидера состояла в том, что он какой-то гранью выражал дух революции, дух революционной партии, то есть, согласно этимологии этого слова, дух части своего народа.

Простой и лживой выглядела бы российская история последних семидесяти лет, если бы все кошмарные преступления, описанные в книге Конквеста, творило просто сборище подонков, возглавляемое величайшим негодяем истории. Нет, все было куда страшнее, потому что ни у какого обычного бандита не хватит ни воли для совершения подобных преступлений против человечества, ни исполнителей для них. Мне видится здесь важный феномен: Сталин действовал не сам по себе, он наиболее простым и убедительным способом выражал волю партии, а воля партии тоже не возникала на пустом месте, она являлась отражением каких-то глубинных тенденций, во всяком случае, у значительной части народа. И нельзя не согласиться с Виктором Астафьевым, одним из самых значительных сегодня писателей, который иронически отозвался о критике Сталина в процессе сегодняшней перестройки, назвав ее "чем-то вроде громоотвода": "А может быть, удастся самим чище выглядеть?"

Сила Р. Конквеста, мне кажется, состоит в том, что он показал: с точки зрения тех идей, тех ценностей, которые победили в конкурентной борьбе идей и ценностей в русском обществе 20-го века (в числе средств борьбы имелись, конечно, и сила оружия, и сила террора), Сталин являлся *наилучшим выразителем партийных идей*. Его победа была не случайна: он стал подлинным вождем партии, которую, правда, потом сам уничтожил и заменил другой, подлинным вождем которой тоже был. А партия, в свою очередь, выражала важные тенденции народной воли (именно об этом все

время пишет в эмиграции А. Зиновьев!). И критика Сталина как какого-то "извратителя ленинских идей" бесплодна, она действительно призвана стать "громоотводом", по слову В. Астафьева. Поэтому-то главной мишенью Р. Конквеста является именно *идеология* общества, позволившая ему стать ареной самых страшных, наряду с нацистскими, преступлений 20-го века, а вовсе не товарищ Сталин и его верные соратники.

. . .

Долг рецензента требует от меня сказать о том, что я считаю недостатками монографии Р. Конквеста.

Но сначала о критике, появившейся в советской печати. В третьем номере "Вопросов истории" за 1988 год помещена небольшая статья автора, упомянутого на страницах "Кровавого посева", известного советского историка крестьянства В. Данилова, где он в пух и прах разносит названные Р. Конквестом цифры жертв коллективизации и террора голодом.

Увы, нельзя придумать худшее унижение для сегодняшнего СССР, чем статья В. Данилова! Крупнейший, известнейший советский историк, специалист по данной проблеме, не может противопоставить данным Р. Конквеста *ничего*, кроме других подсчетов, сделанных опять-таки не им, а другими *иностранными* специалистами, учеными из школы Э. Г. Карра (т. н. "объективистами"). На глазах у советского читателя иностранцы спорят о важнейших для него проблемах (В. Данилов сам упомянул, что его десятки раз спрашивали на лекциях "о десяти миллионах погибших в начале 30-х годов"), а самый крупный русский исследователь по данной теме всего-то и может, что цитировать иностранцев и присоединяться к одной из спорящих сторон. Поневоле вспомнишь горькие слова все того же В. Астафьева: "Дали у нас возможность выступить зарубежным общественным деятелям, зарубежным философам. И они черным по белому писали: "Мы знаем, а вы не знаете". И это действительно так".

Кто прав, а кто ошибается в споре демографов Запада, мне, неспециалисту, судить трудно. На первый взгляд, аргументы противников Конквеста поражают непониманием, какой-то поразительной глухотой к реалиям советской жизни. Например, они отрицают — по В. Данилову — особые условия террора голодом на Украине и Кубани тем, что говорят: голод ведь царил на территории, где проживало 77 миллионов человек, а на Украине жило всего 30, значит, он не носил специфически антиукраинского характера. Разумеется, голодали все или почти все. Недавно бывший первый секретарь ЦК Белоруссии Мазуров в книге воспоминаний "Незабываемое" сообщил, что в 1932 — 1933 годах голодала вся Белоруссия. Я очень хорошо помню, как отец моего друга, старый ленинградец, вспоминая годы первой пятилетки, вдруг сказал: "Как мы голодали, Боже, как мы тогда голодали!" Или прочитайте книгу В. Гусарова "Мой папа убил Михоэлса", где сын видного партийного функционера сообщает о внезапно свалившемся на их семью богатстве, после того как его папа стал первым секретарем Свердловского обкома ВКП (б): отныне они в столовой имели возможность выбирать в меню один набор блюд из целых трех возможных!

Но от голода до *террора* голодом — дистанция громадная! *Убивали голо-*

дом все-таки не всех, а только во вполне определенных регионах. И отрицать особое положение Украины (или, скажем, республики немцев Поволжья) можно примерно с тем же основанием, как отрицать геноцид европейского еврейства на том основании, что среди уничтоженных Гитлером евреи не составляли даже половины (примерно 6 миллионов убитых из общего числа в 14 миллионов). То же ведь логика...

Разумеется, всегда возможны разногласия в подсчетах жертв террора. Вот типичный пример. Р. Конквест зачисляет в жертвы террора 3,5 миллиона крестьян, высланных в ходе коллективизации, и позже, уже в ссылках, заключенных в лагеря и не вышедших оттуда. А его противники спокойно могут отрицать эти миллионы: ведь тех людей в лагерях никто умышленно не убивал, они сами поумирали, причем в разные и даже часто более позднее, чем 1939 год, даты: некоторые, наверно, дотянули аж первую десятку и получили вторую... Это тот же вопрос, что возникает при подсчете гитлеровских жертв — например, можно ли считать Анну Франк жертвой гитлеровцев: ее ведь не загнали в газовую камеру, она умерла от тифа, то есть от естественной причины... Не имея права вмешиваться в спор специалистов-демографов, я всецело, как рядовой читатель, присоединяюсь к методике Конквеста, а ведь разница при подсчетах, если учесть эти жертвы, достигнет нескольких миллионов человек!

Разумеется, в подсчетах Конквеста имеется уязвимое место: он вынужден опираться на официальные советские данные и на официальные цифры в официальных речах советских лидеров — а нам известно, как они лгут... Но ведь и его оппоненты опираются на те же советские данные: других просто нет. Очень смешно выглядит В. Данилов, когда одобряет оппонентов Конквеста за то, что они якобы используют данные советских ученых, а потом, в финале, вдруг признает, что "сложность проблемы состоит в том, что советские специалисты... над проблемами демографического развития СССР в 30-е — 40-е годы не работали и потому не могут дать сколько-нибудь ясных и полных ответов на возникающие вопросы"*.

Так чего вообще стоят ссылки на ученых, которые этими проблемами не занимались?

Само собой, будучи родом из СССР, я понимаю мотивы В. Данилова. Ему нужно отмежеваться от Р. Конквеста, который ссылается на его собственные, даниловские, подсчеты потерь — еще более страшные, чем у автора "Кровавого посева". Вот он и утверждает, что Конквест недооценил общее число "неродившихся", зачислив их в "жертвы", недоучел, мол, что прирост населения в 20-х годах носил компенсаторный характер после потерь в гражданскую войну, и механически перенес этот темп прироста на 30-е годы. Ну, а прирост после потерь голода и до самого 1939 года разве не мог носить такой же компенсаторный характер, раз уж такая компенсация есть установленный демографами закон? Тем более, что он был подкреплён — экономически отменой карточной системы, а юридически — запретом на аборты и резким сокращением противозачаточных средств? Этот "компенсаторный прирост" как бы подсказал Данилову повод "дать отпор" зарубежному клеветнику. А с другой стороны — вот она появилась, желанная и долгожданная возможность — под видом полемики с зарубежным автором

*Ж-л "Вопросы истории", № 3. 1988, с. 122

публично назвать и число потерь из его книги, и число у тех, кто ему возражает: вовсе до войны не 22 миллиона человек у нас погибло, как считает Конквест и его союзники, а всего-навсего пять миллионов с хвостиком. И от голода погибло вовсе не семь миллионов человек, а не более трех! Так-то-с, господа клеветники! Нужно жить в России, лишенной памяти, где студенты (я сам читал их записки) робко спрашивали лекторов: "Неужели правда, что в ходе коллективизации погибли сотни тысяч людей?" — чтобы понять, какое впечатление на них произведут даже скромные цифры в пять *миллионов*, признаваемые Даниловым и его западными союзниками.

И все-таки цена, которую за такую публикацию пришлось В. Данилову заплатить, непомерно, недостойно велика: в этом я уверен. Более всего другого Россия нуждается сегодня в "зубрах", в тех несгибаемо честных людях, наподобие А. Солженицына, А. Сахарова, Д. Лихачева и многих, к счастью, других, которые способны сделать опорными точками в той системе нравственных координат, вокруг которой могло бы вновь объединиться и восстановиться общество. В. Данилов, в самые трудные годы говоривший о коллективизации хотя бы часть, но необычайно важную часть правды, В. Данилов, на книгах которого воспитывались поколения советских историков, мог бы и должен бы остаться одним из таких опорных столпов общества. Увы... И когда читаешь это позорное, недостойное его таланта отмежевание от Конквеста, отмежевание, лживость и алогичность которого бросается в глаза с первого взгляда, понимаешь, как глубоки следы сталинизма в сегодняшней России и сколько еще предстоит пройти, чтобы одолеть в ней эту заразу.

. . .

Настоящие недостатки монографии Р. Конквеста (помимо тех мелочей, о которых я упомянул выше) проистекают, по моему мнению, из его личной высокой порядочности.

Когда высокопорядочный человек сталкивается с такой бездной горя и страданий, какие увидел Р. Конквест, изучая катастрофу российского крестьянства и украинского (и других упомянутых им в книге) народа, ему не хочется, по-человечески невозможным кажется заговорить о вине — жертв. И он молчит, хотя, думается, многое знает.

Например, Р. Конквест принимает как данность правоту аграрных требований российских крестьян, поэтому он, хоть и уклончиво, одобряет захват ими помещичьих имений в годы гражданской войны. Но совершенно ясно, что именно в те годы были заложены духовный и юридический фундаменты их собственной катастрофы.

С экономической точки зрения, крупные помещицы и "кулацкие" хозяйства поставляли на рынок товарный хлеб. Уничтожив их, масса крестьянства сама должна была поставлять этот товарный хлеб городу, то есть сама превратила себя в объект реквизиций.

С юридической же точки зрения, захватив чужую собственность без выкупа и без юридически законного оформления национализации (то есть революционным путем, без закона Учредительного собрания) российское крестьян-

ство ратифицировало на будущее конфискацию своей собственности. Лозунг "Грабь награбленное!", который оно с таким упоением подхватило вслед за Лениным, в силу исторического возмездия десять лет спустя обратился против него самого.

А с духовной точки зрения крестьяне понимали, что если они хотят владеть чужой собственностью и не выглядеть в своих глазах грабителями, эта собственность должна стать "общегосударственной", "общей", то есть как бы народной. Большевики победили белых потому (и это доказывает Конквест), что они посягали *только* на крестьянский хлеб, но не затрагивали основы нового порядка в деревнях, установленные мужиками. Как только же большевики согласились отменить реквизиции, настало вообще "хорошее время". Это "хорошее время" было по существу временем крестьянской контрреволюции, направленной против тех поистине революционных и необходимых для развития деревни преобразований, что были задуманы и начаты Столыпиным. Конквест справедливо отметил, что в принципе Ленин был согласен со Столыпиным, с самого начала не верил в будущее "Декрета о земле" и лишь хотел дать крестьянам время на своем опыте убедиться, что этот, их, путь решения аграрного вопроса, путь общинного земледелия — ошибочен. Может быть, этот величайший тактик революции был по-своему прав? Может, с великим трудом и натугой восстановив сельское хозяйство по собственному разумению, крестьяне почувствовали — их путь не ведет никуда? Но вернуться назад, к Столыпину, после грабежей гражданской войны оказалось немыслимо, и тут-то их подстерегали Сталин и его команда, чтобы перевести на другой, колхозный путь, который якобы сулил величайшие блага всем, и деревне тоже... Ведь если цитировать Шолохова, то надо цитировать все: его Давыдов не просто навязал казакам колхоз, но сумел-таки *уговорить* многих из них! А нынешний историк Ап. Кузьмин (из группы "российских патриотов") признает, что, может быть, общинный стиль жизни способствовал тому, что немалая часть мужиков приняла колхозный уклад...

Когда другой историк и писатель, Дмитрий Балашов, сегодня отыскивает причины, как он выразился, "сельскохозяйственной бодяги", он тоже видит эти причины в существовании старинной общины. Но верный традиционной российской идеологической схеме, он сначала находит (у С. Веселовского), что в Московской Руси велось хуторное хозяйство, потом у Маслова узнает, что общину ввели лишь при Петре Первом, для облегчения сбора подушной подати, — и подводит нас к выводу, что, мол, это не народ, а опять-таки власть, государство виноваты — навязали народу общинное существование, тормозившее развитие села. Может быть, и так, но в 1918 — 1920 годах не власть, а именно масса крестьянства разрушила и уничтожила частную собственность на селе, помещичью и хуторскую, и восстановила общину — тем самым подготовив фундамент собственной гибели. И то социальное успокоение большинства народа, отмеченное Конквестом, которое наступило после насильственной экспроприации крупной земельной помещичьей собственности, как раз и несло в себе зародыши будущей катастрофы всех российских земледельцев.

Легко объяснить все беды России 20-го века марксизмом-ленинизмом. Нет сомнения, что в самой значительной степени эти трагедии были санк-

ционированы, а иногда и вызваны этой идеологией. Но будем справедливы: из бесчисленного множества марксовых положений в десятках томов каждый мог набрать все, что его душе хотелось. Однако в России почему-то не выбрали марксово положение об онтологической враждебности *любой* цензуры развитию общества (“Дебаты о свободе печати”); или упомянутое Конквестом положение Энгельса о недопустимости для пролетариата насильственной социализации крестьян (что имеет прямое отношение к теме этой книги); или их совместное утверждение о невозможности победы социализма, то есть безгосударственного (или полугосударственного) строя, в одной стране! Сапог стаптывается по ноге! Я вовсе не хочу злопыхательски обвинить в чем-то русский народ: почти все народы этой страны, включая мой собственный (и в очень активной степени) участвовали в выработке той системы ценностей, согласно которой “воля народа всегда права” (а народ, например, требовал отмены частной собственности на землю), что господствующие классы всегда виновны, что государство должно быть сильным и навязывать свою верную, истинную волю другим народам и т. п. Марксизм лишь лег на поверхность этой системы и санкционировал выводы, которые без него, возможно, и не были бы сделаны (а может, и были бы: обошелся же в Иране Хомейни без марксизма — хватило ислама). Важнейшая задача сегодняшних российских мыслителей, как представляется издалека, — пересмотреть многие исходные ценности не только марксосова, но и традиционных российских мировоззрений, приведших народ к катастрофе. Потому что нет, не существует отрицательных черт характера у того или иного народа, а существует лишь дурное использование его особенностей, дурное направление, которого следует избежать, отыскав для народа новые и подходящие ему пути. Такой поиск уже начался в сегодняшней России, и в этом смысле в ней есть уже мыслители, более глубоко захватывающие философскую глубину проблемы, чем у Р. Конквеста: я имею в виду прежде всего И. Клямкина, автора замечательной статьи “Какая дорога ведет к Храму?” (ж-л “Новый мир”, № 11, за 1987 г.), — статьи, пока еще не понятой большинством современников, но положившей начало важнейшей дискуссии о прошлом и будущем российских народов.

Для того, чтобы здраво судить об этих важнейших национальных проблемах, российским мыслителям требуется основа — честная историческая фактология. “Историки, дайте нам статистику, дайте цифры, чтобы разогнать туман, который существует”, — призвал на всесоюзном совещании историков и литераторов писатель Дмитрий Балашов*. Что ж, вот перед вами, Дмитрий, книга, в которой мужественный и нравственный исследователь собрал доступные в свободном мире цифры и факты, которых вы просите! Это все, что мы здесь можем сделать. Остальное зависит от вас.

* Ж-л “Вопросы истории”, № 6. 1988, с. 52

ЗАМЕТКИ ЧИТАТЕЛЯ

(P. Kennedy. The Rise and Fall of Great Powers. Hyman. London, Sidney, Washington, 1900.)

Книга Пола Кеннеди стала заметным явлением культурно-политической жизни Америки. Это бестселлер. Это яркая иллюстрация нового типа книжной продукции, который постепенно завоевывает книжный рынок. В журнале для чтения ее интересно обсуждать именно в этом плане. Однако невозможно обсуждать книгу в каком бы то ни было плане, не представив сперва ее содержание.

Если судить по названию, то перед нами вариация на тему о закате цивилизаций. Отчасти это действительно так, поскольку речь в книге Кеннеди идет об исторических циклах. Но во всех других отношениях Пол Кеннеди порывает с этой традицией. Он даже не ссылается на нее: как будто ее не существует.

Сюжет книги Кеннеди не судьбы культур — предмет вполне неуловимый для научной трактовки и потому, вероятно, такой популярный в интеллигентской среде, где любят говорить о туманных вещах, таких, как "нации", например. Его сюжет — это судьба реальных геополитических единиц, взобравшихся на вершины геополитической иерархии. Пол Кеннеди собрал в своей книге материал, подтверждающий простую теорему: великие державы в конце концов тратят на вооружения или на контроль за пределами своих границ такую часть своего национального продукта, что это подрывает их экономику, в результате чего они сползают вниз.

Процесс этот выглядит неотвратимым. Все великие державы прошлого попадают в эту ловушку, так что их упадок — это не результат изменившихся обстоятельств, а прямое следствие их величия. Как говорил писатель О'Генри, "трест — сам свое самое слабое место".

Пол Кеннеди рассматривает под этим углом зрения европейскую историю XVI—XX веков и показывает, как все великие державы или претенденты на этот "титул" попадали в состояние "имперского перенапряжения". Анализируя состояние нынешних двух сверхдержав, он настаивает, что и Советский Союз, и Соединенные Штаты вошли в фазу "имперской перенапряженности" и их господству в мире приходит конец: мир движется от двухполярной системы международной безопасности (или опасности) к многополярной.

Было бы наивно утверждать, что автор совершил сенсационное открытие. Мы все всегда подозревали, если не были уверены, что дело примерно так и обстоит.

С другой стороны, было бы злостным политическим снобизмом утверждение, что автор говорит чепуху. Хотя мы все знаем, что такая упрощенная трактовка в духе "экономического детерминизма", конечно, нуждается в дополнениях. Знает об этом не хуже нас и Пол Кеннеди.

Но я, как рядовой читатель, не собираюсь обсуждать идеи книги Пола Кеннеди; для их серьезного обсуждения понадобилось бы писать длинную

статью. Я пишу здесь не о доктринах и диагнозах, предложенных в книге, а о самой книге.

В книге 800 страниц большого формата в массивной твердой обложке. 250 из них — это сноски и примечания, в которых упоминаются, похоже, несколько тысяч работ — я не считал, но это так выглядит.

В ней нет никаких сенсационных исторических материалов; все, что мы обнаруживаем в книге, мы можем найти в нескольких национальных энциклопедиях плюс два-три десятка сводных исторических обзоров. Я попросту не узнал из нее вообще ничего нового.

Эта книга — обширная компиляция, насаженная на стержень одной и довольно-таки простой идеи.

Если добавить к этому, что книга стала бестселлером, то у любителей “духовности”, конечно, возникает побуждение поморщиться и отмахнуться: еще один продукт массовой культуры.

Что правда, то правда — это не Шпенглер и не Аверинцев. Но на мой взгляд это нечто гораздо более осмысленное и полезное: это научно-популярная литература.

Это не эссеистский коллаж мировой истории, склеенный “оригинальным” настроением автора, ориентированного на поиски “общего смысла”. Это обзор, организованный вокруг одной частной зависимости — зависимости между экономическим потенциалом державы и ее военными возможностями. Это тематическая работа, и в центре ее не автор, а тема.

Почему книга стала в Америке бестселлером? Потому что ее тема актуальна или почему-либо еще?

Еще совсем недавно книга на подобную тему была бы обречена в Америке на полный провал. Специалистам она не нужна — они и так все про это знают. Что же касается простых людей, то им и в голову не могло бы прийти, что геополитическая история Европы XVI столетия может иметь к ним какое-то отношение. Средний и классический американец — изоляционист. Его предки создали Америку, чтобы забыть про Старый свет; они не хотели ввязываться в первую мировую войну, не хотели ввязываться и во вторую. Они оказались во Вьетнаме, унесенные туда вихрем обстоятельств, а когда поняли, что произошло, то думали уже только об одном — назад, в деревню.

Американский изоляционизм более или менее избавил Америку от чрезмерных расходов на администрирование заморских территорий — колоний у США практически не было. Но это вовсе не значит, что она была пассивна за рубежом. В новейшее время ее экономическая и военно-договорная экспансия охватила весь мир.

Изоляционизм американской “нации” (если таковая существует) не предотвратил ее превращения в сверхдержаву. Но из-за него американцы не заметили, что с ними произошло. Даже сразу после Вьетнама.

Успех книги Пола Кеннеди, кажется, свидетельствует о том, что теперь наконец-то Америка начинает понимать свое положение в мире.

Раз тема, предложенная книгой Пола Кеннеди, нашла у американцев живой отклик, значит они “дозрели” до интересов, соответствующих мировой политике, которую проводят их правительство и финансовый капитал.

Но это не все. Пол Кеннеди не просто угадал удобный момент, чтобы

выйти на книжный рынок со своим товаром, не просто почувствовал изменившиеся настроения публики.

Он нашел книжную форму, иначе говоря — упаковку для своего товара, которая привлекла публику, и изготовил товар таким образом, что его использование не вызвало никаких особых трудностей.

Как я уже говорил, книга замечательна тем, что исключительно проста и удобоварима. Ее содержание легко контролируется читателем. Книга развивает только один тезис, оставляя читателю возможность дополнить этот тезис другими, если они приходят ему в голову. Пол Кеннеди задает своей книгой тему для дальнейшего развития, а не тему для сопереживания. Это не мифология, не поэзия, это, как уже сказано, научно-популярная литература.

Эта книга — не только ответ на эмоциональные ожидания публики. Она пробуждает сознание, предлагает исходный пункт для размышлений.

Она также просвещает. Тут следует обратить внимание на две особенности, отличающие эту книгу от привычных образцов научно-популярной литературы. Я имею в виду ее объем и нагруженность библиографическим аппаратом. Было бы в высшей степени соблазнительно написать что-нибудь вроде: "Книга так хороша, что даже объем и огромное количество примечаний не отпугивают читателя". Но на самом деле все обстоит прямо наоборот: объем и аппарат служат приманкой.

Во-первых, они обеспечивают книге авторитетность. Потребителю такой книги должно быть ясно, что у автора есть время и деньги для производства такого внушительного продукта. Значит, автор — профессионал. Это означает, что публику не надуют. У книги сертификат надежности.

Во-вторых, читатель, занятый в основном другими делами, предъявляет теперь спрос на обширные общие обзоры. Книга Пола Кеннеди представляет собой "дайджест" исторической энциклопедии, сюжетную вариацию на тему "мировой истории". Она поэтому читается не только ради ее основной идеи, но также ради содержащегося в ней "фактического материала" самого по себе. Это попросту замаскированная под авторский труд хрестоматия по истории.

Мне пришлось беседовать об этой книге с несколькими другими ее читателями. Один из них сказал: ирония судьбы заключается в том, что эту книгу читают в Штатах, а должны читать в Союзе. Америка в полном порядке. Приятно, конечно, что она начинает беспокоиться заранее. Но на самом деле беспокоиться надо Советскому Союзу; вот великая держава, приходящая в упадок в результате своего подъема.

Я опять-таки не собираюсь обсуждать вопрос, кто в упадке, а кто нет. Здесь есть очевидные и не совсем очевидные вещи.

Но в любом случае советским читателям, конечно, следовало бы прочесть книгу Пола Кеннеди или что-то аналогичное.

Отвлечемся от цензурного фактора формирования советского книжного рынка. Нынешнее положение дел в Советском Союзе позволяет от этого отвлечься. Соответствует ли культурная атмосфера в Советском Союзе подобным работам? Ждет ли читатель подобных книг? И может ли профессиональная среда удовлетворить эти ожидания, если они есть?

Я оставляю эти вопросы без ответа.

ПО ПОВОДУ...

очерка М. Вартбурга "Миры в столкновениях, века в хаосе" ("22", №59-62)

Однажды Нобелевский лауреат академик И. Павлов начал свою лекцию для аспирантов института физиологии следующими словами:

— Иду я давеча мимо Казанского собора и, естественно, перекрестился. Подошел ко мне командир с тремя кубиками на петлицах, снисходительно похлопал меня по плечу и с сожалением произнес: "Темнота, старик, темнота". Итак, начинаем курс высшей нервной деятельности.

Я не знаком с г-ном М. Вартбургом. Я даже не знаю носителя этого псевдонима. Но я имею некоторое представление о состоянии современной науки, о ее самых блестящих представителях. Среди них нет ни единого, кто мог бы снисходительно похлопать по плечу одного из самых ярких людей XX века, доктора Иммануила Великовского.

Нас поражает личность Леонардо да Винчи. Тому причина не Монна Лиза в Лувре, не совершенная композиция "Тайной вечери" в трапезной миланского монастыря. Нас поражает многообразие гения Леонардо, запас знаний, которые вмещал мозг этого необычного человека.

Но запас знаний времен итальянского ренессанса не идет ни в какое сравнение с запасом знаний середины XX века.

Если бы даже Иммануил Великовский не был автором революционной гипотезы, требующей пересмотра ортодоксальных представлений, он, подобно Леонардо да Винчи, должен был поразить современников и потомков огромнейшим запасом знаний в таких областях, как астрономия, геология, биология, история (от древней истории Китая до истории Центральной Америки), палеонтология, археология, мифология, теология, классическая литература, психология. Сотни ученых действительно были поражены запасом знаний этого доктора медицины. Друзьями Иммануила Великовского стали такие выдающиеся личности как гуманитарий проф. Г. Кален, крупнейший историк древности и знаток Танаха профессор Гарвардского университета Р. Пфейфер, директор Паламарской и Вильсоновской обсерватории проф. Адамс, А. Эйнштейн, заведующий кафедрой геологии Принстонского университета, один из руководителей американского космического проекта проф. Г. Гесс, крупнейший археолог современности французский профессор Шаефер и многие другие. Некоторые из них, восхищаясь Великовским как личностью, спорили с ним, не соглашались с теми или иными положениями его гипотезы, но не похлопывали его снисходительно по плечу. Они понимали: его плечи так высоки, что до них нелегко дотянуться.

Правда, один из первых критиков Великовского, профессор астрономии Мичиганского университета Мак Лоулин, даже не прочитав критикуемой книги, заявил об ограниченности возможностей ученых в настоящее время. Они едва в состоянии исправить ошибки в своей узкой области. Ни один человек, писал он, не может быть экспертом в разных областях. "И вдруг Великовский заявляет, что он в состоянии обсуждать основные принципы различных наук! Это определенно мания величия". По этому поводу проф. Лин

Е. Рауз через 25 лет напишет: "Правда ли, что "ни один человек сегодня не может быть экспертом в различных областях"? Это зависит от того, что подразумевать под словом "эксперт". Если это означает сохранять свои позиции в дебатах со специалистами в различных областях в течение более четверти столетия, то Великовский проявил себя исключением из правила Мак Лоулина".

Но вот спустя еще 23 года командир с тремя кубиками... виноват, г-н М. Вартбург все-таки снисходительно похлопывает по плечу Великовского (журнал "22", № № 59-62).

Забавная, вернее, печальная закономерность прослеживается, когда читаешь критиков Великовского. Все они либо вовсе не читали критикуемых ими трудов, либо читали весьма небрежно, невнимательно, даже не стараясь понять прочитанного.

Нё очень отличается от своих предшественников г-н М. Вартбург.

Любой, знакомый с рукописью моей книги, безошибочно определит, что данные о биографии исключительной личности Великовского г-н Вартбург мог почерпнуть т о л ь к о (подчеркиваю — только потому, что этих данных нет ни в одном другом источнике) из этой рукописи. Но как!

В течение двух лет я тщательно по крупницам собирал данные, перерыл горы литературы, запрашивал университеты, интервьюировал людей, знавших Великовского, смотрел и слушал его лекции и интервью, записанные на пленку, познакомился и подружился с его дочерью Шуламит и ее мужем Авраамом Коганом, профессором аэродинамики Хайфского техниона, чтобы не допустить ни единой ошибки в датах и фактах жизни великого ученого. Над биографией Великовского я трудился с такой же тщательностью и добросовестностью, как над любой научной работой в моей специальности.

И вдруг в "Несуществующей биографической справке" г-на М. Вартбурга, списанной с моей рукописи, я узнаю, что в начале века "отец Шимон Великовский приехал в Москву, где вскоре выбился в купцы первой гильдии и стал одним из ведущих русских сионистов". А между тем, в рукописи, из которой списывал это г-н Вартбург, очень подробно рассказано, каким образом приехал в Москву купец первой гильдии Шимон Великовский, бывший делегатом Второго сионистского конгресса, который, как известно, состоялся еще до "начала века". "Брошюру, призывающую русских евреев вернуться на историческую родину", Великовский написал не "на последнем курсе Московского университета", а в конце 1916 года, в 21-летнем возрасте. И не была его семья в Палестине, когда он завершил образование. Именно Великовский организовал выезд родителей в Палестину, уже год работая врачом в Москве. И в Берлине он издавал научный журнал не в течение двух лет, а менее года. И не был он "практикующим врачом-психоаналитиком в Иерусалиме", потому что в течение двух лет был общим врачом в Иерусалиме и еще почти пять лет — в Хайфе. Только в 1929 году Великовский начал заниматься психиатрией, которой посвятил 8 лет жизни в Тель-Авиве. Наконец, само название "Несуществующая биографическая справка". Где несуществующая? В журнале "22"? В "Большой Советской Энциклопедии"? В Еврейской энциклопедии, изданной в Израиле? Да, там действительно нет такой справки. Но биографическая справка о Великов-

ском существует в Британской Энциклопедии. Все это подробнейшим образом описано в рукописи.

Из 82 страниц произведения г-на Вартбурга я проанализировал только одну страницу. Она не исключение. Это яркая иллюстрация метода работы критиков Великовского. Небрежность и недобросовестность. Старание блеснуть стилем вместо вдумчивой работы над критикуемым материалом. И так во всем.

Однажды Эйнштейн посоветовал Великовскому накинуть на недоброжелателей мантию еврейского сострадания. Я попытаюсь набросить такую мантию на г-на Вартбурга, попытаюсь разобраться в причинно-следственной нити его мышления, результатом чего явилась недобросовестная работа. Вероятно, психоаналитик смог бы это сделать лучше меня.

Апологеты нордического начала немецкой нации чувствуют себя весьма неуютно в христианстве, родившемся в недрах иудейской религии. Нечто подобное наблюдается у лапотных русофатов, считающих, что православие, христианство и прочие жидовские штучки первопричина всех русских бед.

Я не знаю биографий немецких критиков Библии. У меня нет данных, позволяющих обвинить их в слепом антисемитизме. В своих работах они руководствовались ортодоксальной хронологией, привязанной к египетской истории. Только прочитав "Века в хаосе" Великовского, можно отчетливо увидеть, где, как и почему они ошибались (или хотели ошибиться?). Но впервые антиклерикальная (если можно так выразиться) критика гипотезы Великовского прозвучала именно в Германии. Историка науки будет нелегко пройти мимо важной детали в биографии Великовского. Очень долго он не давал согласия на издание немецкого перевода "Миров в столкновениях" в Германии, считая, что все граждане этой страны несут ответственность за гибель шести миллионов евреев. Немецкая антиклерикальная критика была подхвачена в США. Но чем объяснить антиклерикальную позицию г-на Вартбурга? Советским воспитанием?

Его раздражает то, что Великовский верит в достоверность Библии, то, что Великовский по-новому прочитал ее. Но, как и другие авторы, критикующие Великовского с антиклерикальных позиций, г-н Вартбург ошибается. Великовский построил свою гипотезу на основании записей людей и природы — истории, археологии, палеонтологии, геологии. А записями людей была не только Библия.

Я не собираюсь полемизировать с г-ном Вартбургом. Все, что следовало сказать по поводу его произведения, я уже написал в рукописи задолго до того, как его работа была задумана. Если моя книга когда-нибудь появится на прилавках, читатель сможет убедиться в этом и читателю судить, кто прав.

Но вместе с читателями я могу задать вопрос: каким образом моя рукопись попала к г-ну Вартбургу? Этот вопрос я адресую редактору журнала "22", г-ну Р. Нудельману.

Однажды он позвонил мне и попросил разрешения взять рукопись в издательстве, в котором предполагалось издание книги. Я разрешил. Спустя несколько месяцев г-н Р. Нудельман позвонил мне и сказал, что цельность материала не дает возможности опубликовать отдельные главы, а вся рукопись слишком объемиста для журнала. Не разрешу ли я опубликовать дай-

джест? Я разрешил при условии, что материал будет показан мне перед публикацией. Г-н Р. Нудельман пообещал, сказав, что это само собой разумеется. Обратите внимание — не я обратился в журнал “22” и предложил свою книгу, а редактор журнала обратился ко мне. Прошло около года, и в журнале “22” начало появляться произведение г-на М. Вартбурга, которое никто не показал мне перед опубликованием и даже не предупредил о его существовании. Самое деликатное определение такого поступка — непорядочность.

У меня нет оснований предполагать, что г-н Р. Нудельман и в других случаях поступает непорядочно. Но есть удивительная закономерность в том (и это проходит красной нитью сквозь всю мою книгу), что недостаточно компетентные или недостаточно добросовестные журналисты ведут себя непорядочно, когда они прикасаются к имени выдающегося ученого и исключительной личности Иммануила Великовского.

И. Деген (Тель-Авив)

Михаил Вартбург отвечает: 1) Г-н Деген обвиняет меня в использовании его рукописи, т. е. по существу в плагиате. Он сообщает, что затратил годы для изучения биографии Великовского, рассматривает “только одну” (по его словам) страницу моего очерка (пародийную “Несуществующую энциклопедическую справку”), обнаруживает несовпадения со своими данными и на этом (!?) основании строит свое обвинение. Странная логика! До сих пор различия текстов считались, скорее, признаком их независимости. Или, быть может, г-н Деген полагает, что я только из его рукописи мог узнать приведенные в “Справке” даты жизни и смерти Великовского и другие биографические данные? Тогда должен его разочаровать: то немногое, что сказано в моем очерке о жизни Великовского, каждый желающий может почерпнуть из соответствующей литературы на английском и других языках.

“Доказав” таким образом, что я списал у него биографию Великовского, г-н Деген предусмотрительно избегает сравнить остальные 81 (из 82) страницу моего очерка со своей рукописью: читателю, мол, и так должно быть ясно — работа “недобросовестная”. Такой прием очернения: бросить на человека тень подозрения и скромно отойти в сторонку — давно известен из анекдота: “Рабинович пальто украл. — Не он, а у него! — Какая разница, что-то там нехорошее было...” Я не стану доказывать, что это не я украл пальто. Я предоставляю это г-ну Дегену. Пусть представит на суд читателей те фразы, абзацы, мысли, стилистические обороты и так далее, которые, как он считает, я “заимствовал” из его рукописи. До тех пор, пока он этого не сделает, я буду вправе утверждать, что, не видя иной возможности излить свое негоддование, он прибег к инсинуациям и клевете.

2) Г-н Деген обвиняет меня в неуважении к Великоскому. Не скрою, мне чуждо то безрассудное преклонение перед нашим общим героем, которое, судя по его письму, испытывает г-н Деген. Для меня Великовский не столько “современный Леонардо”, сколько эрудированный дилетант в тех двух главных областях знания, перевернуть которые он претендовал — астрофизике и истории. Видимо, такое отношение к Великоскому вызывает праведный гнев у г-на Дегена. Он яростно, скучно и пространно защищает Великовского. Он только опять почему-то не приводит ни одного

факта, подтверждающего его правоту. Опять тот же путь голословных утверждений и упреков, который так характерен для пылких адептов учения Великового вообще и г-на Дегена в частности.

3) Г-н Деген обвиняет меня в раздражении по поводу попыток Великового доказать достоверность библии. Увы, я вынужден и здесь его разочаровать: Великовский вызывает у меня не раздражение, а, скорее, определенное уважение. Его попытки были поистине титаническими, — если судить только по степени вложенного в них исследовательского (хотя и дилетантского) труда, изобретательности мысли и широты охвата. Если б они еще были верны, Великового действительно можно было бы сравнивать с Леонардо. Не удивительно, что многих, в том числе и г-на Дегена, этот размах эрудиции попросту гипнотизирует. Но, к сожалению, в науке гипотезу, в конечном счете, судят не по степени “безумности”, а по ее соответствию истине. Она должна непротиворечиво встраиваться в существующую совокупность всех наших знаний или (как в случае Эйнштейна, например) так же непротиворечиво “встраивать” их в новую, столь же связную картину мира. Гипотезы Великового ни одному из этих условий не удовлетворяют. Поэтому Великового и приходится считать не новым Эйнштейном, а новой, скажем, Блаватской. Но обо всем этом я достаточно подробно писал в своем очерке.

Разъяснение редактора: Я с большим огорчением прочел письмо проф. И. Дегена. Он обвиняет меня в непорядочности, намекая, что я передал его рукопись М. Вартбургу, а самого Вартбурга — в недобросовестности, намекая, что тот эту рукопись использовал. Кому-кому, а проф. Дегену, знающему — в отличие от читателей — свою рукопись, лучше всех других известно, что очерк Вартбурга не имеет с ней ничего общего ни по замыслу, ни по содержанию, ни по стилю, ни по авторской позиции, то есть по всем тем критериям, которые определяют оригинальность литературного текста. И поскольку я, тоже читавший рукопись, знаю, что он не может не видеть полное отсутствие плагиата со стороны М. Вартбурга, я не могу понять, зачем ему понадобилось убеждать читателей в этой заведомой неправде. Я могу это объяснить только крайней степенью обиды за то, как обошлись с ним и его рукописью в нашем журнале, и по этому поводу хотел бы дать небольшое разъяснение.

Мне давно хотелось приобщить читателей к увлекательным идеям И. Великового, тем более, что в их исторической части они представляют для нас дополнительный — чисто еврейский — интерес. Но при этом мне хотелось опубликовать объективный рассказ о гипотезах Великового, ставящий их в соответствующий научный и историко-культурный контекст, без которого их нельзя должным образом оценить и понять. Я полагал, что нашел нужный мне материал, когда узнал о существовании рукописи проф. Дегена. К сожалению, ознакомившись с ней, я увидел, что она не соответствует нашим целям. Она слишком апологетична: Великовский в ней только и во всем прав, все же его оппоненты неправы, невежественны, нечестны, недобросовестны, непорядочны и так далее. Она также чисто биографична: почти все ее 400 страниц посвящены детальному изложению событий жизни Великового и его борьбы с якобы окружавшим его “заговором ученых”. Поэтому я вынужден был отказаться как от мысли опубликовать хотя бы главы из этой рукописи, так и от попытки дать ее дайджест, что и заставило меня заказать работу о Великовом другому автору.

К сожалению, член редколлегии, который вел переговоры с проф. Дегеном и которого я просил своевременно уведомить автора обо всем этом, вернуть ему рукопись и ознакомить с очерком М. Вартбурга, пренебрег этой просьбой, — что, конечно, не снимает вины с меня, как редактора журнала. Обида проф. Дегена естественна и понятна; поведение журнала вряд ли можно считать образцовым, хотя оно не было продиктовано никакими дурными намерениями и потому никак не может быть квалифицировано как "непорядочное": мы не только не скрывали от читателя факт существования рукописи проф. Дегена, но напротив — отметили (о чем он почему-то не упоминает в своем письме) его приоритет и заслугу в написании первой на русском языке биографии Великовского (во врезке в 59-м номере "22", предварявшей всю публикацию М. Вартбурга).

Этим разъяснением — и извинением в адрес проф. Дегена — я хотел бы подвести итог затянувшемуся обмену репликами по поводу очерка М. Вартбурга.

ВПЕРВЫЕ В ИЗРАИЛЕ

КОЛЛЕКТИВ ЗАГРЕБСКОЙ ФИЛАРМОНИИ ВО ГЛАВЕ СО СКРИПАЧОМ ПАВЛОМ КОГАНОМ ПРИ УЧАСТИИ ПЕВИЦЫ ИРИНЫ АРХИПОВОЙ ДАЕТ КОНЦЕРТ В КАНУН ДНЯ КАТАСТРОФЫ И ГЕРОИЗМА, 2 МАЯ 1989 ГОДА, В "ГЕЙХАЛ-А-ТАРБУТ" (ТЕЛЬ-АВИВ). В ПРОГРАММЕ: ВОКАЛЬНЫЙ ЦИКЛ МУСОРСКОГО В ОБРАБОТКЕ ШОСТАКОВИЧА И СИМФОНΙΑ № 7 ("ЛЕНИНГРАДСКАЯ") ШОСТАКОВИЧА.

КНИГОТОВАРИЩЕСТВО "МОСКВА—ИЕРУСАЛИМ"

НЕЛЛИ ГУТИНА. "ЖУРНАЛ"

Впервые в русской литературе — уникальный "Журнал" одного автора с тысячью лиц, необычное путешествие во внутренний мир писателя под руку с его героями и читателями...

260 стр.

12 допл.

Заказы принимаются по адресу: "Москва—Иерусалим", п/я 7045, Рамат-Ган, Израиль.

МЕМОРИАЛ

К 20-ЛЕТИЮ СМЕРТИ ЦВИ ПРЕЙГЕРЗОНА

Цви-Гирш родился в 1900 г. на Украине, учился в Палестине и Одессе, окончил московскую Академию горного дела и стал одним из крупнейших в СССР специалистов по обогащению каменного угля. Один из немногих, писавших в те годы на иврите, Ц. Прейгерзон был в числе крупнейших советских писателей на этом языке; главной темой его творчества стало разрушение уклада еврейской жизни в СССР (цикл рассказов "Путешествия Биньямина Четвертого", роман "Когда угасает светильник"), а позже — война и Катастрофа ("Дневник воспоминаний", рассказы, неоконченный роман "Врачи"). В 1949 г. Прейгерзон вместе с другими деятелями ивритской культуры в СССР был арестован и осужден на 10 лет лагерей, из которых был освобожден в 1956 г. В 1965 г. часть его произведений, втайне переправленных в Израиль, была здесь опубликована в израильской периодике, а также отдельным сборником ("Сипурим. Москва"). Ц. Прейгерзон скончался от инфаркта в Москве 15 марта 1969 г.; его прах, привезенный семьей писателя в Израиль, похоронен на кладбище кибуца Шфаим.



Цви Прейгерзон

БУХГАЛТЕР

Вот такая история случилась с одним бухгалтером и его калошами...

Дело было вскоре после того, как в городок пришли немцы. Первую пару месяцев евреев еще не трогали, но тоска в сердцах уже поселилась прочно. Ходили слухи, что у коменданта с бургомистром просто нет соответствующих полномочий и что они ждут спецбатальон СС, который с евреями и покончит. В городке тем временем стали появляться беженцы из соседних местечек, где резня уже произошла. Они рассказали о массовых расстрелах, и вместе с черной вестью пополз из дома в дом леденящий ужас.

Скорыми шагами надвигалась осень. Сначала она вызолотила яворы, чьи пятипалые листья облетели первыми. На земле их подхватил взбесившийся ветер и погнал по улицам, по аллеям... За яворами (кленами) настал черед лысеть остальным деревьям. Каждый новый посвист ветра, каждый шорох, доносящийся из гуши пожелтевшей кроны — все обещало близкий ее конец. Потом пошли сечь городок злые дожди и секли до тех пор, пока дворы и сама рыночная площадь не превратились в сплошное болото.

Печальные то были дни — даже для самой крохотной радости и то не находилось повода. Евреи попрятались по домам. Лишь иногда их можно было увидеть сбившимися в кучку где-нибудь на углу улицы или на том же рынке. Купля-продажа совершалась, так сказать, за кулисами, подальше от чужого глаза. Отсиживался в своей квартире на улице Шевченко и Шапиро. Впрочем, сначала позволь мне, друг-читатель, представить тебе героя нашего рассказа.

Израиль Исаевич Шапиро был низкорослый мужчина лет эдак пятидесяти пяти, стриженный под бобрик и всегда гладко выбритый. На носу у него сидели очки, а во рту торчала неизменная трубочка — одним словом, типичный бухгалтер. Всю жизнь он провел за бухгалтерскими книгами да за отчетами, щелкая костяшками счетов и морща от старательности лоб. При советской власти поднялся аж до главбуха отдела торговли горсовета. Каждый день, всегда в один и тот же час, выходил Шапиро из дома и отправлялся на службу, где, следуя установившейся привычке, сначала подкладывал под себя особую разноцветную перинку (помогающую, говорят, от геморроя) и только потом усаживался и — как это принято всегда и везде у бухгалтеров — начинал что-то записывать в грессбух, морщить лоб, щелкать на счетах и снова записывать.

Таким вот образом и исполнял Израиль Исаевич жизненное свое предназначение. От общественной работы он тоже не уклонялся — в поте лица трудился на профсоюзной ниве. На нем лежал сбор членских взносов — один процент от месячной зарплаты. С тщательностью, подобающей бухгалтеру, наклеивал Шапиро марки в профбилеты сотрудников и ставил на них печать. Исполнял поручение добросовестно.

И вдруг ничего этого не стало. В один миг освободился Израиль Исаевич от затверженного ежедневного распорядка. Мается теперь без дела, слоняется по квартире из угла в угол, поневоле прислушиваясь к дурным вестям, проникающим даже через плотно запертую дверь. Бухгалтеру такое времяпрепровождение быстро опротивело — да и правду сказать, как не опротиветь.

— Выйду-ка пройдуся немного, подышу свежим воздухом, — говорит он жене Саре, как всегда погруженной в хлопоты по хозяйству: сейчас она растапливает печь.

— Ты что, рехнулся или просто дурак? — Прогулка чревата опасностью, и Сара против сумасбродной затеи мужа категорически возражает.

Но дух упрямства овладевает Израилем Исаевичем, и вот уже, надев пальто и новые, недавно купленные, калоши, он отправляется в рискованное путешествие по хлюпающим под ногами переулкам городка. Путь его лежит на улицу Проназа, к тому самому двухэтажному дому, где внизу помещался при советской власти отдел торговли. Шапиро движется к цели в обход,

чтобы не появляться лишний раз в центральной части городка, где расположилась немецкая комендатура и городское управление — резиденция бургомистра. Там невинно прогуливающийся еврей того и гляди может наткнуться на солдата или полиция, а от такой встречи, само собой, ничего хорошего ждать не приходится.

Контора Израйля Исаевича прячется в глубине двора. Входная дверь распахнута настежь. Во всех трех комнатах царит запустение. Осторожно ступая, обходит комнаты бухгалтер и в конце концов усаживается на свое привычное место. Шапиро застывает на жестком сиденье (разноцветная перинка исчезла) и прикрывает глаза. О чем он сейчас думает?

Потом Израиль Исаевич поднимается и некоторое время еще стоит неподвижно, — просто так. Угрюмая тишина обволакивает его со всех сторон.

Выйдя в коридор, однако, он наталкивается на сторожа Трофима. Наконец-то, живая душа: из всех сотрудников только он один и остался. Израйлю Исаевичу сторож кажется сейчас живым приветом от советской власти, и на сердце у него сразу теплеет.

— Трофим, дружище! — восклицает Шапиро, — ну, рассказывай, какие новости?

Трофим грузно сидит на корточках возле раскаленной печи, подтапливая ее исписанными с обеих сторон листами бумаги. Сыто гудит огонь. Благодарные языки пламени вырываются наружу, освещая покрасневшее лицо сторожа, а тот тем временем продолжает невозмутимо подкармливать прожорливую пасть печи. Топливом ему служат тома бухгалтерских отчетов. Было время и по страницам этим гуляло перо Израйля Исаевича: записывало актив, пассив, сальдо и прочие уклады двойной итальянской бухгалтерии. Сюда перетекли жизненные его соки, здесь плоть и кровь его, здесь он сам...

...Равнодушно и методично рвет Трофим листы, сворачивает их трубочкой и сует в огонь...

— Так я говорю, что слышно, Трофим, дружище? — снова спрашивает Шапиро.

Интонация у него получается беззаботно-веселая — тех, ушедших, дней интонация. Будто только что вернулся из областного центра, куда ездил для сдачи годового баланса, и все у него прошло хорошо. Будто вот сейчас он войдет в контору, поздоровается по очереди за руку со всеми сослуживцами — слава Богу, не один год работают вместе — и направится в кабинет к "хозяину", завотдела Яковенко, для короткой деловой беседы. А уж после сядет на свое место, закурит трубочку, приладит на носу очки и защелкает себе на счетах, внося цифирь за цифирью в увесистый гроссбух. Пощелкает и запишет, пощелкает и запишет — так и пойдет без остановки по накатанному.

Ох, какая беззаботная получилась у Израйля Исаевича интонация, ох, какая веселая — не пришлось бы плакать. Трофим поворачивает голову, и его маленькие глазки внимательно осматривают бухгалтера с головы до ног. То есть, от широкополой шляпы и до блестящих калош. При этом он, заметьте, не вскакивает с места и не торопится ответить как раньше с приветливой готовностью: "Да все то же, Израиль Исаевич, все по-ста-

рому". "Какие еще тебе новости" — угрюмо возмещает вместо этого опущенный книзу мясистый нос Трофима.

Сторож отворачивается и снова принимается за топку. Опять выдирает листы из гроссбуха, рвет пополам, сворачивает трубочкой и сует в огонь все с той же невозмутимой методичностью. Внутри, среди языков пламени, стоит почерневший солдатский котелок — там варится картошка "в мундире". С шипеньем и бульканьем кипит в котелке вода. Парочка верхних, вылезавших наружу картофелин уже успела лопнуть — виднеется их желтоватое нутро.

Израиль Исаевич тоже присаживается на корточки к раскаленной печке. Он протягивает ладони к пламени, хочет согреться. Пальцы у него короткие и покрыты легким пушком. Фаланги изрезаны глубокими морщинами. Нет, Израиль Исаевич еще не покинул поле боя, он не собирается просто так сдаваться Трофиму.

— Готова твоя картошка, — говорит Шапиро, потирая ладони одна о другую.

Сторож бормочет в ответ что-то нечленораздельное, огонь же, нажравшись листов бухгалтерских отчетов, занимается с новой силой. Трофим не намерен особенно привечать этого еврея. Все они драпанули от немца. Как кролики разбежались. Начальники, помощники — все бросили контору. Только он один остался — он, у которого и зарплата-то была всего сто двадцать рублей. А как на сто двадцать проживешь, если одна поллитра шесть рублей стоит? Этот еврей, как его, Израиль Исаевич, небось, не стал бы за такие гроши работать — он-то получал шестьсот, а то и все восемьсот в месяц.

Ну, теперь этому безобразию конец. Люди говорят, что уже решено и подписано всех жидов изничтожить. Он, Трофим, во всяком случае последним будет лить по их поводу слезы.

— Послушай, — спрашивает Шапиро, — а о н и здесь еще не были?

Еще не были. Контора-то в глубине двора, и по чистой случайности немцы на нее пока что не наткнулись. Израиль Исаевич решает вернуться в комнаты, где некогда протекала его бухгалтерская деятельность. Снова видит запустение, клочки бумаг, валяющиеся на столах и на полу. До сих пор висит последняя стенгазета. Еще довоенная. Статьи на злободневные темы. Экономист Коваленко позволила себе опоздание на двадцать пять минут. Острая критическая заметка: "Доколе лентяи будут есть государственные хлеба? Почему заводдела Яковенко не отдал Ольгу Коваленко под суд в соответствии с Указом от 30 июня? До каких пор общественность собирается мириться с подобными возмутительными явлениями".

А вот и карикатура. Большие круглые часы показывают двадцать пять десятого (начало рабочего дня в девять), а Ольга Коваленко — огромная голова на малюсеньких ножках — с потрясающим спокойствием только-только вплывает в контору. Да, старые материалы. Устарели, совсем устарели.

Тут в комнату входит Трофим и застывает у двери. Некоторое время оба молчат.

— Что тебе, Трофим?

Сторож указывает пальцем на ноги бухгалтера. Пришло время дождей,

позарез нужны калоши, а он совсем босый. Пусть уж Израиль Исаевич соизволит отдать ему свои.

Рой беспокойных мыслей вихрем пронесется в голове у Шапиро. Что там бормочет этот необрезанный про калоши? Что значит "отдать"? Если он их сейчас снимет, то как же доберется до дому — дороги-то развезло. Израиль Исаевич всегда так боялся промочить ноги — у него склонность к простудам: чуть что — сразу кашель, насморк. И подагра разыгрывается. Кроме того грязь налипнет на ботинки. В хорошеньком виде он зайвится — Сара ему еще тот концерт устроит. А на старых калошах как назло целого места не осталось — сплошные дыры. И стоптались... Придется отдать Айзику-сапожнику — пусть хоть заплату какую поставит.

— Да они тебе, наверное, малы будут, — пробует Шапиро увещевать сторожа.

— Почему малы? В самый раз. У меня тринадцатый размер.

— Вот видишь, а у меня-то одиннадцатый, — в голосе у Израйля Исаевича слышно торжество.

— Пусть будет одиннадцатый, — бурчит Трофим. Ему треба калоши, а размер что, размер дело десятое.

Главное, где гарантия, что он на этом успокоится? Может ведь и пальто потребовать. И пиджак. С него станется раздеть бухгалтера догола... Так лихорадочно размышляет Шапиро, но потом все же стаскивает калоши — никуда не денешься, надо бросить кость голодному псу -- и спешит поскорее отворить дверь на улицу.

— Ну, будь здоров, Трофим, — Израиль Исаевич с облегчением выбирается наружу. Во дворе его ждет все то же хмурое серое утро. Неудачная вышла прогулка — жена на сей раз права была. И действительно, что он там надеялся найти? Никак думал, что его с распростертыми объятьями встретят. Добро, дескать, пожаловать, уважаемый Израиль Шапиро! Вот и кресло ваше вас ждет — не дождется. Давайте, берите ручку и открывайте поскорее грессбух...

А с Трофимом-то какая перемена произошла... Ничего хорошего старшему бухгалтеру перемена эта не сулит. Надо же, в какие высоты сторож залетел: приказания отдает. А он, Израиль Исаевич, выходит, теперь вниз, в самой что ни на есть преисподней.

Шапиро шагает назад, стараясь держаться поближе к краю дороги. Перепрыгивает через попадающиеся лужи и островки жидкой грязи. Опять кружит по боковым улочкам, чтобы не наткнуться на полицаев и прочих охотников до еврейской крови. Бухгалтеру кажется сейчас, что чьи-то внимательные, ничего не упускающие глаза неотрывно смотрят на него — глаза, от которых не спрятаться, не укрыться... Без калош Израиль Исаевич стал даже как бы ниже ростом. Что будет, когда не калоши, а саму жизнь придут забирать у него?

Москва, 1945–1968



ПАМЯТИ ЮЛИЯ ДАНИЗЛЯ

При подготовке этого номера мы узнали, что умер Юлий Даниэль — поэт, писатель, переводчик, просто близкий друг для некоторых из нас. Написанное Юлием Даниэлем даже сотую долю не исчерпывает того неотразимого обаяния, которое Юлий излучал в общении. Людей неудержимо тянуло к нему. С ним всегда было интересно, увлекательно, неожиданно.

Его беспечная, творческая жизнь была внезапно прервана арестом в 1965 году. Открытый суд над ним и пять лет лагеря превратили его — вместе с А. Синявским — в фокус общественного движения, которое тогда называлось Демократическим. Но сам он никогда не превращался в вождя, твердокаменного борца — он остался тем же обаятельным Юлием, для которого поэзия, искусство были прежде всего. Самый резкий отзыв, который можно было от него услышать, был — “некрасиво”.

Он был и останется в нашей памяти очень красивым человеком.

Главный редактор – РАФАИЛ НУДЕЛЬМАН

Редакционная коллегия:

**В. БОГУСЛАВСКИЙ, А. ВОРОНЕЛЬ, Н. ВОРОНЕЛЬ,
Э. КУЗНЕЦОВ, Ю. МЕКЛЕР, М. ХЕЙФЕЦ,
Я. ЦИГЕЛЬМАН, И. ЧАПЛИНА**

**заведующая редакцией – Мириан БАР-ОР
технический редактор – Наталья РУБИНА**

*Всю корреспонденцию направлять
по адресу: "22", Р. О. В. 7045, Рамат-Ган.
Телефон редакции – 1031-394525*

Представители журнала за рубежом:

США: L. Khotin, 1518 Scenic Ave, Richmond, Ca. 94805, USA.

ФРГ: L. Roitman, 67 Oettingenstr. am Englischen Garten, 8 Muenchen 22, BDR

Великобритания: R. Weisman, 1 Lodge Rd., Hendon, London NW4 4DD, England

Все права на материалы журнала (за исключением особо оговоренных случаев) принадлежат издательству "Москва-Иерусалим" и их использование без ведома и согласия издательства не разрешается.

Стоимость годовой подписки в Израиле – 80 шек., для организаций – 90 шек., за рубежом – 60 долл. (авиапочтой в Европу – 72, в США – 77 долл.), для организаций – 75 долл.

ПОДПИСНОЙ ТАЛОН

Прошу подписать меня на журнал "22", начиная с №

Прилагаю чек (чеки) № на сумму

Журнал прошу выслать по адресу

(пишите разборчиво, желательно указать № телефона)

Жертвую в фонд журнала

(фамилия)

